

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

# СИБИРЬ

367/6 6•2017

Литературно-художественный и культурно-просветительский  
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

## Содержание

### Поэзия

Пётр Реутский. Умереть не страшно, страшно не родиться...	3
Владимир Гусенков. Полынь вчерашней горечи	69
Анатолий Змиевский. Вечерний свет	84
Вадим Ярцев. А Русь, будто Феникс из пепла...	160
Владимир Корнилов. Золотые свечи сентября...	169

### Проза

Иван Комлев. Рядовой Иван Яценко. Повесть. Часть 3	12
Александр Лаптев. Бездна. Отрывок из романа	94

### Сквозьжаль истории

Лидия Довыденко. Мой светлый горячий Донбасс	174
--	-----

### Критика

К 85-летию поэта Станислава Куняева	
Эдуард Анашкин. «Чем ближе ночь — тем родина дороже...»	197
К 70-летию поэта Василия Козлова	
Максим Орлов. Надвременная связь. Заметки о книге стихотворений Василия Козлова «Гончарный круг»	202
Сергей Корбут. Мера земного. О поэзии Анатолия Змиевского	210
Валентина Семёнова. Театральная эпопея Виталия Сидорченко. О книге «Иркутский академический им. Н.П. Охлопкова: страницы истории (1920–1960 гг.)»	210

### Роденица

К 85-летию со дня рождения писателя Василия Белова	
Дмитрий Ермаков. Встречи с Беловым	221
К 80-летию со дня рождения поэта Ростислава Филиппова	
Татьяна Сазонова. «На кого мне тебя оставлять?»	227

<b>Марк Демидов.</b> Ростислав Филиппов и Грэм Грин: встреча в Иркутске .....	233
<i>К 50-летию со дня рождения поэта Вадима Янцева</i>	
<b>Андрей Антипин, Елена Волошина.</b> «Я замолчал на много лет...» .....	242

### Вернисаж

<i>К 50-летию иркутского художника Дмитрия Лысякова</i>	
<b>Татьяна Огородникова.</b> Галерея образов .....	251
<b>Марина Рыбак.</b> Творческая отвага Дмитрия Лысякова.....	253

### Сумочка к ребру

«Объела я сирень на счастье...» Литературные пародии .....	256
--	-----

<u>Книжная лавка</u> .....	261
----------------------------	-----

<u>Публикации журнала «Сибирь» в 2017 году</u> .....	265
--	-----

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**  
Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**  
Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

#### СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,  
И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шегебаева

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова.

На 1-й странице обложки: Д. Лысяков. Берег Ангары. 2014. Х., м. 60х80

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, каб. 304. Адрес учредителя: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, каб. 303.  
Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 8.12.2017 г. Выход в свет: 22.12.2017 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Е-mail: info@printline.ru Сайт: http://www.printline.ru

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744

к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777

БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001

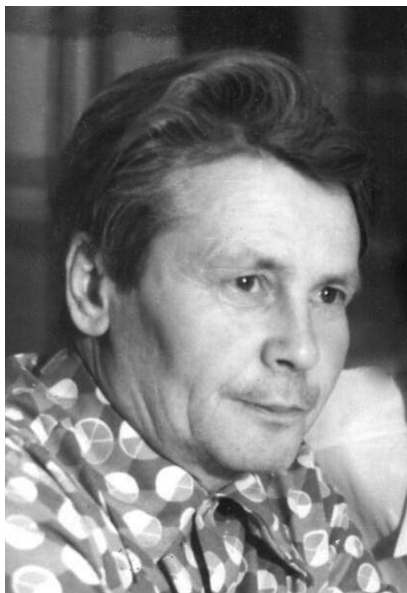
ОКПО 13623582

ОКПО 13623582

# ПОЭЗИЯ



ПЁТР РЕУТСКИЙ



Умереть не страшно,  
страшно не родиться...

## Настоящее

*Галине Алексеевне*

Мне кажется, что я родился взрослым,  
И памяти не веря, как врагу,  
Пытаюсь тщетно разобраться в прошлом,  
А ведь и в настоящем не могу.  
Но что считают люди настоящим?  
Мне трудно разобраться — я ленив.  
Пред настоящим, выше нас стоящим,  
Стоим, колени робко преклонив.

---

РЕУТСКИЙ Пётр Иванович (1927–2004) родился в с. Михайловское Воронежской области. В тридцатые годы семья была раскулачена и сослана на вечное поселение в Якутию, где прошло детство будущего поэта. Его первое стихотворение было напечатано в газете «Алданский рабочий», когда он учился в четвёртом классе. В 1956 г. вышла первая книжка стихов для детей «Великаны», а в 1958 г. Пётр Иванович был принят в Союз писателей СССР и отправлен на Высшие литературные курсы в Москву. Автор книг: «Великаны» (1956), «Следы на камне» (1957), «Романтики» (1959), «О тех, кому нет ещё двадцати» (1960), «Потомки Корчагина» (1962), «Ломается лёд» (1965), «Три дня в гостях в Аллы»: повесть (1968), «Горячий ключ» (1971), «Настоящее» (1974), «Свойство жизни» (1977), «Трудный хлеб» (1980), «Тропа золотоискателя» (М., 1983), «Мотивы осени моей» (1985), «Первозданность» (Ярославль, 1989); «Второе крещение»: роман в стихах (1997), «Пойду пешком к родному дому» (Иркутск, 2017).

Пред ним нельзя быть сильным или рослым,  
И на него не глянешь с высоты.  
Пока ты жив, ты вечный царь над прошлым,  
Но кто, скажи, пред настоящим ты?  
Мы к прошлому по всякому вопросу  
Торопимся, чтоб истины черпнуть.  
Но может настоящее без спросу  
Всё прошлое твоё перечеркнуть.  
Всё, что берёг, выращивал и нежил,  
Что в трудный час, как Бога, призовёшь.  
Окажется, что ты и в прошлом не жил  
И в настоящем тоже не живёшь.  
Ты как бы остановишься на точке,  
Которая начало всех начал.  
Нет ни друзей, нет ни жены, ни дочери,  
И нет того, что сам ты означал.  
Как нет ни отправленья, ни причала,  
А ты стоишь, о лучших днях скорбя,  
И мига ждёшь, чтоб всё начать сначала.  
Но прошлое не признаёт тебя.

# Сироты

Припомни все долги́ты и шири́ты  
Без ды́мных хат и всхо́женных полей.  
На взгорка́х молча плакали сироты.  
Они-то плачу́т горше и больней,  
Чем наши се́стры, матери и же́ны.  
Не зря так чу́тки к ним и ста́р, и ма́л.  
И, пре́жде чем упасть, боец сраже́нный  
О бу́дущих сирота́х вспомина́л.  
А ско́лько их бродило по Росси́и,  
От го́ря потеря́вших голо́са!  
Как страшно, страшно  
                хлеб они просили:  
Без слов, без рук,  
                а так — глаза в глаза.

## Старики

Несёт приземистый старик	И плохо выделанной кожей.
На коромысле пару ведер.	Пока готовится обед,
Столетний волос, как парик,	Грустит за печкой пёс голодный.
С него срывает горный ветер.	С ним трапезу разделит дед,
Старик заходит в низкий дом,	Покладистый и благородный.
Всем на хозяина похожий.	Друзья до гробовой доски,
Подземным склепом пахнет в нём	Без слов идёт у них беседа.

От старости и от тоски  
Пёс удавился бы без деда.  
Ложась невесть в какому часу,  
Подмяв под бок топчан скрипучий,  
Дед говорит седому псу:

«Прощай, старик, на всякий случай».  
А утром снова, старый пень,  
Раскинет руки-корневища  
И скажет: «Бог послал нам день!  
А будет день — и будет пища».

### Последнее письмо

Листок из тетради школьной  
Желтеет в столе моём.  
Как долго, неграмотно, больно  
Писалось письмо на нём.  
Каких-то пятнадцать строчек  
Расплывшихся капель чернил.  
«Ну что ты опять, сыночек,  
Неладное учинил».  
Рисует крючочки мама,  
Как кружева, заплелись.  
А слов она знает мало,  
И буквы не все дались.  
На старых очках шнурочек,  
Глаза, как у многих мам.

«Картошка тучна, сыночек.  
Да много ли надо нам.  
Приехал бы, что ль, к охоте.  
Неуж не зовёт домой?  
Отец наш совсем не ходит,  
Приходится всё самой».  
Я вижу, как пишет мама  
По-чёрному набело,  
Как медленно и упрямо  
Поскрипывает перо.  
Листок из тетради школьной  
Отсчитывает года.  
И как мне жестоко больно,  
Что я опоздал тогда.

### Россия

Не надо, не кричите о России.  
Всеславием её не обошли.  
Мужчины землю кровью оросили,  
А женщины слезами обожгли.  
Россия! Люди в ней сильны и кротки,  
И славит их история сама.  
Россия! Это слово не для глотки,  
Оно, как мать, для сердца и ума.

Когда лежали мы в кровавых росах,  
Когда казнили нас в концлагерях  
И вешали на наших же берёзах,  
Кричали разве мы о матерях?  
Мы тихо повторяли это слово,  
Когда пришлось тонуть или гореть.  
Не знаю долга более святого,  
Как за тебя, Россия, умереть.

### Шрамы

Второй инфаркт! Он легче чуть, чем первый,  
И всё равно остался в сердце шрам.  
А о последнем, крепче стиснув нервы,  
Почти не думаю по вечерам.  
Всё чаще вспоминаю батю с мамой,  
Я перед ними в том и виноват,  
Что, зачерствевши в жизни этой самой,  
С мальчишества на ласки скуповат.  
Что, приезжая в дом, пустой и светлый,

Сойдя с экспресса или корабля,  
Я, кроме песен, истовых, как ветры,  
Не привозил и рваного рубля.  
Я не родился хитрым или ловким,  
А жизнь моя — гори она огнём!  
Последний шрам... Он будет самым лёгким,  
Поскольку я не буду знать о нём.

## 9 Мая

Женщина погибшего на фронте Спит у железнодорожных касс. Вы её, пожалуйста, не троньте, Пусть она не беспокоит вас. Слышите, гремит салют в столице, Как гремел он много лет назад. Москвичей улыбчивые лица Смотрят на торжественный парад. Женщина сидит в тени от флага, Завернувшись в шалевый платок. На коленях фронтовая фляга, В ней, должно, спасительный глоток.	И лежит у ног её послушно Старый пёс, не видевший войны. На людей он смотрит равнодушно Со своей собачьей стороны. Что бы там такое ни сказали, Разве только высунет язык. Он привык к ночёвкам на вокзале И к причудам женщины привык. Всё как есть на свете понимая, Одного лишь старый пёс не знал: Ну зачем она с приходом мая Каждый год приходит на вокзал.
---	--

## Ручей

Я только маленький ручей, Не обозначенный на карте. Мне нет названья. Я ничей. Я под сосной родился в марте Из жара солнечных печей.	Мой путь не лёгок и не прям. Начавшийся за перевалом, Встречаю много грязных ям, Камней, подъёмов и завалов. Но я спокоен и упрям.
Я день и ночь спешу туда, Где миллионы мне подобных Слились в республику труда, Где много рук, простых и добрых, К тебе протянуты, вода.	Играя светом и звеня, В меня родник прозрачный влился. Другие мутят лишь меня. И хорошо, что я родился Не из воды, а из огня.

## Сорок второй

Не назову счастливым детство, Безрадостным не назову, И не найду, куда мне деться От дум, которыми живу. Воспоминаний целый кузов И в день, и в ночь идут ко мне.	Родился я в краю арбузов, А вырос я в краю камней. Смерть сберегла меня упрямо. Я не сидел бы среди вас, Когда б ни мать моя, ни мама, Меня спасавшая не раз.
--	--

Ты знаешь, что такое голод?  
Ты знаешь только по кино.  
Сорок второй. Январский холод.  
Нет электричества — темно.  
Пораньше спать в углах мостились,  
Не потому, что света нет,  
А потому, что ночью снились  
Хлеб довоенный и паштет.  
Однако сыт не будешь снами.  
И утром вновь гудел наш дом.

Мать никогда не ела с нами,  
Всё говорила: «Я потом...»  
И та привычка лет голодных  
Жила в ней до последних дней.  
Ни модных шляп, ни туфель модных  
Так и не видел я на ней.  
Не знали мы, «родные крошки»,  
Последствий страшных той зимы.  
Мать ела драчны из картошки,  
А хлеб и сахар ели мы.

## Мелочь

Пришёл служивый человек  
Из дальнего похода.  
Он дома не был целый век —  
Четыре долгих года.  
Прошёл с боями «Крым и Рим»,  
Потом ещё полсвета.  
Своим детишкам четверым  
Принёс он власть Советов.  
Уселись дети на диван,  
Как на пенёк опять:  
Наташка, Галка, Глеб, Иван,  
А это кто же, пятый?  
Сидит двухлетний мужичок,  
Как равный среди равных  
... Сползла слеза с небритых щёк,  
Горячая, как раны.  
Не верь, солдат, своим глазам.  
И рад не рад служивый,

Что цел их дом, что цел он сам,  
И все детишки живы.  
Что также лает пёс цепной  
У справного соседа.  
Молчит солдат, большой ценой  
Далась ему победа.  
Солдат с солдатом водку пьёт, —  
Ну что молва людская, —  
Попьёт, попьёт, жену побьёт,  
Детишек приласкает.  
Расти, малыш, твоя ль вина,  
Что год без урожая.  
Так повелось: кому война,  
Кому жена чужая...  
Когда бы не было беды,  
И счастья б не имелось.  
Хватало б только всем еды,  
А остальное — мелочь.

## Не загадывай

Не загадывай, не разгадывай  
И не спрашивай — почему.  
Не люби меня, чаще взглядывай,  
Мне любовь теперь ни к чему.  
Сколько люблено, перелюблено —

Верю до сих пор в быль и небыль я,  
Только всё быльём поросло.  
Может, жил-тужил слишком попросту,  
И не знаю сам — почему,  
Я любил тебя не по возрасту,

Не желаю я и врагу.  
То, что крадено или куплено —  
Я ценить того не могу.  
Молодцом-купцом сроду не был я,  
Не по мне сие ремесло.

Разлюбил зато по уму.  
Нет, не куплено и не крадено,  
Не попутает бес меня.  
Но всегда со мной то, что найдено  
И утеряно без меня.

## Наедине

А жить становится трудней,  
Не унимаюсь, протестую,  
Всё потому, что много дней  
Бесценных прожито впустую.  
Но неужели я один  
Свои ошибки понимаю?  
Дожив до старческих седин,  
Болезнью юношеской маюсь.  
Я снова что-то упустил,  
Наедине оставшись ночью,

Брожу по улицам пустым  
И молча сам себя порочу.  
А знаешь, ты меня не жди,  
Решай судьбу свою скорее.  
Идут снега, идут дожди,  
Не унимаюсь и старею.  
И дело тут не в седине,  
Я это очень понимаю,  
Когда в ночи, наедине,  
Самим собой, как болью, маюсь.

\* \* \*

*Всеволоду Ковалю*

Когда тоску душа почует,  
Иду с котомкою в кедрач,  
И добрый лес меня врачует,  
Как деревенский старый врач.  
Такая в радость мне дорога,  
Хотя в пути уже полдня.  
Дойду я к вечеру до лога,  
Где есть землянка у меня,  
А в ней железная печурка —  
Первейший друг в краю лесном.  
Мурлычет чайник, как дочурка  
Моя мурлычет перед сном.

Здесь лишь её мне не хватает,  
Я сплю и чувствую во сне,  
Как на губах улыбка тает,  
Похожая на первый снег.  
А утром, встав с постели хвойной,  
Беру все запахи взаимны.  
И над тайгой, как сон спокойный,  
Кружится первенец зимы.  
Стою, а древние поверья  
В стихи слагаются уже.  
И нет людей, одни деревья,  
И так спокойно на душе.

## Безумие

Нет, не с тобой, мы — с той, другой,  
Безумны и ревнивы.  
Я к ней теку большой рекой,  
К тебе — ручьём ленивым.  
На перекатах — с той, другой,  
С тобой — на тихом плёсе.

Мне до тебя подать рукой,  
А до неё — сто вёсен.  
Я гибну, друг мой дорогой,  
И с сердцем нету слада.  
Не доплыву до той, другой,  
Но плыть безумно надо.

\* \* \*

Прошло беспокойное лето,  
Примяв у дороги кусты.  
Но кажется, здесь ещё где-то  
И запах его, и цветы.  
И будто свежи ещё краски

На фоне лесной полосы.  
И плачут «анютины глазки»  
Слезами холодной росы.  
Как песня подруги влюбленной,  
Которую знал наизусть,



Плывёт над тайгой опалённой	Лесная окрашена даль.
Осенняя тихая грусть.	И сам ты не знаешь, товарищ,
Замёрзли «анютины слёзы»,	Откуда такая печаль.
На землю упасть не успев.	Любовь тебя, что ли, обходит?
И кружатся листья берёзы	Поре листопада сродни,
Под ветра печальный напев.	Она, может, просто походит
Как отблеском дальних пожарищ,	На эти осенние дни.

### **Жажда странствий**

Я ушёл от огня, полнящего степи,  
 Ветер вынес меня из пучины морской.  
 Жажду странствий храня, пустыня, как пепел,  
 Жгла меня, маня бесконечной тоской.  
 Я упрямый такой, на последней минуте  
 Помашу вам рукой — забегу как-нибудь.  
 Может, будет другой в синеглазом уюте,  
 Где-то новой строкой я отмечу свой путь.  
 Чуть со мною побудь перед дальней дорогой.  
 Не забудь, не забудь того первого дня.  
 Я вернусь как-нибудь, поседевший и строгий,  
 И в последний мой путь ты проводишь меня.

### **Про первую любовь**

Влюблялись мы, когда война,	Жизнь не осмыслив до конца,
Когда не ели хлеба вдоволь,	Росли красивыми ребята —
Когда вдруг становилась вдовой	Кто надевал рубашку брата,
Неделю без году жена.	Кто френч погибшего отца.
Нам было по пятнадцать лет.	Влюблялись мы, когда в дома
Сырой забой с железной тачкой,	За похоронкой похоронка.
И на свиданье шёл я с пачкой	От них Тамара-почтальонка
Американских сигарет.	В конце войны сошла с ума.
Они горьки, как лебеда.	Влюблялись мы, за что людьми
Пусть это выглядит нелепо,	Судимы не были так строго.
Их поставляли вместо хлеба	Продлись война ещё немного —
Держав союзных господа.	И было б нам не до любви.

### **Мама**

Я, помню, был едва повыше стула	И кофточку со старомодной складкой.
И рос, не зная никакой заботы,	По вечерам, когда ложился спать я,
А мать уже тогда была сутулой	Она вздыхала от меня укладкой.
От непосильной жизненной работы.	А я не знал, что кто-то третий нужен,
Она носила выцветшее платье	Что горе не бывает без причины...

Я как-то зимней ночью был разбужен  
Томительным присутствием мужчины.  
Он у стола сидел в тулупе старом  
И на меня поглядывал несмело.  
Тянуло густо винным перегаром  
От бороды его заиндевелой.  
Он подойти хотел к моей кровати,  
Нашарив что-то в глубине кармана,  
Но гневно мать ему сказала: «Хватит!»  
И поднялась со старого дивана.  
И он ушёл, оставив горький запах,  
Я, как щенок, вдыхая воздух носом,  
Насторожился: «Мама, это папа?» —  
Но был испуган собственным вопросом.  
И снова мать вздыхала втихомолку,  
Ходила по избе, ломая руки,  
Наутро, взяв с собою хлеба корку,  
Ушла в разрез, надев мужские брюки.  
Сырой забой, нагруженная тачка —  
И надо привыкать к мозолям, поту.  
Соседи говорили ей: «Чудачка,  
Ну кто ж меняет мужа на работу?»  
О, мама, мама! Я забыть не в силах,  
Как седина в твои вплеталась пряди,  
Как ты зимой под ватником носила  
Зачитанные книги и тетради,  
Как по посёлку расходились слухи,  
Что для тебя позор — моё рождение,

Как мне вослед судачили старухи,  
А девушки смотрели с сожаленьем.  
И ты терпела. Ты была упрямой —  
Какие б ни сводили люди счёты —  
Ты и тогда была всё той же мамой,  
Когда сдавала первые зачёты.  
И не одна в тайге сменилась осень,  
Пока я стал в отряде пионером.  
И ты не в двадцать три —  
лишь в тридцать восемь  
Была в посёлке первым инженером.  
И вот тогда, когда для слёз и боли,  
Казалось, больше не было причины,  
Я был разбужен ночью против воли  
Простуженным дыханием мужчины.  
Он, головы своей не поднимая,  
Сидел, облокотясь на спинку стула,  
А мать стояла, гордая, прямая,  
Как будто сроду не была сутулой.  
Он говорил: «Опомнитесь. Простите...  
У нас ребёнок, посудите сами...»  
Но мать проговорила: «Уходите!» —  
И указала на порог глазами.  
Он шёл к дверям,  
Надвинув ниже шляпу,  
А я смотрел в его сухую спину.  
Мне было жаль, что он похож на папу  
И не похож на сильного мужчину.

## Гармонь

Стоит гармонь, любимая солдатом,  
Саратовская истинно гармонь.  
Солдат не расставался с ней когда-то,  
И как она вздыхала — только тронь.  
О чём она, болезная, скучала?  
В ней было что-то тайное, своё...  
Солдат был ранен в руку у причала,  
Осколком поцарапало её.

Солдат пришёл с войны в сорок четвёртом,  
Слезой и лаской встретила жена.  
Он в жизнь вступил уверенно и твёрдо,  
Да жаль, гармонь солдату не нужна.  
Но он её не продаёт, не дарит,  
Солдат гармонь поставил на покой.  
Лишь иногда слегка по ней ударит  
Единственной левою рукой.

## В гостях у мамы

Зима! Бывало, сядешь в поезд,  
Приедешь к матери с отцом,  
Земной поклон отведишь в пояс  
Перед родительским крыльцом.

И пусть ты пьяный или драный,  
Явился утром или в ночь,  
Слезам мать залечит раны,  
Когда сказать бы надо — прочь!

Едва отец нахмурит брови,  
Как мать, смиренная всегда,  
Вдруг оборвёт его на слове  
Усмешкой: «Нет в тебе стыда».  
И так она бывала рада,  
Наобнимается до слёз,  
Достанет плитку шоколада,  
Что ты ей год назад привёз.

Во флигелёк отца спровадит,  
Упросит: ты уж ласков будь.  
Тебя уложит на кровати,  
Сама приткнётся как-нибудь,  
И называя нежно Петей,  
Твои седины теребя,  
До петухов, при тихом свете  
Не наглядится на тебя.

## Осень

Умереть не страшно —  
Страшно не родиться,  
Под рябиной рясной  
Белый пар клубится.  
Зеленеет озимь,  
Спят холмы нагие.  
Шлёпаются оземь  
Яблоки тугие.  
С проводов, с деревьев  
Шлёпаются капли,  
Плачут за деревней  
Вымокшие цапли.  
Пастухи отару  
Гонят по-над Доном,  
Я живу на пару  
С одиноким домом.  
Дом не дом — избушка,  
Где будильник тикал,  
Здесь вот мать-старушка  
Отходила тихо.  
Так же шли туманы  
Пеленою белой.  
Опустел без мамы  
Дом осиротелый.

1970

Зябко и беззвёздно,  
Страшно выйти в сени.  
Поздно, слишком поздно  
Матерей мы ценим.  
Что же мне не спится?  
Печь трещит под боком.  
Страшно мне напиться  
В доме одиноком.  
Надо мне, чтоб в двери  
Тихо постучали.  
Пусть никто не верит,  
Будто я печален.  
Просто иногда мне  
Хочется поплакать.  
На дороге давней  
Слякоть, слякоть, слякоть...  
Тихо над рекою  
Крячет уток стая.  
Жизнь люблю такую,  
Есть она какая,  
Доброй, бесшабашной —  
Что кому годится.  
Жизнь прожить не страшно,  
Страшно не родиться.



ИВАН КОМЛЕВ



## Рядовой Иван Ященко

ПОВЕСТЬ

Часть 3\*

Очередной разрыв снаряда — удар... и мир померк для Ивана.

Он очнулся от того, что его постоянно встряхивало и в правой ноге, ниже колена, при каждом толчке вспыхивала боль. Иван открыл глаза, увидел проплывающие над ним ветви деревьев с желтеющими листьями, почувствовал удушье, будто лежал он под тяжёлым грузом, в голове туман, в ушах шумело, перемежаясь звоном. «В каком ухе звенит?» — спрашивали, бывало, загадывая желание. Звенело в правом. Что бы это значило?

«Где я? — пробилась первая мысль. Странная мысль: — Живой или на *том* свете?»

Боль в ноге подсказывала, что он пока ещё здесь, на этом, где стреляют, рвутся мины, слышны маты и стоны, где льётся кровь, а не на *том*. На *том* должно быть тихо, и *там*, возможно, нет боли.

Но и здесь тихо. Лишь стучат колёса телеги по корням и кочкам, и отдалённо, сквозь шум в ушах, доносятся глухие удары, словно растяпы-грузчики роняют железные бочки с помоста.

---

\*Начало см.: *Сибирь*. 2015. № 3; 2017. № 1.

---

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист (род. в 1940 г. в г. Омске). Автор книг: «Ковыль»: повести и рассказы (Иркутск, 1990); «Лепёшка»: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); «У порога»: повести и рассказы (Иркутск, 1994); «Когда падает вертолёт»: повести и рассказы (Иркутск, 2001); «На рубеже»: публ. статьи (Иркутск, 2008); публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

«Почему больно?» Иван перевёл взгляд с деревьев на грудь, потом дальше, на ноги. Ноги ниже колена были спеленаты бинтом и какой-то тряпкой поверх бинта. Левый ботинок смотрел в небо, а правый, чем-то недовольный, отвернулся от напарника, будто высматривал дорогу в лес. «Ага, в правую ногу попало. Зачем спутали? Чтобы не сбежал? Свои или чужие?!» Он попытался приподняться и повернуть голову, чтобы увидеть, кто правит лошадью. Резкая боль пронзила от ног до сердца, и сознание вновь покинуло Ивана.

— Отвоевался, парень, — Иван видит над собой усталые глаза пожилого доктора, нижняя часть лица закрыта повязкой.

В распахнутый проём палатки сквозь ветви деревьев просвечивает дальняя заря, а у ног Ивана уже зажжён фонарь. Бинты и тряпки с ног сняты, на правой штанина изодрана и вдобавок распорота. Возле раненой ноги, с другой стороны от доктора, ещё врач, явно молодой, с маской на лице. Он чем-то влажным протирает разбитую вдребезги часть ноги. Каждое прикосновение отдаётся болью так, что захватывает дух. «Коновал!» — хочется крикнуть Ивану, но он понимает, что эта процедура необходима, и, сжав зубы, терпит. Потом этот «коновал», видит Иван, опускает чистый бинт в большую чашу и, обратив лицо к старшему врачу, произносит:

— Последнюю соль развели...

Голос молодого врача кажется Ивану знакомым, но он не может вспомнить, кто это. А в голове возникает нелепый вопрос: «Зачем соль? Не холодец же собираются готовить...»

Укол ниже колена — врач вводит какую-то жидкость. Посоленный бинт охватывает разбитую часть ноги, потом молодой врач приматывает — с двух сторон — две дощечки, выпрямляется и переводит дух.

— Кто там следующий? — спрашивает старший. — Готовьте.

«Свои, — думает с благодарностью Иван. — Я в лагере».

И вдруг вспыхивает в его мозгу то последнее мгновение перед взрывом снаряда, трудно ворочая языком, спросил:

— Пе-трович! В-вы знаете А-нисима Пе-е-тровича, он живой?

— Я знал Петровича, когда ты ещё не родился, — бурчит доктор. — Он у нас заговорённый: пулемёт разбило, а Петрович целёхонький. Оглох маленько. Молись за него, парень, он тебя сюда вывез.

«Живой Петрович, — откладывается успокоением в памяти Ивана, — а пулемёт разбило... Жалко».

С «Максимом», как с живым существом, сжился Иван, хотя стрелял из пулемёта только один раз, и то совсем немного. Петровичу осколком царапнуло лоб, кровь залила глаза, и тогда Иван спешно заменил старшего товарища, две короткие очереди выпустил в карателей. Больше не потребовалось — отступили. То были предатели, злые и беспощадные к мирным жителям, но не слишком решительные, когда надо было рисковать своими жизнями.

— Где он?

— Петрович? Опять там же. Винтовку взял, на коня — и ускакал.

В это время на входе в палатку возникает невысокая фигура в комбинезоне:

— Мы готовы, — голос явно не мужской.

— Гм, — доктор, поднимает голову. — Ну, парень, тебе повезло. Как тебя звать-то?

— Иваном, — шепчет Иван.

— А фамилия?

Иван догадывается, что вопрос у доктора не праздный, и находит в себе силы, чтобы удержать уплывающее сознание:

— Яценко... Иван Яковлевич.

Доктор что-то пишет на клочке бумаги и подаёт листок в руку женщине, заявившей о какой-то готовности.

— Вот, Ваня, ангелы прилетели, заберут тебя в настоящий госпиталь, на Большую землю. Там, может быть, не станут тебе ногу ампутировать, если, конечно...

Что «конечно», Иван уже не слышит, но чувствует, как его перекадывают на носилки и несут, покачивая, вон из палатки. Куда? Свежий вечерний воздух снова приводит его в чувство, он открывает глаза и видит, что сквозь ветви деревьев пробивается свет луны и первых звёзд. Боли в ноге он не чувствует, зная, доктор вколол что-то обезболивающее, и потому наступило блаженное успокоение, тяжести в груди тоже почти нет.

Иван повернул голову. Деревья остались позади, а на фигурах несущих его людей заплескали отсветы огня: горел костёр, неподалёку от него возле небольшого самолёта сушили люди.

«Этажерка», неужели меня повезут на самолёте?!» На самолёте он ещё не летал, даже близко от него не был. «Ароплан, ароплан, посади меня в карман...» — кричали они, ребяташки, когда однажды низко над их деревней пролетела большая «стрекоза».

— Давайте сюда, — слышит Иван командный, но явно девичий голос, — лежачего, а второго — в кресло!

Кто второй, Ивану не видно, но лететь ему, значит, с попутчиком. А при чём тут женщина?

— Сестра будет сопровождать? — спрашивает Иван в пространство, и рядом с ним, поддерживая поднимаемые выше носилки, появляется ангельское личико в шлеме, из-под которого выбивается лёгкая прядь волос.

— Две сестрички, — раздаётся хриплый голос за спиной, — лётчики: Таня и Наташа.

«Девчонки — лётчики?» — удивляется Иван. Теперь, когда боли почти не чувствуется, в голове Ивана налаживается относительный порядок.

Носилки в самолёт входят точно по размеру. Люк закрылся, минуту спустя чихнул и затарахтел двигатель, корпус дрогнул, и почувствовалось движение — самолёт вырывается на взлётную поляну.

«Марийка не знает, что я улетаю, — обеспокоенно качается мысль в голове Ивана. — Где она сейчас?» И вместе с болью в ноге, в груди острая обида: «Больше не увидимся?!»

День минувший — с ожесточённым боем, ранением и неожиданной эвакуацией — мешается в сознании с событиями минувшего года.

Вот они у полотна железной дороги прикрывают пулемётным огнём группу, которая подобралась к водонапорной башне и закладывает взрывчатку, чтобы взорвать башню и лишить немцев возможности заправлять водой паровозы, везущие на фронт военную технику и фашистских солдат.

Вот пепел уничтоженной карателями деревни...

А вот перед глазами поле, где женщины серпами жнут созревшую рожь. Марийка среди них. Она больше не забеременела, хотя зимой сорок второго на сорок третий год Иван часто появлялся в деревне.

Свои деревни, где располагались партизаны во вторую зиму войны, они сумели отстоять от карательных операций, которые шли одна за одной по всей территории Белоруссии. «Заяц-беляк», «Шаровая молния», «Зимнее волшебство», «Котбус»... Названия вражеских операций по уничтожению деревень вместе с жителями, если они не успевали уйти в лес, становились известными командирам отрядов через связи с подпольщиками в городах. Но чем больше оккупанты жгли деревень, чем больше казнили невинных людей, тем чаще совершались диверсии на железных дорогах, чаще горели склады, тем опаснее для немцев становились автомобильные дороги и даже охраняемые казармы в городах. Самый мирный народ — белорусы — мстил беспощадно врагам, презрев все карательные акции.

Осень сорок третьего года стала для Ивана последней среди боевой партизанской братии. Маленький По-2, ведомый двумя лётчицами, уносил его на восток, в страну, которая за два с лишним года войны так изменилась, что Ивану она представлялась совершенно незнакомой.

Небо над легкокрылой машиной было ясным, звёздным, лишь редкие небольшие облака на минуту-другую прикрывали их блеск. И вдруг справа от самолёта взметнулся ввысь яркий луч прожектора, за ним — другой, третий, и стали они шарить по небу, выискивая виновника, нарушившего ночную тишину рокотом мотора. В какой-то миг луч скользнул по крылу самолёта, но не сумел удержать его в своём кругу. Иван невольно напрягся, ожидая, что начнут стрелять зенитки. «Попадут, — явилась мысль, — а гробик у меня уже есть. Только расколется, когда рухнем на землю».

Неожиданно звук работающего двигателя умолк. «Попали? Заглох?!» — встревоженно подумал Иван. Но беззвучной тенью, снижаясь, самолёт вышел из опасного круга лучей прожекторов, перелетел линию фронта, и снова вздрогнул и заработал мотор, пропеллер потянул «этажерку» вверх от совсем уже близкой земли. Иван вновь забылся.

Толчок от приземления самолёта вернул Ивана из полубредового сна в явь, и мгновенно радостно отозвалось в сознании: «У своих! Неужели?!» Самолёт пробежал по полю немного, остановился, потом снова двинулся, заворачивая куда-то в сторону от полосы, и стал окончательно. Двигатель выключился, слышно было, как пропеллер, замедляя ход, просвистел, и стало тихо. И тут же — топот ног, возбуждённо-радостные голоса и доклад лётчицы.

«Старший сержант Синичкина...» — постарался закрепить фамилию спасительницы в памяти. К горлу подкатил комок: «Ах вы, девочки, милые! Спасибо! Сколько вам ещё предстоит на этой войне?»

Иван ждал, что сейчас их, раненых, начнут выгружать, чтобы далее транспортировать в госпиталь, но близ самолёта загремело железом и запахло бензином. А над его ложем появилось девичье лицо без шлема, и уже знакомый голос:

— Живой? Есть хочешь?

Желудок Ивана отозвался внезапным резким чувством голода, словно бы только и ждал такого вопроса.

— На, пожуй, — не дожидаясь ответа («кто она — Таня или Наташа?»), девушка поднесла к его губам плоский кусочек съестного, — второй фронт: галета.

Иван взял галету, коснувшись руки своей спасительницы, и захрустел, забыв сказать «спасибо». Да и не успел, девушка спрыгнула с крыла на землю, а через несколько минут самолёт вновь вздрогнул, взревел мотор и легкокрылый По-2 понёс раненых дальше на восток.



Проснулся Иван от боли в ноге: самолёт приземлился и, похоже, из-за темноты не слишком удачно, так что его основательно встряхнуло. Сколько времени летели, час или два, он определить не мог, действие обезболивающего лекарства кончилось, и теперь желание скорее попасть в руки врачу стало главным.

После короткой пробежки самолёт попал в полосу света, остановился. Тут же возле возникла суета, мужские голоса смешались с женскими.

— Какие пациенты? — спросил хриплый прокуренный голос мужчины.

Ему ответила («Таня или Наташа?») пилот:

— Руки-ноги. Помогите подполковнику, он сам ходит.

«Подполковнику? — удивился Иван тому, что среди партизан был неизвестный ему военный такого высокого звания. — Поэтому меня так далеко от фронта увезли?»

Носилки с Иваном извлекли быстро и ловко, и два санитара чуть ли не трусцой понесли его по дорожке к темнеющему невдалеке зданию.

В коридоре горели две тусклые лампочки под потолком, окна были закрыты плотной тканью. В нос ударили госпитальные запахи. Ивана пронесли в конец коридора, в большую комнату, которая была не то парикмахерской, не то баней. Ряд столов (над ними горели лампы) перемежался ваннами. Между ними занавески из старых простыней. В бетонном полу канавка, по которой стекала грязная вода из ванн. И у столов, и у ванн священнодействовали люди в халатах.

Его быстро пересадили на стол, рядом мгновенно возникла девушка с машинкой в руках, другая скомандовала:

— Раздевайтесь, — и сама стала стаскивать с него гимнастёрку.

Ещё одна начала распаковывать его забинтованную ногу.

Не успел Иван слова молвить, как из-под машинки стали падать его рыжие изрядно отросшие волосы. Девушка-парикмахер в одну минуту сняла с Ивановой головы шевелюру, «как шерсть с овцы», на секунду остановилась, глядя ему в лицо и не переставая работать кистью, потом пустила ножи по щекам и подбородку, удаляя бороду и усы. Щёткой смахнула волосы в картонную коробку, свободной рукой провела по его остриженной макушке, словно проверяя качество проделанной операции. Оглянулась — не несут ли следующего?

Между тем в кругу света возле стола возник санитар-мужчина, он приподнял Ивана, и медсестра, которая уже распаковала раненую ногу и сняла с него ботинки, быстро и одновременно бережно сдернула брюки с подштанниками. Она сдвинула занавеску, и вдвоём они переложили Ивана в ванну с тёплой водой.

Санитар тут же отошёл к другому раненому, а медсестра быстро и ловко, словно ребёнка, стала мыть сомлевшего от тепла и смущения Ивана.

На застеленную простыней каталку его опять переложили вдвоём санитар и медсестра, прикрыли ещё одной небольшой простынкой и быстро повезли в операционную.

Иван успел по дороге увидеть только, как навстречу им в сторону моечной пронесли на носилках девушку в форме: гимнастёрка с погонами и юбка. Одной ноги по колено у неё не было, на бинтах обильно проступила кровь. Лицо девушки бледное, белое, как бумага, словно выточено из мрамора, губы плотно сжаты — раненая была в сознании.

В операционной Иван попал на стол к хирургу мужчине. Он удивительным образом был похож на того врача, что отправлял Ивана из партизанского лагеря: нижняя часть лица закрыта маской, над ней — воспалённые от бессонницы усталые глаза, но взгляд внимательный, цепкий.



С другой стороны от стола женщина-врач со стетоскопом. Она прикладывает холодный стальной диск к груди Ивана, мгновение вслушивается, переставляет диск, и снова слушает. Несколько таких движений, и она поднимает голову, кивает хирургу — даёт «добро».

Руки его в перчатках подняты, в правой Иван заметил что-то блестящее. Хирург коснулся этим предметом большого пальца разбитой ноги, уколол и по виду больного, у которого дрогнули веки, сделал свой вывод, приказал:

— Маску.

— Дышите, — сказала ассистентка Ивану. Он сделал вдох, другой и...

— Просыпайся, просыпайся, — молоденькая медсестра легонько шлёпала Ивана по щекам, и он открыл глаза.

— Фу, — первое, что он произнёс, чувствуя во рту осадок, словно бы жевал перед тем ржавое железо, — как дерьма поел.

— Ну, — подтвердила она, улыбаясь. — Вот — сполосни рот, но не пей, а то может стошнить.

Иван всё-таки сделал небольшой глоток из кружки, которую она подала ему, остальной водой прополоскал рот, сплюнул в жестяную коробку, которую девушка поставила ему. Попытался есть.

— Э-э, — предупредила она, — не торопись! Не сразу.

— Нога. Что нога?!

Он всё же приподнялся на локтях, посмотрел на укрытые ноги, но не смог понять, что там, под одеялом. Палата была освещена слабо, двумя лампочками, далёкими от его койки, окна здесь хоть и не были зашторены, но рассвет ещё только чуть-чуть брезжил за дальним горизонтом.

— В порядке твоя нога, — сказала девушка и отвернула нижний край одеяла, — чуть покороче стала. Главное, восемь часов, на худой конец — двенадцать.

— Что это — восемь часов? — не понял Иван.

— Норматив. Если операцию успели сделать не позже, чем через восемь часов после ранения, то есть уверенность, что не будет гангрены.

Про гангрену Иван слышал ещё там, в партизанском отряде, — страшное дело! Посмотрел на ноги, увидел, что ниже колена на правой — будто белый валенок надет, только там, где у гипсового валенка должен быть носок, торчали пальцы. Ногу не отняли — это было чудо! Иван откинулся на постель, радость волной охватила его, он засмеялся, а из глаз покатались слёзы. Стыдясь этого проявления слабости, он прикрыл ладонями лицо.

— Спи, — сказала сестрица, — а станет плохо — позови, или брякни кружкой.

Пустую кружку она поставила на тумбочку и быстро ушла на зов другого раненого.

Пробудился Иван, когда день стал клониться к вечеру. В голове туман, в желудке муторно, а под гипсом — зуд и боль. Медсестра в ту же минуту оказалась рядом.

— Мутит? Больно? Сейчас, миленький, сейчас...

Иван, глядя на неё, удивился:

— Вы? Это вы были ночью?

— Я, — откликнулась она, вгоняя иглу в ягодицу, — кто же ещё?

— Как вас зовут?

— Оля.

— Когда же вы спите, Оля?

— А вот, когда таблетки раздам, укольники всем поставлю, ужином накормлю — то и посплю часок. Одеваться будем?

В руках у Оли белые стиранные кальсоны.

— Я сам, — смутился Иван, выпрастывая ноги из-под одеяла, — попробую.

— Ладно, сам, — решительно вмешалась Оля, — на первый раз помогу. Неча стесняться, я вас таких уже нагладелась тут. Судно надо было дать?

Вдвоём надели кальсоны, потом рубаху.

— А туалет у вас где? — Иван сел на кровати, спустив ноги, на пол стала только левая, правая загипсованная — короче.

— Ишь ты! Шустряк. В туалет собрался. Погоди.

Оля отошла к своему столу, на котором стояли баночки, пузырьки, коробки с лекарствами — рядом со столом к стене были прислонены два костыля. Она принесла их Ивану, который тем временем оглядывал палату. Два ряда вдоль стен насчитывали не менее пятнадцати коек. Только на одной не было раненого. Большинство товарищей по несчастью лежали, но несколько человек наблюдали за новичком сидя.

— Ну, давай, если ты такой бойкий, — Оля помогла ему подняться. — Голова кружится?

— Коротковаты, — вздохнул Иван.

— Чего?

— Костыли короткие, говорю.

— Да? Ну, на первый раз прогуляемся с такими, а потом найду тебе по росту.

И они двинулись между коек к выходу.

«Нагладелась уже на голых мужиков, — думал Иван, не забывая как можно твёрже ставить здоровую ногу и упираться костылями, чтобы не свалиться на хрупкую тоненькую фигурку девушки, — а сама, наверное, не целовалась ещё ни разу».

Возвращаясь, Иван остановился у дверей палаты, перед глазами увидел табличку: «7 Б».

— Что это? — обратился к Ольге. — Школа, да?

— Да, — удивилась его открытию девушка. — В моём бывшем классе, в девятом «А» теперь пункт санобработки, где тебя стригли и мыли.

— Так ты не учишься сейчас?

— Учусь — за вами ухаживать и лечить.

В палате она помогла ему лечь на кровать, вздохнула облегчённо, что путешествие в туалет не завершилось падением, сказала:

— А вот и мама Соня. Она накормит вас, а я отдохну.

Проснулся Иван от небольшой суматохи в палате. Вечером из операционной привезли молодого парня, Диму, он очнулся после наркоза, обнаружил, что у него отняли обе ноги и впал в истерику. Кое-как его успокоили врач и пожилая медсестра Соня, которую раненые, между собой, называли мамой. А ранним утром, когда все больные ещё спали, он попытался расстаться с жизнью, вскрыв вену на руке откуда-то взятым осколком стекла. Соня вовремя заметила неладное. Парня спасли, но он наотрез отказался принимать пищу.

И тут пришла на смену Оля. Она присела на кровать к Диме, взяла его ладонь в свои маленькие натруженные ладошки, но ничего не говорила, только смотрела

на его лицо. Дима лежал с закрытыми глазами, но руку не отнимал. Так она сидела несколько минут, потом наклонилась и сказала негромко, но внятно:

— Живи, пожалуйста, Дима. Вот увидишь, полюбит и тебя самая красивая, может быть, девушка.

Дима открыл глаза, минуту смотрел на Олю с горечью и упрёком, потом прошептал:

— И ты можешь поцеловать меня?

Оля наклонилась ещё ниже и приникла губами к его губам. Все раненные, кто не спал и наблюдал эту сцену, как по команде, отвернулись.

Потом стало известно, что это был первый в её жизни поцелуй.

Оля принесла Ивану костыли под его рост, и он теперь увереннее выходил из палаты по нужде и просто, чтобы посмотреть из окна коридора на улицу. Там осень набирала разгон. Дул ветер, сметая листья с деревьев, с тёмно-серого неба временами густо сеяло мелкими каплями, иногда среди этой мокрой кисеи пролетали снежинки.

Спустя несколько дней после операции медсестра «мама Соня» сказала Ивану:

— Пройди в директорский кабинет, тебя там ждут.

Там, где прежде была учительская, Иван видел, на коротких перекурах отдыхали хирурги и врачи, а вот дверь с надписью «директор» была постоянно закрыта, словно кабинет никем не использовался. А тут вдруг: «Пройди в директорский кабинет». Что бы это значило?

Иван, подойдя к двери, почувствовал некоторую робость, подобно тому, как, бывало, робел перед тем, как предстать перед очами директора школы. Постучал.

— Да, — громко и уверенно прозвучал мужской голос, — войдите!

Здесь — два стола, шкаф, несколько стульев и небольшой сейф на краю стола, за которым в кресле лейтенант, очевидно, хозяин кабинета. За спиной у него, на стене, небольшой портрет Сталина в рамке. Напротив, на стуле, сидел пожилой мужчина, в брюках, но в нательной рубашке, как все раненные в госпитале. Правая забинтованная рука на перевязи.

Лейтенанту лет тридцать или даже меньше. Он слегка повернул голову в сторону вошедшего, ответил на приветствие кивком и так же кивком указал на стул, на который Ивану следовало сесть. Иван сел, костыли пристроил рядом. Получилось, что он сидел лицом к лейтенанту, а второй раненый был у него слева и чуть сзади.

— Фамилия, имя, отчество, — отдельно произнёс лейтенант, внимательно всматриваясь в лицо Ивана.

Ивана это удивило: если вызывал, то знал, наверное, кого? Но он не выказал удивления, ответил чётко:

— Ященко Иван Яковлевич.

Лейтенант открыл серую папку, вынул из неё лист бумаги, стал записывать в неё ответы, макая перо ученической ручки в обыкновенную чернильницу-непроливашку. Иван видел краем глаза, что фамилия его была заранее написана на листе.

— Где и когда был призван в армию?

— Кормиловским райвоенкоматом в марте тысяча девятьсот сорок первого года. Омской области район, — Иван сразу понял, кто перед ним и как надо отвечать на вопросы.

— Точнее. Дата?

— Двадцатого... — не очень уверенно сказал Иван, — марта.

Он хорошо помнил, как под полозьями саней разлетелся мокрый мартовский снег, как выглядели лица провожающих, как несмело они прощались с Таей, а вот что было двадцатого — то ли в тот день повестку принесли, то ли именно в тот день увозили новобранцев в город — забыл.

— Часть. Фамилия командира?

Иван растерялся. Фамилию командира полка он слышал всего лишь раз или два и не был уверен, что назовёт её правильно, а вот номер части в этот момент напрочь улетучился из памяти. Должен бы помнить, потому что посылал несколько писем на родину, но за два с лишним года все числа в его голове перепутались и частью стёрлись.

— Ф-Фролов... майор Фролов, комполка. А номер части... Не помню.

— Как так?

— Не знаю. Два года прошло... Шваркнуло меня, когда снаряд разорвался, голова гудела, может поэтому? — скорее спросил, чем объяснил свою забывчивость Иван.

— Расскажите, как вы попали в плен.

Иван коротко изложил, как их построили утром рано под автоматы фрицев.

— Командиры в это время где были?

— Не знаю. Мы их никого не видели. Писарь только оставался, но он — с немцами.

— Фамилия писаря?

— Шиб... — Иван запнулся. — Фамилия его мне неизвестна. За глаза его Шибздиком звали. Ростика маленького и тощий.

Лейтенант помолчал, посмотрел в сторону второго раненого.

— А с этим товарищем знаком?

Иван даже голову не повернул, чтобы посмотреть на «товарища».

— Нет.

— А вы, товарищ подполковник, знаете этого гражданина?

При слове «подполковник» Иван встрепенулся, взглянул на него.

— Не знаю, но предполагаю, что это партизан, с которым мы прибыли в госпиталь.

Лейтенант перевёл взгляд с одного раненого на другого, потом погрыз в задумчивости конец ручки, спохватился и спросил:

— На чём основано ваше предположение?

— У Ивана Яковлевича, — подполковник запомнил имя Ивана, — сейчас нога в гипсе, его на носилках в самолёт доставили — это первое. Второе: я мельком видел его, у него были рыжие волосы и борода. Хоть его и постригли «под Котовского», и бороду сняли, но видно, что он — рыжий.

Отвечал подполковник вполне серьёзно, но всё равно скрыть иронии он не сумел.

— Можешь идти, — сказал вдруг без предисловий лейтенант Ивану.

Иван поднялся, опираясь на костыли, вышел в коридор. «Странно... — думал он, подойдя к окну и глядя на площадку перед входом в школу — там на машине привезли очередную группу раненых. — Про то, что был в плену и про партизан — ничего не спросил, а ведь знает что-то, иначе бы не вызывал».

Листок из тетради в клеточку, который дала ему Соня, так и остался у Ивана чистым, и без пользы оказался карандаш — письмо, которое Иван собирался на-

писать родным, он решил отложить до того дня, когда выяснится, чем закончатся его встречи с лейтенантом. Что первая встреча будет не последней, сомнений у него не было.

Прежде, когда в партизанский отряд стали летать самолёты с оружием, патронами и прочим необходимым снаряжением, думал Иван о том, что надо бы послать весточку домой о том, что жив. Но не написал письма, решил, что там давно уже не числят его среди живых, а тут радость появится, но если его убьют, то второй раз горе пережить родным будет труднее. «Останусь жив, тогда и напишу», — решил он.

И вот теперь, когда смерть отступила, намеревался сообщить родителям, что вернётся домой, попросил бумагу и карандаш, но оттягивал момент, чтобы удостовериться, что гангрена точно ему не грозит. А беседа с лейтенантом и вовсе показала ему, что писать на родину рано: ну как упекут куда подальше за то, что был в плену.

Прошло несколько дней после встречи с лейтенантом, Иван каждый день ожидал нового вызова, но лейтенант никак себя не проявлял, директорский кабинет был закрыт на замок.

Жизнь в госпитале шла своим чередом. Два солдата из палаты «7 Б» вылечились, сменили госпитальные халаты на обмундирование и пришли проститься с теми, кто оставался. Гимнастёрки с погонами, у одного на груди красовалась медаль «За отвагу». Оба — возбуждённые и весёлые — прошли между кроватями до дальней стены, затем пошли обратно к выходу, подходя поочерёдно к каждому товарищу, пожимая им руки и желая скорейшего выздоровления.

— Ну, партизан, — солдат по имени Толя задержал ладонь Ивана в своей клешнястой ладони, сказал полушутя-полусерьёзно, — вернёшься домой — целуй девушек и за нас, чтобы они не журились, надеялись, верили и ждали.

Из коридора через раскрытые двери наблюдали за ними ещё четверо — из палаты «7 А» — готовых к новым боям солдат.

Вечером на освободившихся кроватях уже были новички — госпиталь не знал простоев.

Напротив кабинета директора, на подоконнике, с мирных времён сохранились два цветка: кактус и фикус, а в деревянной кадке, стоявшей на полу, было небольшое деревце, с большими глянцевыми листьями, явно «заморское», названия которого Иван не знал. И рядом — скамейка. На ней почти всегда сидел кто-нибудь из выздоравливающих, и не один. Беседовали. Поэтому Иван обыкновенно костылял мимо. И в этот раз, взглянув мельком в сторону скамьи, увидел, что там сидит человек, пошёл было дальше, но его окликнули:

— Иван Яковлевич!

Иван остановился, узнал подполковника, поздоровался:

— Здравствуйте.

— Присядь, если не торопишься, — пригласил подполковник.

Иван устроился неподалёку. Они некоторое время смотрели друг на друга, потом подполковник спросил:

— Давно в партизанском отряде?

— С осени сорок первого.

— Ты сказал особисту, что призывался ещё до начала войны. Потом как в партизаны попал — бежал?

— Ну. Женщина меня увела, — помедлил, кивнул головой в сторону директорского кабинета: — Он — кто?

— СМЕРШ, — по лицу Ивана подполковник понял, что это слово ничего партизану не говорит, пояснил: — «Смерть немецким шпионам» — серьёзная организация.

Помолчали. Иван решился спросить:

— А вы, товарищ подполковник, как там оказались?

Подполковник усмехнулся:

— Давай без субординации, оба мы сейчас в одном звании — инвалиды. Зови Ефремом — так меня окрестили, по отцу Осипович. Да. Мы своим полком в окружение попали.

— Не пробились?

— Вышли, но пока пробивались, большую часть людей потеряли. И командира полка, и батальонных.

— А как же...

— Как я снова оказался за линией фронта, да ещё в заваруху встрял, да? Хм...

Ефрем Осипович поправил на себе халат левой рукой, загипсованная правая, как отметил про себя Иван, у подполковника в локте не сгибалась.

— Большого секрета тут нет, — сказал Ефрем Осипович, — хотя о том, что скажу, лучше не распространяться. И перед... — он кивнул на дверь напротив.

— Понятно, — вздохнул Иван.

— Забросили меня за линию фронта, к вам, значит, чтобы на месте ситуацию посмотрел и доложил наверх, как воюют партизаны, что надо, как организовать взаимодействие. И ещё кое-что...

Ефрем Осипович умолк, задумался.

Иван не знал, как быть дальше: попрощаться и уйти или же дожидаться продолжения разговора? За этим «кое-что», видимо, скрывалось главное. Подумал-подумал, да и отважился спросить:

— Как же так получилось, что поначалу били нас фрицы, как младенцев?

— Хм... Получилось. Сильнее они были на тот момент — это факт. Подготовленные. Обстрелянные — на французах всяких потренировались, на поляках. Опытные. Вооружённые, как говорят, до зубов.

— А наши — с японцами, с финнами? — вырвалось у Ивана. — Тоже ведь опыт.

— С финнами, с японцами... Совсем другая война. Здесь линия фронта у нас — от моря до моря. Немцы на участках прорыва создавали большой перевес в силах — в шесть, в восемь раз — разве можно устоять? Когда против одной пушки — десять, против одного пулемёта — шесть, против танков — Иван с ПТР, то, сам понимаешь, чем всё заканчивалось. Стояли, иногда до последнего солдата...

Ефрем Осипович провёл ладонью по лицу, словно стирая тяжёлые воспоминания, продолжил:

— С финнами, там как раз и выявились наши недостатки и в организации, и в вооружении, и много ещё чего... В управлении войсками. Выводы определённые сделаны были. Но не успели новую технику в достаточном количестве изготовить, уставы переосмыслить и новые издать... Немцы готовились воевать, твёрдо знали, что пойдут на нас, а мы сомневались. Нет, чувствовали, что война будет, но думали, что время до начала войны ещё есть. Не успели... Да.

Ефрем Осипович огорчённо вздохнул, махнул здоровой рукой:



— Слышал я не раз от молодых лейтенантов упрёк в том, что мы были плохими командирами, не умели воевать. Солдата не научили. Война кончится, и тогда нам это припомнят. Но военная наука приходит быстро, когда смерть смотрит в лицо. Война — жестокий учитель. Хотя, конечно, упрёк справедливый, но не вся правда в нём.

Иван слушал внимательно, впитывал каждое слово, ждал, что вот сейчас откроется ему что-то ещё очень важное, от которого зависела жизнь всей страны и каждого человека в отдельности.

— Ванечка, — позвала его Оля, пробегая мимо, — пора...

— Да, — поднялся Ефрем Осипович, — и мне пора. Кстати, — обернулся к Ивану, — с лейтенантом, когда пойдёшь к нему, много не говори, только самое существенное. И главное, помни, что сказал, чтобы в следующий раз мог повторить всё слово в слово. Разночтение — повод для новых вопросов и для подозрений. И о том, что я тут говорил, тоже не распространяйся.

— Спасибо, — Иван взглянул старшему товарищу в глаза, — я понял.

Вечерами под большой чёрной тарелкой радио, вывешенного в коридоре первого этажа, собирались выздоравливающие и раненые, которые могли ходить, и слушали сводку Совинформбюро о событиях на всех фронтах, на суше и на море. Радио по такому случаю включали на полную мощность, в другое время его приглушали или выключали вовсе.

Шестого ноября в палате только и было разговоров о том, что скажет Сталин на следующий день, какие победы уже одержаны Красной Армией, как идут дела в тылу и скоро ли конец войне. Иван в обсуждения не вмешивался, считая, что его партизанский опыт не идёт ни в какое сравнение с тем, что довелось испытать в боях товарищам по палате.

Во второй половине этого дня Соня сказала Ивану:

— Тебе опять надо пройти в кабинет.

Он молча взял костыли и пошёл, подумав: «Вот и дождался. Один лейтенант будет допрашивать меня, или ещё кто приехал?»

Лейтенант был один, медленно прохаживался по комнате. Чисто выбритое лицо его в этот раз не было хмурым, он выглядел довольным, только что не светился от какой-то своей радости; от него исходил приятный аромат духов, так резко контрастирующий с госпитальными запахами. Сердце Ивана тревожно ёкнуло: «Чему радуется? Неужто накопал чего?»

— Садись, — кивнул на стул лейтенант, и сам занял место за столом напротив. Придвинул к себе папку, лежавшую на углу стола, открыл. Посмотрел на Ивана, вдруг улыбнулся: — Знаешь, товарищ Яценко, Киев взяли! Наши освободили Киев!

Иван был ошеломлён. Но не тем, что наши войска освободили Киев, — этого ждали, судя по сводкам Совинформбюро, дело к этому шло. Удивил Ивана лейтенант тем, что назвал его, в чём-то подозреваемого, чуть ли не подследственного, товарищем. Да ещё такую новость сообщил, будто и впрямь они были товарищами.

— Когда?! — вырвалось у Ивана.

— Утром! Сегодня утром! — лейтенант был в восторге, словно бы и он участвовал в освобождении столицы Украины.

И за эту радость лейтенанта Иван вдруг проникся к нему симпатией, и заранее простил ему все те неприятные вопросы, которые тот непременно будет задавать ему.

— Напиши то, что ты мне рассказал в прошлый раз, — лейтенант положил перед Иваном несколько листов бумаги, ручку и пододвинул чернильницу. — Плен, и то, как оказался, как попал в партизаны.

— Писарь из меня... — вздохнул Иван, не слишком уверенно прилаживаясь к столу и рассматривая ручку в своей руке. Обыкновенная ученическая ручка, только пёрышко было «скелет», таким учительница писать не разрешала: кончик грубый, не раздваивается, и потому тонких каллиграфических букв не получалось.

Последний раз писал он письмо домой перед войной, и не ручкой, а карандашом.

Корпел Иван над бумагой больше часа, переживая заново свой плен, побеги и спасение, восстанавливая перед мысленным взором картины разграбленных и сожжённых деревень, погибших в них людей... Но, трудно складывая слова, написал сухо, словно по протоколу, только самую малую часть из того, что произошло с ним за два с лишним последних года.

Лейтенант, изредка поглядывая на лист бумаги, на котором неровными строками проступала линия жизни Ивана, иногда что-то писал и занимался ещё чьей-то судьбой, перечитывая листки из другой серой папки.

— Ладно, — вдруг поднялся он, посмотрел на часы на левом запястье, — прервёмся. Пойдём — сейчас сводка Информбюро сообщит о Киеве.

И они пошли на первый этаж, где под чёрным картонным кругом радио уже собрались ходячие раненые. Они чуть опоздали. Голос диктора, как всегда, звучал сурово и торжественно:

*— Войска 1-го Украинского фронта, в результате стремительно проведённой наступательной операции и обходного манёвра, разгромили противостоящие немецкие войска и на рассвете 6 ноября штурмом овладели столицей Советской Украины — городом Киев...*

— Ура-а-а! — грянул восторгом выздоравливающий народ, заглушая диктора.

— Тихо!

*— ...Районным центром Киевской области городом Васильков, а также заняли более 60 других населённых пунктов...*

Два года с лишним столица Украины была в оккупации.

Ивану вспомнилось — Марийка рассказывала, — как ликовали фрицы, как издевались в честь своей победы над беззащитными жителями в деревне — в сорок первом году, после взятия немецкими войсками Киева... И вот — город снова наш. А диктор продолжал:

*— ...во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией провели успешную десантную операцию с высадкой войск на восточном берегу Керченского полуострова...*

*...В этом бою уничтожено до двух тысяч немецких солдат и офицеров, двадцать два танка и девятнадцать орудий. На других участках также отбиты все контратаки противника.*

— Так их, гадов! — не сдержавшись, кто-нибудь перекрывал голос диктора.

Не были забыты и успехи партизан.

*— ...Партизанский отряд имени Александра Невского за последние дни пустил под откос четырнадцать вражеских эшелонов с двойной тягой, следовавших к линии фронта. Разбиты одиннадцать паровозов и сто восемьдесят вагонов и платформ с военными грузами...*

Стоявшие рядом с Иваном раненые обратили взгляды на него и вдруг стали жать ему руки, словно он был причастен к уничтожению вражеских эшелонов:



— Ай да молодцы партизаны!

Иван растерянно отвечал на рукопожатия, но мысль о том, что не мог один отряд Невского за малое число дней свалить столько поездов, торчала в мозгу занозой. «Скорей всего, — думал он, — это сведения о деятельности нескольких отрядов. Наши тоже, поди, не сидели сложа руки».

— Поезда — это, конечно, здорово, — вдруг услышал Иван скептический голос, — но жителей деревень под Смоленском сожгли фрицы, а где были в это время партизаны?

О Смоленске, освобождённом в конце сентября, знала вся страна, но о том, какие потери понесло мирное население Смоленщины при отступлении врагов, знали немногие. Там фашисты уничтожили большинство населения, как было предписано отступающим войскам руководством рейха.

Раненые, начавшие было расходиться по своим палатам, остановились, обернулись к говорившему, бросали короткие взгляды на Ивана, ожидая ответа. У него у самого всегда болела душа, когда отряд оставлял деревню и шёл на задание. Или покидал лагерь в лесу, к которому прибились старики и бабы с ребятишками. Что он мог ответить этому бойцу? Тот был одет несколько необычно: вместо белых рубаш и кальсон на нём была полосатая пижама, обеими руками он налегал на трость.

— Да, — повинулся Иван, — много деревень фашисты сожгли, мы всех защитить не могли.

— Как? — паренёк лет семнадцати — тоже на костылях, стоявший рядом с Иваном, переспросил: — И людей жгли?! И ребятишек?!

Иван посмотрел на юношу и подумал: «А ты где и когда успел ногу потерять?»  
Вздыхнул:

— Да, каратели жгли дома, чтобы нам негде было остановиться на отдых, но и людей тоже.

— Ладно, вы, — вступился за партизан пожилой солдат. — Тут у нас и танки, и самолёты, а половина страны под немцем была. Чем партизаны-то воюют? Небось, каждый патрон на счету.

Лейтенант, Иван видел, внимательно слушал то, что говорили раненые. Заметив, что Иван смотрит на него, особист едва заметным движением головы пригласил его пройти в кабинет.

— Напиши, кто у тебя родственники, — сказал лейтенант, когда они заняли свои места, — родители, братья, сёстры.

От упоминания о родителях и сёстрах у Ивана словно полыхнуло в груди, нахлынули воспоминания, от которых перехватило дыхание. Минуту-другую он сидел неподвижно, потом справился с собой и стал писать.

Когда Иван выполнил просьбу-приказание, лейтенант внимательно прочитал список, задал вопрос:

— Братьев нет?

И сразу же другой:

— Почему все Яковлевичи, а у Павлы другое отчество?

— Паша от первого маминого мужа, он умер.

— Понятно. Устал?

— Нет, чего уставать?

— Тогда у меня ещё два вопроса. Первый: что можешь сказать о евреях?

Иван озадачился:

— В каком смысле?

— Об уничтожении фашистами еврейского населения.

— Да, — Иван припомнил первый день войны, — убивают евреев сразу, как только обнаружат среди пленных.

— Так. А с мирным еврейским населением как обращаются? Тоже уничтожают?

— Ну-у... Я видел, что евреи убирали лён на поле под присмотром фрицев. На одежде большие жёлтые нашивки были. Что с ними стало потом, я не знаю.

— А в отряде были семьи евреев?

— Да. Многие с детишками спасались в лесу. Но не только евреи, их меньше было. И даже, знаю, что были люди, которые пришли в отряд, не только в наш, чтобы вывести евреев аж за линию фронта. Вроде как по приказу. Почему только евреев — не знаю. Некоторые пошли, а другие остались. Побоялись, что в пути будет ещё опаснее, чем при партизанах. А те прошли или нет, об этом разговора не было.

Разговор о детях в партизанском лагере для Ивана — сердечная боль. Перед мысленным взором возникает мальчик Петя, который был смертельно ранен при обстреле лагеря карателями. Иван подхватил его на руки и почти бегом кинулся к палатке санитара. В какой-то момент мальчик очнулся, открыл глаза, узнал дядю Ваню и попросил:

— Дядя Ваня, можно я не умру?

Иван не успел обнадёжить мальчишку, он потерял сознание и больше уже в себя не приходил.

Пока лейтенант записывал, Иван думал о Марийке, о её дочке. Острой болью в сердце отзывалась тревога за их безопасность.

— Разве только евреев? — промолвил Иван. — Русских, мы прочитали... Ну, комиссар перевёл памятку немецкому солдату. Там ему, солдату, приказывают убивать всех русских: и женщин, и детей — всех, тогда ему, фрицу, будет хорошо.

— Да, — лейтенант отложил ручку в сторону. — И украинцев, и белорусов — под корень. Вот тут и второй вопрос, — снова приступил к делу лейтенант, — о карателях. Это верно, что население уничтожается украинскими предателями?

— Это есть, — подтвердил Иван. Но тут же добавил: — Там всякие холоуи у немцев служат: и литовцы, и латыши, и поляки. Из местных тоже нашлись люди, которые против нашей власти и готовы работать на фрицев за их похлёбку.

— То есть, можно сказать, что отряды предателей причастны к убийствам мирных жителей? Или убивали немецкие фашисты, а пособники были только в качестве прислуги?

— Нет. Ну, первый год немцы сами расправлялись с населением, а когда им на подмогу появился украинский батальон, то чаще совместно действовали. В последнее время немцы даже меньше зверствовали, вроде они ни при чём. Вроде только наблюдают. Но если кто убегал — стреляли, конечно.

— Почувствовали, куда дело идёт, что отвечать придётся?

— Не знаю. Наверное.

— Умывают руки, — лейтенант закончил писать, подвинул листы бумаги к Ивану: — Прочитай и подпиши. На каждом листе.

Иван взял ручку, подписал, не читая записанного.

— Свободен, — кивнул лейтенант.

Иван поднялся, приладил костыли, но не успел сделать шага.

— Постой! Чуть не забыл, — лейтенант достал из сейфа небольшой листок бу-

маги. — Распишись о неразглашении, о чём мы тут с тобой беседовали. Фамилию, имя, отчество — полностью, а внизу — подпись.

Иван присел к столу, взял ручку, обмакнул перо и выполнил всё, что требовалось. Написал, расписался на бланке, посмотрел на особиста, будто спрашивал: «Это всё?»

— Всё, — сказал лейтенант, — выздоравливай.

Иван снова поднялся, наладился идти и вдруг, сам того не ожидая, спросил:

— Товарищ лейтенант, каких шпионов можно поймать в госпитале?

Лейтенант встал, заложив большие пальцы рук за ремень, прошёлся по кабинету, посмотрел на портрет Сталина, словно спросил у того разрешения ответить раненому, потом повернулся к Ивану:

— Германская разведка не дремлет. Там готовят диверсантов и шпионов, высылают к нам. А чтобы мы не могли разоблачить агентов, им делают операции по удалению каких-нибудь органов. Пройдя через госпиталь, шпион получает безукоризненные доказательства, что он советский воин, воевал, ранен.

Лейтенант вернулся за стол, но, видя, что Иван всё ещё в сомнениях, добавил:

— Так вот, одного такого субъекта, с ампутированной стопой, из этого госпиталя, мы выявили. Он особо и не запирался, когда я его сюда пригласил. — После паузы лейтенант напомнил:

— Подписку о неразглашении дал — держи язык за зубами. Бывай.

Иван смущённо улыбнулся, почесал макушку и пошёл из кабинета, размышляя, что надо сказать: «Прощай» или «до свидания». Но так ничего и не сказал.

— Киев наш! — вдруг услышал он, когда был уже у дверей.

Иван обернулся, поднял костыль и погрозил врагу, как дубинкой. Лейтенант засмеялся и тоже погрозил — кулаком.

«А он ничего — нормальный мужик, — решил Иван. — Сколько ему лет? Тридцати, пожалуй, нет. Мой ровесник или старше?»

В постели, перед сном, ворочаясь, не мог избавиться от мыслей о том предателе, который пожертвовал здоровой ногой ради того, чтобы лучше замаскироваться и вредить своей стране.

Учебный год начался с опозданием, всех учеников школы, где разместился госпиталь, направили в какое-то другое помещение. Олин десятый класс, изрядно поредевший, занимался с утра, и она приходила в палату в конце дня, часто оставаясь на ночь. Её одноклассницы помогали персоналу госпиталя в других палатах.

День седьмого ноября выпал на воскресенье. Вскоре после завтрака в госпиталь прибыли «артисты», целая «армия» — школьники. Для тех, кто мог ходить, главный концерт был в актовом зале. Поток раненых к этому дню несколько ослабел, из зала убрали кровати, освободили по такому случаю. Небольшими группами ребята и девочки распределились по палатам.

Иван собрался было идти в зал, но увидел входящих в палату «артистов» и остался. Мальчик в белой рубашке с красным галстуком и две девочки, тоже в белых кофточках и при галстуках — пионеры, вошли, пугливо и насторожённо оглядывая палату и раненых. За ними шла девушка в бледно-голубом платье, перехваченном белым пояском. Светлые волнистые волосы её, красиво обрамляя лицо, покрывали плечи и спину. Не только у Ивана ёкнуло в груди, когда она вошла: «Артистка!» Но тут же её узнали: «Оля!» Прежде девушку видели только в белом халате с белой же косынкой на голове, а тут вдруг явилась сказочная принцесса.

Лежавший рядом с Иваном лётчик, Серёга, он поступил в госпиталь двумя днями раньше, захопал в ладоши, и все раненые подхватили аплодисменты. Ребятишки остановились, заулыбались, но Оля радости не проявила, будто не заметила реакции раненых на её появление. Следом за ними в палату вошёл пожилой седовласый мужчина в халате. На одном плече, на ремне, у него висела гармонь, свободной рукой он нёс табурет. Приблизился к ребятам, остановился, вопросительно оглядел палату — отчего оживление? Поставил табурет на свободное место, сел и взял гармонь на колени. Всё стихло.

Оля тронула за плечо мальчишку, он коротко глянул на неё и сразу же громко провозгласил:

— Мы поздравляем вас с победой Киева! — поправился: — С освобождением Киева.

— Ура! — негромко ответил голос с самой дальней кровати.

Оля наклонилась к пионеру, что-то прошептала.

— А! — спохватился он. — Ещё. Да здравствует двадцать шестая годовщина революции!

Раненые заулыбались, ждали продолжения. И оно последовало. Под негромкие звуки гармони «артист» прокричал:

*— Немец хвастал, будто в клещи всех возьмёт и всё сожмёт.  
Наши клещи вышли хлеще — вышло всё наоборот.*

Мальчишка глянул на девочку, и та продолжила:

*— Ты не жди, фашист, пощады за грабёж и за разбой.  
Пулемётом и гранатой рассчитаемся с тобой.*

И вторая девочка, взмахивая рукой, словно саблей секла, продекламировала:

*— Будет всем врагам воякам по загривку, по спине.  
Ну а Гитлеру-собаке так достанется вдвойне!*

— Правильно! — одобрили слушатели.

Оля шагнула к гармонисту.

— «Синий платочек!» — объявил парнишка.

Палата одобрительно загудела. Но и сомнение было в этом шуме. Как она справится с песней, которую многие слышали в исполнении знаменитой певицы?

*— Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...*

Раненые притихли в изумлении: голос у Оли сильный и приятный, она им хорошо владела, а гармонь ему вторила, негромко и задушевно. Трогала за сердце всем давно знакомая и любимая песня. Окончание — про пулемётчика — оказалось для многих неожиданным.

*...Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой!  
Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.  
За них, родных, желанных, любимых таких,  
Строчит пулемётчик за синий платочек,  
что был на плечах дорогих.*

Умолк голос девушки, затихла гармонь, и воцарилась тишина в палате. Впечатление от песни было таково, что раненые некоторое время боялись лишним словом и даже аплодисментами нарушить чувство любви, нежности и возникшего нерушимого единства всех, кто был здесь, в палате и в окопах, и в каждом тыловом доме.

— «Огонёк», — объявил мальчишка, не дав разразиться восторгам.

Вздохнула гармонь, и вместе с Олиным голосом вдруг раздалась тонкие голоса девочек:

*— На позиции девушка провожала бойца,  
Тёмной ночью простилась на ступеньках...*

И в этот миг что-то случилось с Олей. Голос дрогнул, сломался — и замер. Она, низко склонив голову, стремительно пошла из палаты.

Замолчали, переглянувшись, девочки, издав резкий звук, прекратила мелодию гармонь. Тишина. Раненые и прежде обратили внимание, что Оля ни разу не улыбнулась им, лицо бледное, взгляд замороженный — обращён куда-то вдаль.

Мама Соня, сидевшая в уголке за своим столом, поднялась, вышла к артистам, обратилась к слушателям:

— Вы простите, её, ребята, у Оли брат...

Голос медсестры дрогнул, она махнула рукой и пошла обратно на своё место. В палате знали, что месяц тому назад Оля проводила брата на фронт. И вот — горе. Так быстро сгорел парень.

Казалось, что на этом концерт закончился, но пионер вышел вперёд, сжал кулачок, голова поднята:

— *Погиб поэт!* — поправился: — Михаил Юрьевич Лермонтов «Смерть поэта».

*Погиб Поэт! — невольник чести...*

Слушая гневное стихотворение Лермонтова, Иван припомнил, как Фёдор, инструктор, объяснял, почему пуля Дантеса пришлась Пушкину ниже пояса. Плохой стрелок был этот француз. Теперь же вдруг подумалось, что Пушкин-то попал в грудь противника, сбил его с ног, а тот остался невредим. Говорят, пуговица спасла. Скрикошетила, мол, пуля. Держат нас за дураков. Пуля — что лом прилетел. Знать, верно сказал Фёдор, что у Дантеса под одеждой защита была. И вот тут мысль у Ивана: подлый француз подумал, наверное, что и Пушкин такую же штуку проделал, и потому умышленно стрелял не в грудь, а в заведомо незащищённое место...

*...А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов...*

Выходит, те же фрицы! Раненые, казалось, дышать перестали, когда маленький патриот произнёс приговор палачам:

*Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью  
Поэта праведную кровь!*

— Молодец! — перекрывая шум аплодисментов, прокричал Серёга. — Подойди сюда!

Мальчишка покрутил головой, определяя обладателя голоса, приблизился.

— Вот, — сказал лётчик, протягивая плитку шоколада, — вам от нашей авиации. Жалко, что больше нет.

— Зато сахар есть! — раздалось сразу с нескольких сторон.

Девочки растерянно оборачивались на руководителя, и гармонист согласно кивал головой: берите, мол, нельзя отказываться.

— Батя, — обратился к гармонисту солдат с забинтованной рукой, — «Тёмную ночь» можешь? Сыграй.

Иван такой песни ранее не слышал. Вместо ответа гармонист склонил голову к мехам и не только стал играть, но и запел негромко и задушевно:

— *Тёмная ночь, только пули свистят по степи,  
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают...*

Как это близко и знакомо Ивану и каждому раненому бойцу в палате! И слова:

— *В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь  
И у детской кровати тайком ты слезу утираешь...*

Да, Марийка плохо спала по ночам, дочку отправила к матери, а там, в большой деревне, фрицы были частыми гостями. Что сегодня творится в оккупированных деревнях и сёлах, жива ли его любимая, и сумела ли старая женщина сохранить внучку, Марийкину дочку, которая называла его, Ивана, папой? Пригорюнились, Иван видел, и другие раненые, но печаль была светлая, с какой-то надеждой, которую обещала песня.

— *Ты меня ждёшь и у детской кровати не спишь,  
И поэтому знаю, со мной ничего не случится!*

— Спасибо, отец!

— Да, — гармонист поднялся, — это вам, ребята, спасибо. Выздоровливайте и бейте фашистов за наши страдания и слёзы.

Концерт подействовал на раненых как обезболивающее лекарство. Никто не стонал, не жаловался, забыли о необходимых таблетках и пропустили бы процедуры, если б не строгая и заботливая медсестра Соня.

— У меня «хромка» была, — поделился с палатой солдат с забинтованной рукой, — а у бати, я заметил, немецкая гармошка. Тоже ничего.

— Ага, — отозвался с дальней койки боец, — скоро не только гармони, все фрицы по-нашему запоют. Мама Соня, вы знаете, кто этот артист?

— Повернись-ка сперва, сынок, тылом, я тебе укольчик сделаю. Вот. Павел Семёнович — это учитель, а не артист. Гармошку трофейную ему один хороший товарищ оставил. Сказал, что он себе ещё у немцев добудет. У Павла Семёновича была своя, «Тульская», да сильно износилась, хрипела немножко.

— О! Братцы, я ведь письмо получил из дома. Знаете, что пишут? На нашей фабрике опять гармони делают, вместо костылей и чего-то там ещё. Понимаете? Гармонь нужна как оружие!

— Костыли тоже нужны, — пробурчал его сосед, — а мне обещали только завтра.

— И что с твоей «хромкой» приключилось? — прозвучал вопрос к раненому с забинтованной рукой.

— Что? Да разнесло вдребезги осколком.

— Тогда и руку ударило?

— Не, руку и ноги потом. Но докторша обещала, что всё восстановится, и ноги, и рука — и на гармошке я ещё сыграть смогу.

— Мне Пушкина жалко, — сказал лётчик Серёга, ни к кому не обращаясь.

— Чего ж не жалко? Конечно. У него, поди, и детки были? — молчавший до тех пор парень с перебитыми ногами, из пехоты, со странным именем Сильвестр, Сильва, вдруг молвил слово.



Сильва был набожным человеком, крестился иногда, по утрам нашёптывал молитву; его не осуждали, но и не интересовались тем, где воевал и как он получил своё ранение.

— Четверо было у Александра Сергеевича, деревня, — сердито ответил Серёга. — Помолись за них.

— Ну, ты даёшь! — урезонил Серёгу туляк: — Их давно уж схоронили, какая молитва? Ты вот скажи, пехота, — обернулся к богомольному солдату, — чего тебе Боженька не помог, не уберёг ноги от снаряда?

— А, может, Господь мою голову уберёг — откуда ты знаешь?

— Хе, — удивился туляк, — тоже правда. Однако ты смышлёный. Читать-то умеешь?

— Кто ж не умеет? — не обиделся пехотинец. — Я газеты читаю. В газете вычитал в прошлом году, что все церкви на Пасху откроют. И на службе побывал.

— Это когда же было? — не все раненые знали, что правительство официально разрешило празднование Пасхи.

— Так в апреле, в ночь на пятое, все церкви открыли, и комендантский час отменили. Электричества не жгли, наш поп, священник то исть, сказал, я хорошо запомнил: *«Тьма рвётся к нам. Враг не выносит света, и Светлое Воскресение мы встречаем впотьмах. Окна забиты, двери закрыты, но мы зажжём свечи, и храм озарится светом. Победа грядёт как Светлое Воскресение»*.

— Так ты москвич? В какой церкви Пасху встречал?

— Не, я в своём селе. Зятково — наше село. Две тыщи народу пришло, а может, и поболее! Христос воскрес! Ой, хорошо!

— Да, воскрес, — негромкий бас артиллериста Петра напоминает Ивану Семёна, тоже артиллериста, товарища, с которым бедовал в лагерях. — Кто бы наших детишек воскресил...

В палате стихли разговоры, знали: вся семья Петра погибла под бомбёжкой. Сильва многократно перекрестился, бормоча негромко какую-то молитву.

Вечером вспомнили снова стихотворение Лермонтова, и то, как погиб и этот поэт.

— Также ведь нерусь какая-нибудь, — высказался про убийцу туляк.

— Мартынов-то? Фамилия русская, — подал неожиданно голос Дима. — Как звали, не помню.

С тех пор как лишился обеих ног и пытался покончить с собой, он практически не разговаривал. Но трагические судьбы двух поэтов, о которых вспомнили тут, вдруг пробудили в нём чувство сострадания за своих, за русских, чувство боли, которое поднялось над его собственным горем.

— Николаем звали, — сказал сердито Сергей, — а отца его — Соломоном.

— Во как! Выходит, тоже фриц?!

— Неизвестно. У нас каких только имён не бывает. Сильвестр, например.

Сильва вопросительно поднял голову:

— Чего?

В палате засмеялись.

А потом припомнили, что и в наше время «фрицы» — иностранцы, не воспылали к русским любовью, несмотря на победы Красной Армии над захватчиками. Второй фронт больше двух лет не могут открыть, одни посулы и обещания.

— Да и технику только теперь стали поставлять, — сказал Серёга. — Под Москвой и Сталинградом, по-моему, ни танка английского не было, ни самолёта.

— Ты думаешь? А под Курском?

— Не знаю, врать не буду, — Сергей посмотрел на потолок, словно там можно было найти ответ. — Не приходилось слышать, чтобы танки-янки вместе с нашими Т-34 против немецких сражались.

— Любят жар чужими руками загребать! Суки... — с таким выводом согласились все.

— Слушай, Сергей, ты почему не в офицерской палате? — вдруг спросил парня пожилой раненый. — Там лучше кормят.

— И здесь неплохо, — отозвался Сергей, — достаточно, не пашем. А я ж не совсем лётчик, стрелок, не офицер.

Иван стоял у окна, глядя на чистый снег, укрывший стылую осеннюю землю, когда кто-то приобнял его за плечи. Пахнуло лёгким запахом вина. Оглянулся. Удивился:

— Товарищ подполковник?

Ефрем Осипович был в кителе — две медали на груди и орден «Красная Звезда».

— Зима, Ваня. Да, — кивнул в сторону окна Ефрем Осипович.

— Последняя? — Ивану казалось, как и другим раненым бойцам в палате, что после освобождения таких важных городов, как Смоленск, Харьков и Киев немцы уже не способны на серьёзное сопротивление.

— Как сказать, — Ефрем Осипович отступил к лавке, сел, поманил Ивана. — Похоже, что так, но оболящаться рано. В начале года, когда дали немцам жару под Сталинградом, попёрли, на радостях, дальше, взяли Харьков и — надорвались. Силёнок не хватило. Огромное число наших войск было окружено. Потери большие. И Харьков опять сдали, и в плен попало — без числа. Не принято об этом говорить, но урок суровый: зарываться не надо.

Помолчали. Иван спросил:

— Как ваша рука? Вроде как на выписку собрались — форму одели.

— Рука как рука, вроде дубинки теперь, — он вдруг засмеялся. — Хирург меня спросила перед операцией: «Вам как сделать — прямую или под углом?» А я ей говорю: «Чтобы ширинку мог застегнуть». Вот, — он поднял правую руку, — и до ширинки достаёт, и писать могу, и даже из пистолета, если понадобится, стрелять. А щи хлебать я и левой наловчился. Форму мне выдали, действительно, на выписку, — он помолчал, чему-то улыбаясь, продолжил: — И я рад. Две радости у меня. Первая: не увольняют из армии, и я возвращаюсь в... Ну, не важно, куда. А вторая — сын мой отозвался. Про Харьков я тебе сказал. Он был в том окружении, чуть не попал в плен, чудом выбрался на свою сторону. А тут вот опять больше месяца от него ни слуху ни духу. Я уж загоревал. Но смотрел на тебя, а вы похожи, и думал: «Если Иван Яковлевич из такой передряги живым выбрался, то почему бы и моему Ване не уцелеть?» Тёзки вы с моим сыном. Да.

— В прошлый раз вы сказали, что были ещё важные причины наших поражений в начале войны, — решил напомнить Иван, — но Оля меня позвала. Можете пояснить?

— А письмо, через супругу мою, — Ефрем Осипович будто не услышал вопроса, заданного Иваном, — задержалось по причине того, что вместо адреса и названия части теперь на конвертах указывается только номер полевой почты. В целях конспирации. И правильно. Знаешь об этом? Домой письмо написал?

— Нет.

— Напиши, обратный адрес, номер почты госпиталя, тебе сообщат. Ты боксом занимался?



— Нет. Могу, конечно, кулаком в ухо — по-деревенски. Нас только учили приёмам с оружием. Но не пришлось, не пригодилось.

— И ладно, рукопашная — жуткое дело! Человек в зверя превращается, когда собственными руками убивает себе подобного.

— Страшно?

— Нет, пожалуй. Что-то вроде азарта, злоба и какой-то дикий восторг. А страшно становится потом, когда вдруг, как на экране кино, отдельные картины в памяти возникают. Или во сне: на тебя враг идёт, а у тебя ноги к земле пристыли... Да. Сын у меня боксом серьёзно занимался.

— И что?

— Так вот, говорил я тебе, что были ещё серьёзные причины наших поражений. Оружие, танки, самолёты — это, худо-бедно, к войне готовили, маловато, конечно, новых вооружений было, а про мелочь-то забыли. Правильнее сказать, не успели. Командиров винят, что плохо полками и дивизиями командовали. Они же вслепую воевали! Карт местности не оказалось. Это же всё равно, что на ринг выпустить любителя боксёра с завязанными глазами против профессионала.

— Почему не было карт? — удивился Иван.

— Потому. Подробные карты приготовили на предполагаемые районы боевых действий, на приграничные полосы. На всю территорию съёмку сделать — денег не хватало и времени. А когда пришлось отступить, далеко отступить, то крупномасштабных карт у командиров не оказалось. Даже на те местности, на которые карты были, их не успевали выслать. Такая обстановка была. И командир, отступая, не мог знать, что у него слева или справа, что позади: река или болото, населённый пункт или лес, или чистое поле, где немецким танкам будет раздолье. Где стать, где укрепиться?

Ефрем Осипович горько вздохнул, посмотрел на Ивана внимательно, будто в лице его хотел найти ответ на какой-то ещё вопрос.

— А вторая беда наша была в том, что связи не было. В расположении своей части катушки разматывают связисты, а что у соседа происходит — посыльного надо было отправлять. Пока он туда-сюда сходит, враг уж на десятки километров охват сделать может. Вот и нервничает командир дивизии или полка, когда не знает, есть у него сосед справа или нет, отступить, чтобы не окружили, или, наоборот, ударить встречь наступающим, чтобы дать время соседу организовать оборону. У немцев беспроводная связь с самого начала была — и не только у командиров частей и соединений — на каждом танке рация и на самолётах. Да.

— Тогда у немцев откуда карты на нашу территорию?

— С той ещё войны, а перед началом этой самолёты германские над нашими полями и лесами летали, фотографировали. Обновили старые карты...

— А что наши? Почему не сбивали?

— Запрещено было, чтобы не спровоцировать немцев. Да. Тут, конечно, сильно командование промахнулось.

Пока Иван размышлял над тем, спросить ли, кто именно запретил немецкие самолёты сбивать — генерал ли какой, или сам Сталин? — Ефрем Осипович посмотрел на часы.

— Через полчаса должна машина за мной подойти, — пояснил он. — Вот, кстати, ещё мелочь: часы не у каждого офицера были, не говоря уж о сержантах. Тоже иногда вещь необходимая.

— Товарищ подполковник, — вдруг вспомнилось Ивану, — видел я солдат,

которых прислали в отряд. Они с какими-то приборами ходили. Не ваши ли, случаем?

— Вот, — вздохнул Ефрем Осипович, — СМЕРШ не зря говорит, чтобы мы меньше болтали. Ладно, скажу. Карты на оставленную территорию нужны, наступать-то когда-то придётся. Самолётами аэросъёмку делаем, но на земле привязку снимков всё равно необходимо выполнить. Рискуют геодезисты и топографы в тылу у немцев, а куда денешься?

— Так вы топограф?

— Почти. Я на оптико-механическом заводе в Ленинграде работал. Перед войной меня призвали в армию, и один службист, не понимая, что такое геодезия или топография, направил меня в артиллерию. Прошёл подготовку и в звании лейтенанта войну встретил.

Иван посмотрел на погоны подполковника. Ефрем Осипович перехватил его взгляд.

— Ну да, за два года дорос до старшего офицера, до подполковника. А почему? Выбили командиров рот, батальонов и даже полков. Устав требовал, чтобы они вели в бой своих бойцов за собой. Вот враг в первую очередь и бил по ним, чтобы лишить наступающих командиров. Теперь поняли, что не геройство они должны проявлять в бою, а руководить сражением. Для чего хоть взводный, хоть ротный, согласно новому уставу, обязан быть сзади бойцов, видеть поле боя и вовремя принимать решения.

Ефрем Осипович подвигал рукой, будто руководил невидимым полком, вздохнул:

— Боевой Устав пишется кровью.

Видя, что Иван приуныл от правды, которую он только что узнал, Ефрем Осипович решил смягчить впечатление горечи от ошибок нашего правительства:

— Что закручинился? Думаешь, что у немцев нет ошибок? Вот, элементарно: они не подумали, как быть с доставками техники и вооружений по железной дороге. Железнодорожная колея у нас шире, чем в Германии, да и вообще в Европе. Немецкие поезда не могут идти по нашим дорогам. И фрицы спохватились только тогда, когда столкнулись с необходимостью либо перешивать колею, либо заниматься перегрузкой на наши вагоны всего, что везли для фронта. Стали спешно формировать команды для перекладки рельс, а это время. Бывает, что один час промедления решает исход операции, а тут — дни и недели. Не скажу, что это промедление было главным в том, что их блицкриг провалился, но вот из таких — во все не мелочей — и складывается либо успех, либо неудача. О наших новых танках КВ, Т-34, о реактивных миномётах, «Катюшами» их называют, немцы понятия не имели. Всех немецких шпионов перед войной выловили — почти всех — вот и результат: «Катюши» бьют — у фрицев паника. И много ещё чего они не учли. Например, того, что такой сплочённой оказалась наша страна в критический момент.

И действительно, Ивану и самому припомнилось многое, что немцы не учли. Хотя бы то, что в кротком белорусском народе окажется такая крепость духа и неистребимая воля к уничтожению супостата.

Слово «офицер» раньше было для Ивана чуть ли не ругательным. Офицер, значит, враг. Это вошло в сознание ещё с детства, с рассказов отца, который в прежней войне натерпелся от командиров, особенно унтер-офицеров, любителей дать в зубы. Но Ефрему Осиповичу ничего не сказал, спросил только:

— Погоны давно ввели?

— Нет. Недавно. И правильно сделали: сразу звание видно и, главное, подтягивает, дисциплинирует.

Примерно через месяц после операции — Иван сбился со счёта дней — сделали рентген, а ещё через два дня его пригласили в операционную, где сняли гипс. С бьющимся сердцем Иван старался заглянуть под руки доктора и медсестры, которые бережно обследовали его ногу. Сестра удалила часть нитей со швов, мягкой влажной губкой протёрла голень, доктор лёгкими касаниями пальцев проверил, как срослись кости и мягкие ткани. Попросил:

— Пошевели пальцами.

Иван попробовал выполнить распоряжение, с трудом немного согнул большой палец правой ноги — лёгкое движение вызвало боль в месте, где были соединены косточки и мышцы.

Закончив процедуру, доктор посмотрел на встревоженное лицо Ивана, показал ладонь: «Всё в порядке».

В порядке, а синие пятна и припухлость?

— Гипс, — приказал медсестре доктор. — Наступать на ногу рано, — предупредил Ивана, закончив гипсовать голень, — делать массаж. Легонько.

На этот раз ступня не была охвачена гипсом, только под пяткой небольшой каблук остался.

Медсестра показала, как надо массировать пальцы.

— Чтобы кровообращение не нарушалось, — пояснила Ивану, хотя это он уяснил раньше. — И вообще, двигайся больше, только ногу не повреди. Похоже, что всё сложилось удачно — нога будет как новенькая!

В палате обсуждались последние новости Совинформбюро: об освобождённых городах, о действиях партизан, о попытках немцев наступать на некоторых участках фронта, о том, что приходится видеть на освобождённых территориях. Особенно больно было слышать о зверствах фашистов по уничтожению беззащитных людей: женщин, стариков, детей.

*...На станции Лесная, Барановичской области, скопилось много тысяч жителей, которых немцы при отступлении насильно угоняли из родных сёл и городов на каторгу в Германию. В конце ноября после беглого медицинского осмотра гитлеровцы отобрали свыше 900 нетрудоспособных и больных и расстреляли их..*

*...Получено сообщение о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в гор. Керчь. Недалеко от города гитлеровцы устроили женский концентрационный лагерь. В этом лагере томились тысячи женщин и девушек, пригнанных немцами с Кубани и из Крыма. Заключённые подвергались диким пыткам и унижениям...*

— Скорей бы стать на ноги и — на фронт! — высказал общее стремление раненых лётчик Сергей.

В один из этих дней случилось маленькое чудо.

В палату зашла Соня, за ней шёл главный врач, начальник госпиталя, а ещё в двух шагах позади него — две женщины в белых халатах. Одна средних лет, вторая — не более двадцати. Иван подумал, что это, возможно, новый врач и новая медсестра, которых почему-то хочет представить раненым главный. Но ошибся.

Соня, часто оглядываясь, прошла к кровати Дмитрия. Он лежал поверх одеяла. На обрубках ног его были надеты кожаные бахилы, которые ему выдали накануне, и в которых он, как в ступках, уже делал первые попытки передвигаться по полу, поддерживая себя укороченными костылями. Дима отдыхал. Лежать в обуви на кровати — пачкать одеяло. Увидев медсестру, он сел, свесил свои коротыши вниз, повинулся, опустив голову.

— Вот, — только и сказала Соня главному и отступила на шаг.

Начальник госпиталя поправил накинутый на плечи халат, присел рядом с Дмитрием.

— Как чувствуешь себя? — спросил раненого.

Дмитрий пожал плечами, мотнул головой:

— Ничё. Пробовал стоять в этих, — кивнул на обувь.

— Так, — главный врач повернулся к женщинам: — Забирайте...

Он не договорил. Старшая из женщин кинулась к Диме, упала на колени перед ним:

— Дима! Сынок!

Он отшатнулся. И тут же склонился к ней, они обнялись и зарыдали. Главврач встал, оглядывая палату, тихо удалился.

Успокоились, мать глубоко вздохнула, сказала:

— Валя тоже приехала.

Только тут Дима посмотрел в сторону девушки. Глаза его расширились, рот приоткрылся, чтобы что-то сказать, но он ничего не произнёс, лишь непроизвольно двигал руками по груди и шевелил губами.

Валя с бледным, как полотно, лицом приблизилась к нему, оглянулась в смущении навстречу устремлённым к ней взглядам. Она не красавица, но и не урод — обыкновенное девичье лицо. Вдруг оно вспыхнуло румянцем, краска залила щёки, лоб и подбородок. Но девушка решительно села на кровать вплотную к Диме, обняла его за шею, вновь оглянулась и... припала губами к его губам.

В палате — восторженная тишина.

Минуту спустя женщины подхватили Диму с двух сторон и понесли. Руки его — на плечах своих любимых, он повернул голову в сторону палаты:

— Прощайте, братцы!

Вечером пришла на смену Оля, глянула на опустевшую постель Димы и впервые за много дней на лице её исчезло хмурое выражение.

— Ты знала? — спросил Олю Иван.

— Да. Это мама Соня нашла в его документах адрес и написала письмо. У него, оказывается, и невеста была.

— Почему была? — возразил Сергей. — Есть! Красавица!

И все были согласны с таким мнением.

Прошёл ещё месяц после операции, пошёл третий. Ивану разрешили слегка наступать на раненую ногу, а потом и сняли гипс. Снова хирург внимательно осмотрел результаты своей работы, были удалены последние швы, но к выписке из госпиталя доктор Ивана не назначил.

— Будем посмотреть, — сказал он, но заметно было, что результатом доволен. — Ходи помалу, а дней через пяток, глядишь, и отпустим.

Голень забинтовали плотной тканью.

Вместо опостылевших костылей Соня принесла Ивану трость, и теперь, на зависть товарищам по палате, он всё уверенней двигался из палаты в коридор и даже на крыльцо. Мороз быстро загонял его обратно, он возвращался в палату, с румянцем на щеках, внося с собой свежесть зимнего воздуха.

Иван решил, наконец, написать письмо сестре. «Здравствуй, Надя. Пишет тебе твой брат Иван. Я живой, нахожусь пока в госпитале. О чём и сообщаю. Мне пока не пиши, мне скоро выписка. Напишу потом. Пожелай всем здоровья. Иван». Свернул аккуратно листок в треугольник, написал адрес, на обратной стороне дописал: «Я в порядке, не беспокойтесь».

И, наконец, за два дня до нового года, выписка. Для медперсонала это будничное событие, а для Ивана — праздник. Ему выдали справку, заверенную подписью главного врача и печатью, в которой было сказано, что красноармеец Яценко Иван Яковлевич подлежит демобилизации по причине ранения и направляется по месту призыва в ряды Красной Армии. То есть, в свой Кормиловский райвоенкомат, а там — в родную деревню, или куда сам пожелает.

Из госпиталя обычно было три дороги. Полностью выздоровевших направляли в специальные команды, из которых формировали пополнение для фронта. Других, которые ещё не совсем встали на ноги, но уже не нуждались в серьёзном лечении, отправляли на поправку в лечебные подразделения, из которых потом путь, опять же, лежал в формируемые полки. Третьи, чьё физическое состояние не позволяло быть в строю, отправлялись по домам. Если, конечно, дом не был на оккупированной врагом территории.

Ивана медики посчитали к дальнейшей службе непригодным.

Отдельно от справки ему дали требование на приобретение билета на поезд. И ещё, к семнадцати рублям, которые были получены Иваном за два месяца прежде, добавились восемь рублей пятьдесят копеек за третий месяц пребывания в госпитале. Не густо. Но такие выплаты полагались всем раненым, невзирая на звания и степень ранения.

Накануне войны рядовому солдату платили семнадцать рублей, старшим по званию и должности — больше, так что командиру взвода — уже больше шестисот. Оказалось, что и теперь денежное довольствие такое же, но, как узнал в госпитале Иван, гвардейцам — вдвойне; также ввели плату за боевые успехи. Например, за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику полагалось по пятьсот рублей, остальному расчёту — по двести. А за эвакуацию с поля боя своего подбитого танка — так в десять раз больше! Платили снайперам, очень приличные деньги получали лётчики... Любой воин мог отличиться и получить достойное вознаграждение — в виде денег, а в определённых случаях к деньгам ещё и медаль.

Ивану сказали, что и партизанам, вроде, плата полагается, но в их отряде до выплат каких-либо денег дело пока не дошло. Да он и не считал, что его заслуги пулемётчика второго номера дают право на денежное вознаграждение, тем более, право на медаль. Хотя, когда удавалось осадить карателей или удачно провести защиту своих диверсионных групп, то, конечно, он испытывал чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. В сознании откладывалось, что вот легла ещё одна крупинка в здание будущей победы.

Затем — к Крабу, в вещевой склад, налево по коридору. Крабом называли раненые между собой каптенармуса, имя-отчество которого мало кто знал. Почему «Краб» Иван понял, когда прошёл в классную комнату, отведённую для хранения вещей раненых и для выдачи обмундирования убывающим из госпиталя. На левой руке каптенармуса было два пальца: большой и безымянный, видимо когда-то кто-то из раненых заметил, что эта рука напоминает клешню краба — вот и явилось такое прозвище.

— Здравствуйте, Митрофан Ильич! — Иван, как это было принято в своей деревне, в Богдановке, считал невежливым обращаться к старшему, не называя его по имени-отчеству, поэтому узнал, как зовут каптенармуса, у мамы Сони. — Я к вам.

— Угу, — кивнул головой Митрофан Ильич, — жду. Где-то припозднился, последний остался по списку. Присядь, — указал на скамейку.

Иван сел, трость зажал коленями.

В госпитале находилось более полутора тысяч человек, группы выздоравливающих шли за обмундированием ежедневно. Список убывающих ложился на стол каптенармусу накануне вечером, а иногда и раньше.

Митрофан Ильич открыл небольшой шкафчик, где двумя стопками лежали большие толстые, «амбарные», тетради. Безошибочно вынул из каждой стопы по одной. Странное чувство возникло у Ивана при виде этих книг-тетрадей: внешне они были очень похожи на ту, в которую его вписал немец по имени Фриц, когда Иван оказался в третьем по счёту лагере.

— Что? — Краб заметил странный взгляд солдата, понял по-своему. Успокоил: — У нас порядок.

И действительно, левой рукой-клешнёй ловко, почти безошибочно, открыл нужную страницу одной из тетрадей, ткнул химическим карандашом в лист:

— Ваши вещи в целостности-сохранности, — поднял с пола, к великому изумлению Ивана, его тощий вещмешок. Перечислил, глядя в тетрадь: — Котелок медный, кружка, бритва, нож. Проверьте.

Иван не верил своим глазам: его нехитрое имущество, которое он носил в заплечном мешке всегда с собой, оказалось тоже здесь, в госпитале! Две небольшие дырки в мешке и отбитый край котелка свидетельствовали, что вещмешок на поле боя был пробит осколком, видимо, от того же самого снаряда, что измочалил ему ногу. Чуть ниже — прошил бы грудь Ивана, и не бывать ему тогда ни в госпитале, ни в родном доме, а остаться навеки в белорусской земле.

— Ничего, — бросил взгляд в сторону повреждённого котелка Краб, — вполне пригодный, чуток подправишь, и будет как новый. Так. Про вещи. Брюки твои за полной непригодностью к восстановлению сданы на ветошь. Ремень — годный. Ботинки твои — хлам. Рубаха ещё годится и приведена в надлежащее санитарное состояние.

И точно, подал Ивану ремень и заранее приготовленную выстиранную косо-воротку, которую ему подарила Марийка, когда он был последний раз в её доме.

— Распишись, — каптенармус повернул тетрадь, подал свой карандаш Ивану. — Ага. Теперь обмундирование. Юрчик! — крикнул в глубь каптёрки.

Из-за развешанных шинелей и полушубков, припадая на обе ноги, явился Юрчик, заспанный детина лет тридцати, остановился в шаге от стола, ожидая распоряжений.

— Экипировку русскому богатырю Ивану! — Краб был чем-то очень доволен.

Иван за три месяца безделья в госпитале окреп и выглядел теперь весьма внушительно. Однако комплекцией до Юрчика не дотягивал. Тот согласно склонил голову, развернулся и, по-утиному покачиваясь, прошёл в глубь помещения, вынул из распакованного пакета брюки, вернулся и положил на стол перед начальником. Пошёл в каптёрку снова.

— Примерь, — сказал Краб, — суконное галифе.

Юрчик принёс из другого пакета китель. Иван посмотрел на Митрофана Ильича вопросительно: «Это мне?» Он думал, что рядовому такой наряд не положен.

— Ничего, — кивнул ему Краб, он чувствовал здесь себя хозяином, — носи, зима ведь. А вот полушубок тебе не дам, хоть ты, кажется, из Сибири. Шинель с кителем — в поезде будет в самый раз. Так. Сорок четвёртый?



Иван посмотрел на свои ноги, поднял глаза на Краба, во взгляде вопрос: «Как быть с обувкой?» Он всё ещё боялся повредить ногу, если её придётся втискивать в грубый валенок.

— Покажь, — сказал Митрофан Ильич.

Иван отодвинул скамейку, приподнял забинтованную ногу.

— Ага, — кивнул Митрофан Ильич Юрчику, показывая на дверь.

Его молчаливый помощник вышел, слышно было, как он открывал замок соседней комнаты; вернулся назад с... белыми бурками. Шов впереди и переда на них были коричневыми.

— Так, вот тут голяшки мягкие, примерь. О, стоп! Носки.

Минуту спустя Иван стоял перед столом в полной экипировке, шапки только не было. Юрчик принёс и шапку, солдатскую, с суконным верхом. Краб достал из ящика стола красную звёздочку, но тут же спохватился, вернул её на место:

— Э, тебе не надо — дембель. И погоны ни к чему. Тут распишись, — подвинул вторую тетрадь. Встал из-за стола, обошёл Ивана кругом, крикнул удовлетворённо: — Только что не офицер. — Вернулся к столу, пояснил: — Очень уважаю сибиряков — Москву защитили, будь здоров!

Возвращаясь в палату, чтобы проститься с медсестрой и товарищами, думал Иван: «Краб — раненый, Юрчик — тоже, а служат. Почему же меня отпускают домой? Неужто из-за сердца?» Врач, выдавая справку, сказал мимоходом: «Сердечко побереги». Что это значит? Как беречь?

Шинель и шапку Иван оставил на скамье в коридоре, зашёл в палату и первым делом направился к маме Соне. Она, как обычно, готовила лекарства для процедур.

— Вот, — сказал Иван, желая и не смея обнять, как-то отблагодарить женщину, — ухожу, значит, на своих двоих. Спасибо вам.

Руки её в перчатках, заняты, она потянулась к нему губами, Иван наклонился и получил лёгкий материнский поцелуй в щёку.

Потом он обошёл всех лежачих в палате, чувствуя, как в горле наплывает ком, пожал всем, кому можно было, руки. Несколько раненых вышли вслед за ним в коридор.

— Теперь тебе ковать победу в тылу, — давали шуточные напутствия они, — не теряйся, восстанавливай численность народа.

Друзья по ранениям поглядывали за спину Ивана, он оглянулся. Поодаль стояла Оля. Время дежурства её ещё не наступило, смутная догадка у Ивана: «Пришла проводить?!» В Олю были влюблены, пожалуй, все в палате, но её берегли, никто не пытался сблизиться с ней то ли из-за молодости девушки, или, скорее, помнили, как она поцеловала Диму, спасая парня, помнили и о её горе — о погибшем брате. Оля была внимательна ко всем, ровна в обращении и повода для особых отношений никому не давала. Увидев, что Иван заметил Олю, друзья тихонько удалились в палату. Иван подошёл к девушке.

— Здравствуй!

— Здравствуй, Ваня! — одну руку Оля держала за спиной, теперь она этой рукой подала ему небольшой свёрток. — Это тебе от... — она запнулась, — от нас, от госпиталя, подарок. На память.

Щёки её зарделись.

— Что это?

— Рушничок, полотенце маленькое, — она, поколебавшись, развернула полотенце.

На нём по одному краю зелёными нитями прошит узор, на другом — красными — была вышита пятиконечная звезда. Полотенце было кстати.

Она подняла голову, мгновение смотрела ему в глаза, потом отвела взгляд, сказала:

— Желаю тебе счастливого пути. И вообще, счастья, — губы её задрожали, она резко повернулась и быстро пошла по коридору.

Иван ошеломлённо смотрел ей вслед.

На продскладе Ивану выдали два сухих пайка. Он спросил:

— Ехать, пожалуй, придётся неделю, а тут еды только на два дня, как быть?

— А вот карточка продуктовая, дорожная, с талончиками. И покажешь справку. По этой справке получишь в пунктах питания продукты, — пояснила раздатчица, старшина за её спиной кивком головы подтвердил: есть, мол, такие пункты по стране.

Иван удивился, но поверил.

Дорогу к вокзалу ему показали: через пустырь, мимо разбитых строений — оккупантов здесь не было, но бомбили, — потом по тополёвой аллее. Снег утоптан. Прошёл, опираясь на трость, минут за двадцать.

Вокзал — небольшое каменное здание ещё царской постройки — встретил его тесным залом ожидания, в котором было полно народу. Сидели на лавках женщины, присматривая за своими детьми и вещами, слонялись кое-где неопрятные личности. Воинский патруль, приметив на входе одетого в армейскую одежду без погон хромого мужика с тростью, потребовал у Ивана документы. Он предъявил справку, которая теперь была его главной охранной грамотой. Лейтенант, старший патруля, внимательно прочитал документ, пристально оглядел Ивана с ног до головы, вернул справку и сказал:

— Отвоевался, значит? Ну, будь.

Слева от входа на подставке большой цинковый бачок с водой, к нему на цепочке привязана алюминиевая кружка, на полу бачок поменьше, сюда сливают недопитую воду утолившие жажду будущие пассажиры.

Два небольших окошка, над одним табличка: «Воинская касса». У этой кассы нет людей, у другой — мается народ в ожидании объявлений о наличии билетов и о приходе поездов. Иван подошёл к воинской, окошечко закрыто, постучал. Подождал, постучал ещё раз — открылось.

— Чего? — женщина в форме с воспалёнными от бессонницы глазами смотрела на Ивана так, словно бы явление любого человека было для неё полной неожиданностью.

— Билет.

— Куды?

Иван чуть не засмеялся, хотел сказать: «В Сибирь, на каторгу», но сдержался:

— Омск.

— А! — зевнула она, прикрыв ладошкой рот. — Через два часа.

— Что «через два часа»?

— Будет известно о наличии мест.

— А поезд?

— Потом, — окошко захлопнулось.



Иван повернулся, на него были устремлены взгляды гражданских пассажиров. В одних читалось сочувствие, другие смотрели с ехидцей: «съел?» Он вышел на перрон подышать свежим воздухом после душного зала ожиданий. Смеркалось. Мимо прошёл железнодорожник с фонарём. Иван спросил у него:

— Где у вас тут...

— Удобства? Вон там, — махнул свободной рукой.

— А кипяток есть?

— Пройди в зале во вторую половину.

— Спасибо.

У титана с кипятком небольшая очередь. Иван налил в котелок до половины, огляделся, высматривая место, где бы можно было присесть и подкрепиться хотя бы сухарями из пайка. Несколько лавок, имевшихся здесь, заняты, не подступиться. Обнаружил свободный подоконник, поспешил к нему, трость к стенке, развязал свою котомку. Вскрыл одну упаковку, удивился: ржаные сухари, кусок колбасы, пачка сухой концентрированной каши, соль, сахар и даже настоящий чай. Заварил в кружке чай, отрезал ломтик колбасы, погрыз сухарь — кашу решил оставить на потом — неизвестно, сколько времени придётся ему тут куковать.

Убирая продукты в мешок, Иван почувствовал, что кто-то стоит рядом. Повернул голову. Мальчишка лет восьми смотрел на его руки голодными глазами. Иван задержал руку с сухарями, достал один из пакета:

— Будешь? Возьми.

Мальчишка быстрым движением схватил сухарь, немедленно впился в него зубами.

— Тоша, не лезь к дяде, — позвала его женщина, очевидно, мать. Увидела сухарь, подсказала: — Скажи «спасибо».

— Ладно, — Иван прикоснулся ладонью к голове пацана, — иди к маме.

В это время прозвучало по громкоговорителю объявление о том, что прибывает поезд, следующий в Смоленск. Женщина подхватила узел, взяла за руку сынишку и устремилась за другими пассажирами.

«Это же на запад!» — подивился Иван тому, что люди возвращаются на освобождённую территорию среди зимы, домой, где никакого жилья может и не быть. Стремились на родную землю, чтобы врачевать её раны.

Не все вошли в вагоны, часть тех, кто надеялся попасть в поезд, вернулись назад в вокзал, дожидаться следующего. Другие люди ждали поезда на восток.

Новый патруль, войдя в зал ожидания, приметил Ивана, потребовал документы. Проверили, отошли, но продолжали бросать взгляды в его сторону, поглядывая на ноги. Иван сообразил: обувь не по чину, думают, поди, что раздел какого-нибудь полковника.

Билет в плацкартный вагон достался Ивану после того, как оформилась целая группа военнослужащих, которые, оказывается, были тут раньше его.

В вагоне — полумрак; народ с узлами, корзинами, коробками. Тесно. На второй полке, на месте, указанном в билете Ивана, спал укрытый шинелью мужчина. Иван повёл взглядом вокруг, решая, как ему поступить в такой ситуации. В это время раздался голос:

— Садись, браток, мы тут по очереди спим.

Лицо обладателя голоса — в тени, но зато видна крохотная спящая девочка у него на коленях. По другую сторону столика спала женщина, положив голову на руки. При словах мужчины она проснулась, сказала:

— Давай, Жора.

Георгий передал ей девочку, она одной рукой поправила что-то в большой корзине у себя под ногами и положила ребёнка туда. Девочка так и не проснулась. Рядом с Георгием стало чуть свободнее, ещё две женщины на нижнем сиденье потеснились, Ивану можно было сесть. Он стащил со спины котомку, снял шинель, шапку в рукав, подал Георгию, лица которого так и не увидел. Георгий повесил шинель сзади себя, где уже была его одежда. Иван втиснулся между ним и женщиной.

Немного погодя Георгий сказал:

— Пропусти, я пойду покурю. Садись на моё место.

Иван подвинулся к окну, локтем оперся на столик, спиной прислонился к стене вагона. Удобно, но из небольшой щели у окна тянуло стылым воздухом. Иван прикрыл это место полой шинели и задремал.

Среди ночи началось какое-то движение в вагоне, Иван проснулся. Оказалось, что поезд стоит на станции, часть пассажиров вышла, на их места появились новые и толклись в проходе, пытаясь найти, куда определить свои вещи и устроиться самим. Георгий сидел напротив, мама девочки была у него на коленях, так они и спали. Зато на месте Георгия, рядом с Иваном, оказалась девочка лет десяти; тут только он обнаружил, что она спит, неловко прислонившись головой к его боку. Он немного повернулся, устроил её руку у себя на колене, и прислонил к руке её голову. Словно на подушку устроил.

К утру тело Ивана затекло до такой степени, что он едва смог пошевелиться. Девочка к этому времени проснулась, сидела рядом. Женщина, ночевавшая на коленях Георгия, кормила грудью свою малышку, Георгий спал на второй полке, на его месте, рядом с кормящей мамой, сидел теперь тот военный, что прежде занимал Иваново плацкартное место. Одна из женщин, бывших рядом с Иваном, исчезла, видимо, вышла на своей станции.

Поезд постепенно сбавил ход, дёрнулся и остановился. От толчка проснулся Георгий, спустился на пол. Иван только теперь разглядел его лицо и содрогнулся: бровей не было, розовые лоб и щёки покрывали глубокие шрамы, часть подбородка покрыта щетиной, отчего лицо в одной половине казалось больше, чем в другой. Но при всём уродстве оно излучало радость жизни. Он быстрым взглядом охватил попутчиков, подмигнул Ивану, показав большой палец. Рука тоже была розовой — последствие от ожогов.

— Привет! Бери шинель, пошли за мной, — скомандовал он Ивану, — большая остановка. Рита, пригляди за нашими шмотками.

Рита, кивнула головой. Девочка на её руках прекратила сосать, посмотрела на шумного дядю, и Рита спрятала грудь.

Оделись, Иван прихватил трость, и они протолкались к выходу из вагона.

— Ну, точно, — сказал Георгий, закуривая, — будем заправляться.

Паровоз стоял под краном, из которого мощной струей в бак тендера лилась вода. Из паровозной трубы поднимался полупрозрачный дым, у колёс с лёгким шипением ритмично выходили струйки пара — паровоз «дышал».

— Ага, — Георгий увидел широкую натопанную в снегу тропу к туалетам, — вон где удобства. — Обернулся на своего попутчика, который тоже вышел на мороз, махнул ему рукой: — Пошли, Борис!

Борис, придерживая рукой левый бок, поплёлся за ними.

Вздрагивая от холода, вернулись к вагону.

— Рита — жена? — спросил Иван Георгия.

— Нет, здесь познакомились. Едет, понимаешь, к матери. Куда-то аж к Байкалу.

— А почему с ребёнком здесь оказалась?

— Воевала. Была связисткой, случилась любовь. Вот. И хорошо — не бабье дело воевать. Хотя они могут. Но дети тоже нужны, и девочки в том числе. У меня пацанка — во! Ходить начала, когда я воевать пошёл, а теперь уже каракули в письме рисует. Но я постараюсь на этот раз парня — парни нужны!

Иван засмеялся.

Увидели проводницу. Она несла железную коробку с углём, прижимая её, тяжёлую, к животу. Телогрейка уже черна от этого ящика.

— Зоя! Давай помогу! Почему ты несёшь уголь, разве не подвезут?

— Сама, — Зоя поставила короб в тамбур, оглянулась. — Пока подвезут, у меня печь совсем потухнет.

Ухватившись за поручень, она сильным рывком поднялась по ступеням.

Все трое взобрались вслед за ней, прошли в своё отделение. Народ, кто выходил из вагона, был уже на местах. Мужчины сели, поглядывая друг на друга, Иван стал знакомиться.

— Танкист? — спросил Георгия.

— А то не видно?

— Насовсем?

— Домой-то? Нет. Долечиваться, — вздохнул, тут же улыбнулся: — К жене еду, к дочке! Ты понимаешь? Когда я увидел свою морду после того, как сняли бинты, подумал: «Такое пугало моей красавице не нужно». Фотографию ей отправил и написал, что теперь она свободна.

Георгий замолчал, глядя в окно вагона, задумался.

— И что потом? — не дождался продолжения Борис.

— Что? А! Получаю письмо. Пишет: «Жора! Дурак ты, мой хороший. Я же тебя люблю. Приезжай скорей, ждём!» Она думает, что приеду насовсем, — вздохнул: — Нет. Морда попорчена, а всё остальное в норме. Я ещё с фрицами не за всех расквитался, — посмотрел на Ивана: — А ты?

— Списали, — Иван перевёл взгляд на Бориса. На гимнастёрке у него — медаль «За отвагу».

Борис не ответил на молчаливый вопрос Ивана.

— Стесняется, — Георгий решил поделиться с Иваном тем, что сам узнал от Бориса, но не сразу. — Угадай, какого он рода-племени?

Иван видел руки Бориса — явно не окопник, но кто? Медаль сбивала с толку. Он покачал головой, развёл руками:

— Не разумею.

— О! Ни в жизнь не догадаешься: он — финансист! Да ещё какой! С наградой!

— Да ладно, финансист, — отмахнулся Борис, — кассир, если говорить попросту. Деньги в часть привозил, чтобы вам, героям, за подвиги выдавать. Ну и, разумеется, денежное довольствие. Каждый месяц с первого по десятое — как штык.

— Если бои — тогда как?

— Я же сказал: с первого по десятое. Никаких «если».

— А за что медаль?

— Так кассу однажды спас, попали в переделку. Ну и наградили.

— Там и пулю словил? За бок почему держишься? — Георгий решил выяснить историю ранения Бориса.

— Нет, ранили позже, — Борис не стал вдаваться в неприятные воспоминания, тяжело вздохнул. — Лучше бы не было награды, а кишки остались целы.

— Поэтому ты вечером ужинать со мной не стал? Я думал, что постеснялся чужие харчи есть.

— Да. Тяжёлую пищу мне рано употреблять.

Георгий за разговором не забыл достать из-под сиденья вещевой мешок с продуктами, для чего пришлось побеспокоить соседок, пояснил, вынимая банки с тушёной, рыбные консервы, хлеб, печенье и какие-то небольшие коробочки на столик:

— А мне выдали продуктов по полной, аж неловко. Я даже кое-что выменял на американскую тушёнку — жене подарок, дочке. Давайте к столу.

Он вынул фляжку, хитро прищурясь, потряс, показывая, что посудина полная.

— Бабушкин коньяк.

— Пойду умоюсь, — сказал Иван и пошёл к туалету.

Вернулся не скоро. Очередь.

— Где пропал? — спросил Георгий. — Мы ждать перестали. Налить?

Девочка, что ночью спала, привалившись к Ивану, сидела чуть поодаль от столика, но держала в руке остаток куска хлеба, намазанного маслом, — в глазах её изумление и радость.

Рита держала малышку на коленях, придерживая её рукой, второй — попеременно брала галету, откусывала маленькими кусочками от неё, затем запивала чаем.

— Нет, — сказал Иван, — пить рано, до Нового года ещё осталось...

— Э!.. — перебил его Георгий. — На Новый год мы найдём. А я чуток тяпну.

После завтрака Иван занял своё законное место на второй полке и почти мгновенно уснул. Но поспать толком не удалось. Побеспокоили женщина-контролёр и сотрудники милиции:

— Проснитесь, гражданин, ваши документы!

Проверяли всех, даже пожилых женщин. Поезд в очередной раз стоял на какой-то станции, пропуская воинские эшелоны и санитарные поезда.

После пробудки сон не шёл. Иван, видя, как преобразилась страна по эту линию фронта, пока он был на оккупированной территории, думал: «Ловят шпионов и дезертиров тут, а как там, дома? Чем живут мама и сёстры? Здоров ли отец? Что уготовано мне на родине?»

И всё же наступающий Новый год дал себя знать. В какой-то момент кто-то в вагоне решил, что час наступил, может быть, не здесь, а где-то на востоке страны. И уставший полусонный народ зашевелился. Стали доставать неприкосновенные до того съестные припасы, загомонили, собирая общие столы, оживляясь надеждой, что этот год принесёт, наконец-то победу и окончание войны. А там... О! Какая прекрасная жизнь наступит потом!

Зоя прошла по вагону, предлагая чай, она перед этим сменила второго проводника, убелённого сединами старика. По случаю праздника на Зое чистая форменная одежда и — медаль на груди!

— О-па! — Георгий не оставил без внимания этот момент. — Зоя, присоединяйся к нам, — и приподнял свою кружку с налитым в неё небольшим количеством бабушкиного «коньяка», самогона.

Зоя засмеялась:

— Если я в каждом купе приложусь, то до своего уже не допозу.

— А мы на руках донесём. Зоинька, ты нам Расскажи, за что медаль?

Зоя остановилась в нерешительности: принять приглашение к столу и говорить о медали или идти дальше, не обращая внимания на шутки и возникшее повышенное внимание пассажиров. И вдруг к проводнице обратилась старая женщина:

— И правда, дочка, присядь на минутку. Тут к чаю нам Георгий печенье предложил и какие-то палеты, то ли галеты, чтой-то заморское, — под смех окружающих женщина потеснила соседку, освобождая место на сиденье для проводницы.

Зоя села на краешек, предупредила:

— Но без выпивки — я на службе.

— А про медаль-то скажешь?

— Ладно, скажу. Рокаду мы строили, дорогу к Волге. Военных совсем мало было, больше девки, даже подростки, ну и бабы, местное население, и мы, железнодорожники.

— Верно, что из Сибири везли шпалы и рельсы? — подал голос Борис.

— И это было. БАМ там строили, от Байкала на восток, ну, не достроили, пока ненужная магистраль оказалась, а тут рельсы на заводах, значит, не успевали делать — вот и везли с востока. Ой, что было! Рельса, она тяжёлая, аккуратно десять человек ухватиться могут, а человеки-то кто? Женщины да девки молодые. Пуп трещит, а нести класть надо. А когда ближе к Волге дорога дошла, то тут нас ещё и бомбить стали, — вздохнула: — Кому медаль, а кому сыра земля досталась. Но по той рокаде очень много войск и всяких вооружений провезли, за это и награждали.

Зоя поднялась.

— Точно, — подтвердил Георгий, — нас, танкистов, как раз этой дорогой к Сталинграду и везли. Спасибо вам, Зоя!

— Постой-ка, — остановил Зою Борис. — Слышал я мельком, что на той рокаде и немцы пленные работали, так это?

Зоя оглянувшись, немного подумала.

— То ли были, то ли нет — сама не видела, врать не стану. Дорога большая. Ну, с Новым годом вас!

— Почти тысячу километров дороги за полгода — с лопатой и тачкой! — выдохнул Борис. — Уму непостижимо!

Похоже, что Борис знал о строительстве железной дороги значительно больше, чем все пассажиры, здесь сидящие, вместе взятые.

— Значит, ты бил фрицев под Сталинградом? — теперь обратился он к Георгию.

— Да, — отозвался с гордостью Георгий. — И под Сталинградом, и под Орлом. Ну, знаете, Орловско-Курская дуга.

— Под Курском были у немцев новые танки: «Пантера», там, и «Тигр» — пришлось иметь дело? Говорят, что тяжёлая сеча была.

— А лёгких-то не бывает. Этот зверинец под Курском был в меньшинстве. А их старые консервные банки снаряд из тридцать четвёрки прошибает, понимаешь. Это первое, что хочу сказать. Звери — покрепче, особо лоб у «Тигра», пушка у него мощная. Но тоже — горят! Я самолично сжёг две «Пантеры» и «Тигра», вот, не вру, — Георгий хлопнул себя по груди, где, кроме медалей, — орден «Красная Звезда».

— Так уступает наш Т-34 «Тигру»?

— Ты меня спроси: поменялся бы я, будь такая возможность, на «Тигра»? Отвечу: «Ни за что!» Пусть у него лоб крепче, пушка чуть дальше достаёт, но у нас — скорость, манёвр, за счёт двигателя. И надёжность. Горят они лучше, потому как на бензине. Всего не перечислишь. Нам ещё до сражения рассказали об этом «звере», показали на схеме уязвимые места, так что я знал, куда надо целить. Водитель вывел на ударную позицию, и я не промахнулся.

Борис с Георгием ещё толковали о достоинствах и недостатках танков. Георгий сообщил «по секрету», что испытан танк ИС (Иосиф Сталин), который из 122-миллиметровой пушки пробил на испытаниях трофейную «Пантеру» насквозь.

Народ уже приспособился к неуюту своих мест и спал. Ивану — по очереди — досталось место в углу у столика, и он тоже провалился в сон.

Проснулся внезапно от какой-то тревоги. Сказалась партизанская привычка мозга дежурить во сне. Открыл глаза и при свете луны увидел мужскую фигуру. Незнакомый левой рукой шарил под подушкой Риты и уже осторожно, чтобы не разбудить женщину, потянул сумочку.

— Ты что делаешь? — задал нелепый вопрос Иван.

— Тс-с... — перед лицом Ивана блеснул нож.

Иван прикрыл глаза, сквозь прищуренные веки видел, что вор поглядывает под ноги, чтобы, отступая, не запнуться за узлы на полу и одновременно держит его под контролем. Правая рука Ивана, к счастью, свисает вниз, и ладонь касается трости. Он сжимает своё оружие и без замаха, одним движением кисти, «как учили» — вращением, наносит удар по руке с ножом.

— У-у, пп... — грабитель едва сдерживает крик, но нож не выпускает, только рука повисла на мгновение вниз.

Второй раз ударить Иван не успел. Сверху, с полки, где спал Борис, на шею вора обрушивается ребро ладони. Вор рухнул.

«Вот вам и финансист! — мелькнула мысль у Ивана. — И это с такой раной?!» Георгий между тем тоже проснулся. Очнувшегося вора скрутили руки его же брючным ремнём. Рите вернули сумочку, в которой у неё были не только деньги, но и денежный аттестат мужа.

На шум пришёл мужчина проводник, и через несколько минут явились два милиционера железнодорожной милиции.

— Там, по-моему, был ещё один, ждал в проходе, — сообщил им Иван.

— Далеко не уйдёт, — успокоили его.

Утром выяснилось, что у одной женщины в вагоне исчезла сумка с вещами.

— Стрелять надо дезертиров, а не цацкаться, — возмущался Борис, — ловят — в дисциплинарные роты, а там царапину получит — и вот ему полная реабилитация.

Но вечером Зоя принесла большую сумку пострадавшей:

— Ваша?

— Милые вы мои! — плакала женщина от радости.

— Чо, поймали и второго жулика? — спрашивали Зою.

— Наверное, раз сумку вернули.

На очередной заправке поезда, на небольшой станции, Иван, наконец, нашёл пункт питания, где ему выдали по карточке продукты, вписав на оборотной сто-



роне справки, чем отоварили. Хлеб — кило двести — на два дня, сушёная вобла, килограмм картофеля, два пакета каши, жир, сахар и... махорка. Всего на четыре рубля пятьдесят шесть копеек. У торговки близ вокзала за эти деньги одной лепёшки было не купить. Махорку он тут же обменял на сахар — у такого же отставника, как и он.

Миновала ещё ночь. Георгий ворчал, что уже пора бы дома быть, а тут не известно, сколько дней будет тащиться поезд до его родного Челябинска. Ждут, мол, его не только жена и дочь, но и товарищи с тракторного завода, где он трудился до войны, где осваивал первые Т-34 и откуда выехал на фронт испытывать танк и оружие в реальной боевой обстановке. Обстановка же оказалась такой, что командировка на фронт стала постоянной.

Борис поддакивал танкисту.

Иван думал свою думу: какие трудные, невыносимые прежде, задачи поставила перед страной война, какие жуткие испытания приходится переносить народу, и откуда у людей взялись неизбывное терпение и силы, чтобы нести это бремя, невзирая ни на что. Все, от мала до велика, — как одно целое, единое, могучее тело невиданного прежде богатыря. Трусые, дезертиры, предатели — это шваль, короста на богатырском теле, отомрёт, отвалится, и настанет жизнь, краше которой не было никогда.

Зоя заглянула в отсек, попросила Бориса пройти к ней в купе, там, мол, у контролёра какой-то вопрос возник по его билету. Странно, час дежурства Зои ещё не наступил. В глазах Бориса, Иван видел, промелькнуло беспокойство, но он тут же встал и пошёл за проводницей, привычно придерживая рукой бок.

Иван, повинувшись неожиданно возникшему чувству любопытства, взял кружку, якобы для кипятка, и пошёл следом. Увидел: Борис, выйдя в проход, бросил взгляд налево, в противоположную от Зои сторону. Там, привалившись к стене вагона, стоял у окна капитан, правая рука на кобуре, а перед ним невысокий мужичок в гражданской одежде. Они, кажется, о чём-то беседовали, но капитан, будто бы и равнодушно, поглядывал в сторону проводницы и, соответственно, Бориса. «Интересно, — подумал Иван, — неужели схимичил с билетом финансист?»

Из двери купе проводников вышагнул мужчина средних лет, в сером, необычном для нынешнего времени, костюме, в белых бурках, как у Ивана, и чуть только не столкнулся с Борисом. Зоя перед тем посторонилась, пропуская пассажира в купе.

— О, Борис Юльевич! Рад вас видеть. Наконец-то мы встретились.

Борис остановился:

— Простите, я — Борис, но не Юльевич, а Моисеевич. Вы меня с кем-то спутали.

Он хотел развернуться и пойти назад, но капитан был уже тут, заступил ему дорогу, молча показал рукой на дверь в купе.

— Вот как? — негромко сказал гражданский. — Вы уже поменяли папашу? И фамилию тоже? Прошу.

Все трое скрылись в купе, щёлкнул замок двери.

Иван с кипятком в кружке прошёл на своё место.

— Что там? — спросил Георгий.

Иван пожал плечами:

— Непонятно, то ли путаница какая, то ли наш товарищ Боря не тот, за кого себя выдаёт.



— Этого ещё не хватало!

Пришёл проводник, попросил женщин встать с сиденья, поднял его, извлёк из ящика потёртый кожаный портфель.

— Его? — спросил, переводя взгляд с Риты на Георгия.

— Да.

— А вы зачем берёте? — неожиданно спросила мама девочки. — Чужое без разрешения?

— Он попросил принести. У него что-то с желудком, хочет к врачу. Сойдёт на станции.

Больше вопросов не было. Борис на своё место не вернулся.

— Пойдём покурим, — Георгий был встревожен.

Иван посмотрел на Риту — не спит, пошёл за товарищем. Прошли в тамбур, но там холодно, вернулись и стали напротив туалета.

— Что получается? — сказал Георгий. — Если он шпион, то мне — кирдык!

— Это почему?

— Заложит меня. Я ему много чего рассказал и про танки, и про завод. Наважение какое-то на меня нашло. Сроду такого не было. Конечно, выпил я изрядно, но памяти не терял. А он мне пожаловался: вот-де уволили его, списали, работать надо, нельзя ли к нам на завод, нет ли у меня знакомых. Чего ж нет? Есть, говорю. Только тебе какая работа, если ты тяжёлого поднять не можешь? Он говорит мне, что в конструкторском бы смог. Грамотный, мол, в технике, значит, соображает. И выложил мне кое-какие факты по двигателям, которые на бэтээшках установлены. Ну, я ему и сказал, как бывшего моего начальника найти. Он и сейчас, я знаю, там работает.

— Адрес и фамилию он записал?

— Нет, сказал, что запомнил.

— Ну и не горюй. Скажешь, что у него без тебя информация обширная была, наговаривает на тебя. Может, и не шпион, аферист какой-нибудь. Разберутся.

— Думаешь? В тюрьму-то не хочется, — приуныл Георгий.

— Зачем? Танкист на фронте сейчас нужен, а не в тюрьме.

— Да? И то верно... — в глазах Георгия засветилась надежда. — Спасибо, братишка!

Иван смотрел на просветлевшее лицо танкиста, и оно ему уже не казалось страшным.

— Вы чего же дверь в тамбур плохо прикрыли? — Зоя подошла к ним. — Думаю, откуда сифонит по вагону? Самим не холодно? Я где же угля наберусь?

— Прости, — Георгий прикрыл плотнее дверь, придержал проводницу за руку. — Стоп, Зоя! Угля мы тебе притартаем. Скажи на милость, как это Бориса ушучили? Кто он?

— А я знаю?

— Разве нет? Вы же с дедом подсуетились, ты Борьку вызвала. Скажи, пожалуйста.

— Чо сказать-то?

— Где он прокололся? Кто он?

— Ну, ты липучий, — выдохнула, Зоя. — Захар Лукич ночью пошёл вот этот туалет прибрать. Открыл ключом дверь, а там ваш Борис моется. По пояс. Ну, Лукич извинился, закрыл дверь. Пришёл в купе, разбудил меня, сказал присмотреть за вагоном, пока он отлучится ненадолго. Вот и всё.

— Он чего-то увидел?

— А, нуда, сказал, что никаких шрамов на животе у Бориса нет, а нам ещё при посадке жаловался, что он такой изрезанный, и местечко плацкартное просил для себя освободить. Вот.

Зоя ушла. Друзья переглянулись и тоже пошли на свои места. Озябли.

На небольшой станции перед Челябинском поезд стал на заправку паровоза, и Георгий извёлся в ожидании, когда же, наконец, он увидит свой родной город. Но прошёл и этот час. У Георгия кроме вещевого мешка с продуктами, изрядно похудевшего, был чемодан, который он купил по случаю и в котором, как он сказал, везёт подарки родственникам. И жене с дочкой, конечно. Иван пошёл проводить танкиста на вокзал. Перед уходом Георгий поцеловал девочку, обнял Риту, сказал ей:

— Вот, значит, поручаю тебя этому моему другу. И ты Ваню тоже береги, не обижай.

— Ладно, — засмеялась она, — иди, жена тебя заждалась. Будь счастлив!

Друзья прошли в вокзал под бдительными взглядами дежурных. Вышли с другой стороны.

— Вот у нас тут как — там трамвай, и там другая линия. Надумаешь — приезжай к нам работать, вон тем маршрутом прямо на завод.

— Спасибо.

Обнялись.

В вокзале Иван нашёл туалет, прислонил трость к стенке, а когда обернулся — тросточки нет. Вышел, сразу к милиционеру:

— Не видели, кто мою трость унёс?

Милиционер, пухлый меланхоличный сержант, посмотрел на Ивана сонными глазами, оглядел сверху донизу всю скособоченную фигуру, спросил:

— Спёрли? Давно?

— Только что.

— Опять беспризорники, — выдохнул удручённо: — Всех не переловишь. Фамилия? Где живёте?

— Я?

— Ну, вы, — достал из кармана небольшой потрёпанный блокнот, в котором вложен огрызок карандаша, приготовился записывать.

Ивану и смешно от подчеркнутой вежливости сержанта, и злость взяла:

— В Богдановке!

— Это где? Я чё-то не знаю такой.

— В Омской области, Кормиловский район. А Фамилия моя — Яценко.

— Постой, — сбился с вежливого обращения сержант, записывая, — повтори фамилию.

— Иван Яковлевич Яценко!

Иван готов был плюнуть, но только развернулся и направился в поисках выхода к поезду. И не зря, объявили, что его поезд отправляется через пять минут. Он заспешил к выходу на перрон, но в дверях его остановили дежурные:

— Ваш билет.

— Я с поезда, отправление скоро.

— Билет.

— Билет у проводника.

— Мы почём знаем?

Подошёл милиционер.

— В чём дело?

— Пассажиры все прошли, а этот безбилетник утверждает, что он едет в поезде.

— Документ есть?

— Да, — спохватился Иван, — вот, справка.

Милиционер взял справку, пробежал взглядом по ней, посмотрел с другой стороны.

— Пропустите.

Паровоз уже дёрнул состав. В вагон Иван успел благодаря Зое, она видела, как уходил Иван с Георгием, и ждала его, не закрывая дверь.

После Челябинска поезд останавливался реже: многие грузы для фронта шли с Урала, и потому движение составов по Сибири было менее интенсивным. И в вагоне стало чуть посвободнее, но всё равно народу было явно больше, чем полагалось. Иван сказал Зое:

— Куда все едут? Столько народу!

— Да, — в тон ему ответила Зоя, — куда люди едут? Ты-то домой, а остальные куда? — Вздохнула: — Видел бы ты, что раньше творилось на дороге! Все тамбуры были забиты, на крышах вагонов сесть тоже негде было, даже на тендере паровоза ехали.

— Там же дым из трубы!

— Вот на трубе только никто не сидел.

— Когда это было?

— Дак в первый, да и во второй год, когда многие эвакуировались. И в другую сторону тоже народу было полно. Пока распоряжение не вышло, чтобы арестовывать и в тюрьму всех, кто вне вагонов ездит, до тех пор порядка не могли навести. Мало того, что без билетов, мешали ведь движению поездов. Вот.

От Челябинска до Омска поезд шёл почти двое суток. Иван помнил, что когда их, новобранцев, везли весной сорок первого года на запад, то дорога от Омска до Челябинска заняла менее двадцати часов.

Следующие два дня Иван был охранником и помощником Рите. Спросил:

— Дочурку как зовут?

— Людмила, — девочка повернула голову на голос матери. — Людям мила, значит.

— Это правда, — сказал с чувством Иван, — очень милая и, главное, не плакса.

— Капитанская дочка! — с нескрываемой гордостью пояснила Рита. — Хныкать нам по штату не положено.

Иван смотрел за тем, чтобы не украли вещи молодой мамыши, пока она с дочкой уходила в туалет, следил за спящей девочкой, если Рита выходила на остановке купить себе что-нибудь из продуктов у торговки. Деньги у неё были. Хотя припасов ей хватало, которые выдали ей в воинской части, но одним сухим пайком, пусть и с консервами, питаться всю дорогу было невозможно.

В Омск поезд прибыл в начале дня. Перед этим Рита сказала:

— Зарос ты, Ваня, так и явишься домой охламоном?

Иван, проходя мимо зеркала у туалета, не обращал внимания на своё отображение, теперь же посмотрел, достал бритву, побрился, явился перед ней:

— Ну, вот, — спросил, — годится?

— Одобряю, — кивнула она.

Когда за окном показались привокзальные постройки, Иван сказал Рите:

— Прибыл. Дальше без меня. Надеюсь, что всё у тебя будет хорошо.

— Я тоже надеюсь. Желаю и тебе всего-всего, любви, счастья.

Первый привет от родины на вокзале — патруль. Две женщины в форме и молодой паренёк. Проверили документы.

— Подскажите, поезд до Кормиловки когда будет? — спросил старшую Иван.

— Справочное, — она показала рукой, — а кассы дальше.

— Спасибо.

У справочного небольшая очередь. Но когда перед Иваном оставался один пожилой мужичок с котомкой за плечами, окошко неожиданно закрылось. Возле касс народу толпилось много и подступиться с вопросом, когда будет поезд, который делает остановку на станции Кормиловка, было нечего и думать. Иван огляделся. Сесть негде, у стен места нет, женщины, старухи с узлами. Всё тот же вопрос: «Куда люди едут?» Иван прошёл в дальний конец зала, увидел лестницу на нижний этаж, вспомнил, что там тоже есть разные службы и даже, кажется, была прежде какая-то касса. Спустился и точно: люди стояли у окошка, которое могло оказаться кассой на поезд ближнего следования. Спросил у старушки:

— Тут, случайно, не продают билеты на поезд?

— Тут, тут, — закивала головой она. — Тебе куда, сынок?

— В Кормиловку.

— «Пятьсот-Весёлый», — сказала она, — утрешний ушёл, а второй раз — часа в четыре, однако, када вернётся.

— Это что за «Весёлый»? — спросил-удивился Иван.

— А подле каждого столба останавливается, потому — «Весёлый», по-нашему.

— Билеты здесь продают?

— Здеся, здеся. А то и в вагоне. Он же на перегоне может остановиться, народ сядет — тут ему и билет.

В расписании, висевшем на стене, никакого поезда под номером «Пятьсот» не значилось, однако другие пассажиры его заверили, что такой поезд ходит, только точного времени его прихода и отправления нет.

Иван собрался было снова подняться в верхний зал, когда натолкнулся на двоих военных. Оба, как и он, в шинелях, у сержанта погоны, а второй, скорее всего рядовой, без погон.

— Во, товарищ, — обрадовался Ивану сержант, — не спешишь? Пособи нам, побудь с Мишей, пока я тут всё разужаю.

— Что с ним? — спросил Иван, хотя и так было видно, что Миша нездоров: худое серое лицо, взгляд потухший, его чуть заметно покачивало. «Как из немецкого лагеря», — подумалось Ивану.

— Ладно, — сказал он сержанту, — иди, только присесть тут негде.

— А вот его чемоданчик, — сержант подал Ивану чемодан больного, — крепкий, на нём можно сидеть.

— Тебе куда? — спросил Иван Михаила, когда усадил его у стенки на чемодан.

— А? — тот отозвался не сразу, посмотрел вверх, только теперь пытаюсь разглядеть собеседника. — Из Тюкалинского района я.

— Что случилось? Не из плена случаем?

Парень с трудом вникал в суть вопросов, медлил с ответом, но всё же пытался удерживать уплывающее сознание:

— Какой плен? Из Забайкалья мы, — передохнул, продолжил: — Ничего не случилось. Дистрофия, называется. Еды нет.

— Где? В части?!

— Ну. А то где ж? Товарищ умер, там похоронили, а меня отпустили домой. Умирать.

Иван дальше не стал спрашивать. Что-то тут не так. Не может этого быть: паёк у военных лучше, чем у гражданских. Гражданские же не умирают.

Вернулся сержант.

— Порядок, через два часа наш поезд, билеты взял.

— Что говорит Михаил, — обратился к нему Иван, — будто не кормят у вас в части?

Сержант посмотрел на Ивана, потом на своего товарища, снова на Ивана, буркнул:

— Кормят, видишь — как.

— А ты... — Иван не договорил.

— Я почему не такой дохлый? Недавно в Забайкалку прибыл, ещё не закормленный.

— Нет, — поправил его Иван, — я хотел спросить, как вдвоём... Ну, почему ты тоже едешь? Миша сказал, что в Тюкалинский район.

— Сопровождаю. Ты же видишь, что он свой чемоданчик нести не может. Меня командировали — по распоряжению.

— Чтобы я помер дома, — повторил своё утверждение Михаил.

— Зря так думаешь, — возразил Иван, — я видел таких... Ну, в общем, хорошее питание, и выздоровеешь. Только надо аккуратно, сразу не наедаться. Ты проследи там, объясни родственникам, — обратился к сержанту.

— Я в курсе.

Старушка оказалась права: в четвёртом часу касса открылась, и минут через пятнадцать Иван купил билет, заплатив два рубля сорок копеек. Никаких номеров вагонов и мест в них не указано. В этот поезд билеты продавали по потребностям, а не по наличию мест. К старым видавшим виды вагонам были прицеплены ещё две теплушки. Скорее всего для тех пассажиров, кто везёт с собой большой груз или вздумает провезти животных.

«Пятьсот-Весёлый», останавливаясь на каждом полустанке, прибыл на станцию Кормиловка через два часа, когда короткий зимний день закончился и на востоке растущей буханкой на небе появилась луна. «Потянет, пожалуй, на три пайки», — подумалось Ивану.

Пассажиров выпустили на противоположную сторону от вокзала, чтобы никто не попал под колёса проходящего поезда. Пришлось обходить свой поезд, кому с хвоста, кому перед паровозом. Все улицы райцентра были со стороны вокзала.

Иван, проходя перед дымящим и попыхивающим паром паровозом, глянул на крупные буквы: ИС. «Иосиф Сталин», значит. Паровозы этой серии водили пассажирские поезда, а паровозы ФД («Феликс Дзержинский») — грузовые. «И вожди трудятся ради победы, — мелькнула мысль у Ивана, — и танки появились ИС, чтобы всяких «Тигров» громить».

Перед вокзалом новое препятствие: стоял длинный грузовой состав, паровоз

которого загружался углём и заправлялся водой. Народ, женщины, в основном, направились к переходным площадкам и, несмотря на окрики сопровождающего состав охранника, закутанного в тулуп и с винтовкой за спиной, стали перебираться на перрон. Глянув на служивого, Иван посочувствовал ему: сидеть на морозе, когда поезд идёт, при ветре, хоть и в тулупе, не самое приятное дело.

Иван не полез через тормозную площадку, а пошёл вдоль вагонов, ему всё равно надо было двигаться в ту сторону. Ноги оскользались, когда под снегом попадались крупные камни или когда он наступал на край невидимой под снегом шпалы. Иван пожалел теперь, что остался без трости. А мороз заставлял пошевеливаться, хорошо хоть, что ветер дул в спину.

Пересёк ещё один рельсовый путь, который шёл на территорию «Заготзерно», к складам и элеватору, выбрался, наконец, на широкую протоптанную в снегу тропу, а там и на центральную, укатанную санями, улицу. Справа осталась вторая, запасная, водокачка и замёрзший водоём близ неё, далее — начальная школа, в окнах её не было огня, чему Иван сперва удивился — неужели дети не учатся? — а потом вспомнил: каникулы! Слева — молокозавод, там, в приземистом деревянном здании, свет горел, люди работали. «А ведь зима — откуда молоко?»

Вся правая сторона улицы занята разными предприятиями, да ещё районной милицией. Милицейская территория огорожена высоким забором из тесовых досок, неказистое здание, в котором временно содержались задержанные, то ли преступники, то ли подозреваемые, низкое, видна лишь крыша его. Вход на территорию только через деревянный дом, в котором кабинет начальника и комната для сотрудников. Проходя мимо, Иван не догадывался, что здесь работает его сестра Надя.

А сердце ёкнуло, и беспокойная мысль явилась смутной тревогой: «Будут ещё спрашивать меня, как да почему в плену оказался?» Ещё в отряде Иван узнал, что плен расценивается как предательство. Но лейтенант из СМЕРШа никаких обвинений ему не предъявил... Блаженное чувство от того, что прибыл, наконец, домой, сменилось неясной, осевшей на самом дне сознания, тревогой.

Далее — мельница, негромкое гудение из её трёхэтажного деревянного чрева убедительно сообщало о том, что и пекарня не останется без работы, хлеб, хоть и по скудной тыловой норме, будет доставлен утром в магазины. Большая часть муки, конечно же, отправляется для фронта, на запад. Тут невольно подумалось: «А на восток?! — представился ему истощённый Михаил из Забайкалья. — Или туда продукты поставляют исправно, но их разворовывают интенданты?!»

Иван придержал шаг: напротив мельничных ворот, через дорогу, был дом Анастасии, самой старшей сестры семейства Ященко. Муж её, Иван Иванович, тёзка, вероятно, находится на фронте, если жив. А если нет? Две взрослые дочери, Мария и Дуся, тоже, скорее всего, призваны куда-нибудь на трудовой фронт, может, и не на трудовой, а на самый что ни на есть настоящий. Ещё два огольца — Володя и Анатолий — есть у сестры, этим воевать и работать рано. Зайти? Нет. Захотят накормить незваного гостя, а у самих, наверное — шаром покати. Прошёл мимо.

«Зайду к Наде, — решил он, — у неё едоков меньше — сама да малыш». Но главное, что заставляло Ивана идти ко второй сестре, это то, что Тасю, так они называли Анастасию, он мало знал. Когда он родился, Тасе было шестнадцать лет, а когда он стал ходить, год от роду, она выскочила замуж. Иван Мартыненко выкрал её у сурового отца и увёз в свою деревню. Потом они пришли к нему просить



прощения и благословения, стали на колени и получили это благословение в виде порки ремнём. Но простил. А там и Мария родилась.

Надя была всего на шесть лет старше Ивана и в детские годы, стала, конечно, нянькой не только Ивану, но и сёстрам — Вере и Ане, бесплатной и безропотной работницей при мачехе. Иван любил свою няню и до сих пор ценил её суждения, хотя Надя училась в школе всего один год, из-за обязанностей по уходу не только за детьми, но и за скотиной, что была в хозяйстве. А когда подрос, полюбил её ещё больше — за красоту. У неё были необыкновенные волосы: ярко-красные и выющиеся локоны свисали до пояса, когда она их расчёсывала. Ему от отца тоже достались яркие волосы, но не кучерявые.

Надина землянка в самом конце посёлка, крайний домишко на улице Боровая, если идти от главной. Никакого бора там давно нет, оставались перед войной только берёзы на огороде у неё, но, возможно, она их срубила из-за нехватки дров?

Осталось пройти мимо огромной территории «Заготзерно», где в элеваторе громко клацал — слышно за версту! — клапан дизеля. Этот чудо-агрегат, «Балаховец», Иван видел однажды, когда Павел, муж Надежды, завёл Ивана в машинное отделение, чтобы показать, откуда подаётся энергия на все транспортёры элеватора. Маховик — установленное вертикально огромное, метра три в диаметре, колесо, цилиндр, размером в бочонок, и открытый, ежесекундно хлопающий с оглушительным звуком, клапан. Разговаривать возле было невозможно.

Сюда, на склады «Заготзерно», из колхозов и совхозов в конце лета сдавали пшеницу, рожь и овёс. Длинными колоннами со всех сторон тянулись обозы. Первая доставка зерна была обставлена празднично: на передней подводе был выставлен транспортант с названием, например, Богдановского колхоза имени Жданова и с лозунгом: «Наш Хлеб Родине!» Над проходными воротами, где были установлены весы, хлеборобов встречал на плакате дюжий молодец с устремлённым на едущих взглядом и с указующим перстом: «Обмолотил хлеб — сдай на элеватор!» Зерно хранилось на складах, сушилось и очищалось на элеваторе, с которого потом поступало в железнодорожные вагоны, и сибирский хлеб шёл в те уголки страны, где своего не было. Богдановцы гордились, что колхоз имени Жданова всегда выполнял и перевыполнял план хлебосдачи государству. «Робить умием» — говорили сельчане при получении очередной грамоты. Грамоты эти, с портретами Ленина и Сталина, вывешивались на видном месте в правлении, и можно было, при желании, подойти и прочесть, что там написано.

Иван не заметил, как жизнь тыла полностью завладела его мыслями. Мельком глянул на плетень Надиного огорода, почти до самого верха занесённый снегом, прошёл к калитке, нашёл тайную задвижку, затем открыл щеколду, дёрнув за верёвочку.

Обратил внимание, что весь двор очищен от снега, но не посмотрел, что света в окнах нет. Окна избушки у самой земли. Землянка. Скат крыши на уровне пояса.

На входной двери висел замок. «Вот это — да! Где же она может быть в такой час?» Продвинулся к двери сарая, пристроенного к сеним, прислушался. Кажется, что там есть живое существо, корова. Поэтому не может Надя ночевать где-то, придёт, но когда? Иван уже промёрз в своей шинели и стал обдумывать, как бы ему попасть хотя бы в сарай. Дверь сарая, он знал, закрывается задвижкой из сеней. Не доберёшься. Идти в Богдановку? Мороз к ночи становился сильнее, и лёгкий, казалось бы, ветерок касался лица, словно бритвой. Нет, пять километров в такой мороз не одолеть. Всё-таки направился к выходу со двора, но тут услышал скрип снега.



— Ой! Это ты, Иван? — услышал он, когда между ним и Надеждой были ещё ворота.

Иван открыл калитку.

— Я. Ты как узнала?

У Нади на руках сынок Витя.

— Пойдём скорей в хату, — сказала она, — такой мороз, рождественский! Подержи, — подала Ивану ребёнка, сняла рукавицу и достала из кармана ключ.

Ивану пришлось низко наклониться, чтобы пройти в сени, а потом в дом. Надежде дверь по росту. В темноте помещения она безошибочно нашарила на полке коробок со спичками, зажгла и поднесла спичку к фитилю заблаговременно приготовленной лампы, установила стекло.

— Вот, — выдохнула облегчённо, — свет. Раздевайся, Ваня, у меня натоплено. Семилинейную зажигаю, эконоблю керосин.

Надежда быстро развязала шаль, скинула пальто и стала раздевать укутанного сына. Тот покорялся молча, поглядывая то на мать, то на дядю.

— Ты что так криво стоишь? — Надя отставила сынишку, обняла Ивана, прижимаясь головой к его груди.

— Так укоротили мне правую ногу, на семь сантиметров, — Иван склонился, поцеловал сестру в щёку. — Потому и списали из армии. А меня шибко обнимать не надо, в поезде разный народ, вдруг вшу подцепил.

— Тыними всё, я одежонку-то прожарю над плитой. У меня тёплая вода в чугушке есть — помойся вон: за печью. А я пока плитку растоплю да ещё воды нагрею, принесла днём с колодца два ведра про запас. Исподнее постираю, к утру высохнет. Давай, вот, ванну на две табуретки поставь и воду туда. Мойся.

Она вышла в сени, вернулась, принесла для топки кизяки, и через минуту в плите запылал огонь.

— Вот, — говорила она Ивану, скрытому занавеской в запечье, — дров мало удаётся запасти на зиму, так я кизяков наделала, сухие горят не хуже дров. Навоз-то не купленный, соломы добавила, да и налепила караваев. Поле ваше, богдановское, рядом, за огородом, за солому, что берём, не гоняют.

— Берёзы, видел, не пустила на дрова, — заметил Иван.

— Нельзя, Павел не велел. Я порублю, а он спросит, когда вернётся: «Почему не берегла?» Боже упаси!

Не прошло и полчаса, как Надя пригласила:

— Ну, мужики мои, давайте за стол, ужин подогрела.

Иван вышел к столу обряженный в рубаху и кальсоны Павла. Одежда Надино-го мужа смотрелась на нём смешно: по ширине впору, но коротка. Ступая босыми ногами по полу, отметил:

— А ничего — пол тёплый.

— Так два раза в сутки топлю, утром, как приду с работы, и на ночь. Изба тёплая, не лубяная, стенки из пластов в полметра, да ещё штукатурка.

Надя поставила перед братом чашку с дымящимся борщом — от борща шёл упоительный запах. Ответила на его удивлённый взгляд:

— С курицей, по несчастью. Мясо по карточке редко достаётся. А для борща всё со своего огорода: картошка и овощи. Ой, забыла!

Она взяла тарелку и нож, вышла в сени, вернулась с тарелкой, наполненной мороженой капустой.

— Вот, — сказала, — насолела полный бочонок вместе с огурцами, ешь. Давно такого не пробовал? Хлеба только мало, но сегодня топила печь, две бухан-

ки испекла, пшеничку вчера перетёрла на муку. — Вздохнула: — Тоже горестная прибавка.

— Это почему?

Достала из шкафчика булку, отрезала горбушку, сказала:

— Ешь, не сомневайся. Потом расскажу, откуда такое богатство.

Иван зачерпнул ложкой — вкусно! Хлебал горячий борщ, боясь спросить, жив ли отец, да и другие родственники.

— Откуда шла? Где работаешь?

— В милиции. Печи топлю, полы мою. Утром рано ухожу, сынок спит, вернусь часов в девять, он ещё не проснулся. Когда задержусь — проснётся и сидит в одеяле, ждёт меня. Ну, а второй раз убираюсь ближе к вечеру. И печи подтапливаю, опять же. Кутузки-то, камеры, холодные, стенки тонкие, из хвороста да глиной обмазаны.

— Знаю, наша хата в Богдановке не намного лучше.

— Вот. У начальника топлю и арестантов жалко. Не все же преступники. Второй-то раз иду уже с Витей, оставляю у Настеньки, а возвращаюсь с ним затемно.

— Как там, у Таси? Иван Иванович на фронте? Девчат не мобилизовали?

— Иван Иванович дома. На войне его сильно в живот поранили, что-то доктора удалили, а потом отправили домой. Худой, но немного поправился, работает. За конями ухаживает на молокозаводе. Мария, значит, в Омске на заводе на станке работает. Ложки этим... как его? Ну, станок такой, который ложки из люминезового листа высекает. Там, говорит, такой грохот, что оглохнуть недолго. А ведь второй год она на этом станке стоит.

— Дуся тоже на заводе?

— Нет, её в армию взяли. Пишет, что у неё всё хорошо. А что у неё там за служба — не пишет. Чай будешь? Заварка только фруктовая.

— Ох! — спохватился Иван. — У меня ведь сахар есть и чай настоящий. Подай-ка мой сидор.

Он достал из вещевого мешка свои небогатые припасы, чай, сахар и пакет горохового концентрата. Протянул кусок сахара племяннику:

— Ну-ка, погрызи — зубки молодые.

Надя уложила сына спать, села напротив Ивана, смотрела на него, облокотившись на стол и подперев голову руками. Иван тоже смотрел на сестру, молча переживая волнение встречи.

— Как это ты решила курицу зарубить? Не могла же знать, что я заявлюсь. Убыток в твоём хозяйстве, — вспомнил он вкусный борщ.

— Ещё какой! — вздохнула Надя. — Это ж ворованная курица.

— Как?! — опешил Иван.

— Такая история: погубили моих кур неделю назад, в новогоднюю ночь. Ну, скажу по порядку. Жила у меня на квартире Фаина, еврейка эвакуированная. Маленькая ростиком, с рыжими кудряшками. Ну, мне хорошо: на работу она не ходит, и я за сынишку спокоина. Вот. Новый год мы втроём-то и встречали. Поужинали и в карты играли, в подкидного.

— И Витя в карты?!

— И Витя. Ты бы знал, как он играет. Я однажды прихожу с работы, а они шлёпают картами. Витя сидит на столе, ноги калачом, она — напротив. У Фаи лицо красное. Говорит мне, чуть не плачет: «Надя! Что это такое, он меня шестнадцать

раз обставил!» И меня, бывает, обыгрывает. Как это у него получается, сама не пойму.

— Ну, шестнадцать раз — это ваша женская психология, — усмехнулся Иван. — Один раз проиграла, занервничала и перестала соображать.

— Ладно ты, «женская психология». Так вот, полночь, когда решили уже спать ложиться, слышим стук. Удары по стене сарая. Прислушались — бьют стенку! Батюшки мои! Это ж бандиты за моей коровушкой ломаются! Страх-то какой! Взяла я топор, крюк на двери проверила, стою наготове: вдруг из сарая в сени вломятся — дверь из сеней в сарай тонкая — и захотят в хате добычу поискать. Фая с лица спала, губами шевелит: «Фрицы, фрицы...» Откуда, говорю, фрицы! Сволочи! Успокаиваю, а то она ребёнка напугает. Да. Стук прекратился, куры кудахтали, слышно, что суматоха в сарае. Потом стихло. Подождала я — выходить боюсь, вдруг они там корову разделявают и мне голову проломают!

Иван вспомнил, рассказывала женщина из разгромленной немцами деревни, в первые дни войны, что так же вот фрицы взламывали двери топорами, если жильцы пытались спастись, закрывшись в доме. И вдруг — тут такое!

— Ну, — продолжала Надежда, — вышла я в сени, как светать стало, задвижку убрала, открыла дверь в сарай, вижу, что Милка моя, корова, лежит и жвачку пережёвывает. А за ней большая дыра в стене светится. Куриц не видно. Подошла к пролому, выглянула — следы глубокие. Два следа: один явно мужицкий, а другой поменее, то ли женский, то ли подростка след. С вечера снег валил, и воры думали, что следы-то занесёт, а нет — снегопад прекратился, небо очистилось, звёзды, и всё видать при лунном серпике, как при фонарях. Фая с сыном уснули под утро, а я снарядилась и пошла по следам. Дошла до конца огорода — там плетень взломан, и следы на дорогу вышли, что вдоль поля в сторону Омки.

— Неуж из Никитинки или Богдановки кто обнаглел? — не дождался конца истории Иван. — Ты бы знала, до чего фрицы охочи до курочек и яиц! Сколько же у тебя несушек было?

— Семь. И петух. Но погоди. Деревенских я сразу от этого дела отмела — не такой народ, чтобы с разбоем идти. Да там здоровых мужиков не осталось, и ночью через поля вряд ли кто теперь ходить осмелится. Был случай: бабушка Наливайко, ты её помнишь? Вот она отправила младшей сестре в город валенки, та собиралась перебраться к нам в деревню. Приехала поездом к ночи и пошла. В общем, не дождалась бабушка сестры, а что случилось, узнали только по весне, когда в поле на пахоту выехали — по валенкам, в лесочке увидели, из них только кости торчали. Волки её по дороге встретили... Стрелять волков некому, — упредила Надя вопрос Ивана. — Ага. Иду я по следам, догадываюсь, чьих рук это дело. И точно, по за огородами они прошли до проулка, свернули и — в Копай. Ну, знаешь, вы по этой улице осенью хлеб на элеватор возите. Вышла в улицу, вижу над одним домом дымок, хотя печи топить рано, люди самый сладкий сон досматривают. И запах палёных перьев. Я мимо двора, на Советскую, да прямоком к Шувакину, он милиционером служит.

— Какой Шувакин? Петро? Наш богдановский?

— Он самый. Постучала в раму, разбудила, сказала, что у меня случилось, и мы с ним, минуя милицию, скоренько явились к вору в дом. Факт налицо. Куры ощипаны не все, но одна уже варилась. Кур, значит, мне, а мужика этого Пётр в катажку отвёл. Вот почему у меня щи с куриным мясом — поневоле.

— И кто этот мужик?

— Сын начальника военных складов. На том конце Кормиловки склады. Папаша сына к себе на работу устроил, от армии освободил, якобы у него плоскостопье. Ну, никакого плоскостопья не оказалось.

— И что? Судили?

— Нет. Отправили на войну, говорят, что для таких специальные части есть, туда его.

— Да, есть, — подтвердил Иван, — штрафные роты.

О штрафниках были разговоры в госпитале.

— Не завидую я тем, кто с ним рядом окажется, — шкурник в бою подведёт. А что с той курицей, что у них уже в кастрюле варилась, ты её как забрала? Горячую?

— Никак, оставила, пускай напоследок потчуются. Вот что я по плану сдавать буду, где яиц найду, не знаю. Одна курочка осталась. Рябенькая. Притаилась в уголке, когда остальные по сараю метались, её не заметили. И петуха словить не смогли. Такой вот теперь у меня курятник: петух да курочка ряба.

— Надя, что ты всё вокруг да около? Дома всё ли ладно? Тятя как? — Иван не дождался, когда Надежда расскажет о родне.

— Да все живы, — успокоила она, — хотела тебе сюрприз устроить. Батяка наш в больнице, но завтра его должны бы отпустить. Зайдёт ко мне, а ты тут. Обойдём радость.

— Ну — радость?! Что с ним?

— Да всё то же, кашляет. В груди болит.

— А Вера с Нюрой дома?

— Веру чуть на фронт не взяли. На медицину их учили, на медицинских сестёр, девчонок с ближних деревень. Но Вера ногу сломала, когда на разгрузке сахара была. Из вагонов. Посылали их. Мешки-то по центнеру весом, втроём по трапу тащили, не удержали, Вера ногой под доску попала, а мешок сверху. Вот. Ну, остальных на фронт, а Вера с гипсом на курсы бухгалтеров. Выучилась. Уже больше года в совхозе на должности. Смышлёная у нас сестра.

— Аннушка, поди, тоже не глупая, — заметил Иван.

— Нюра в колхозе дояркой. Прямо с лета сорок первого пошла. Теперь уж опытная. Мамаша твоя на разные работы ходит, тоже не отлынивает от дела, да и лишний трудодень не помешает. Год урожайный был, план перевыполнили и хорошо дали на трудодень, не только зерном, но и рублями немного, не знаю, сколько.

— Тогда почему ты сказала, что хлеб горький, который испекла?

— Ой, горе! Галя Пономаренко, дружка твоего, Саньки-гармониста, жена, приехала как-то на базар — поздней осенью дело было, снег уж хорошо лёг, приехала, продала с полмешка пшеницы, чего-то купила и подвернула ко мне. Деревенские часто у меня бывают, когда с базара возвращаются. Которые на мельницу зерно привозят, те к Настеньке заходят. Там рядом. Да. Села, значит, Галя на лавку, не раздеваясь, как была в шубе, говорит мне: «Погадай на мово, чтой-то довго писем нема. Як вин там — чи живий, чи нет?» Я отказываюсь, отвечаю: «Гадала уж сегодня, второй раз нельзя, карты правду не скажут». Она ни в какую, не отстаёт. Я и так и сак, нет: «Сгадай, ты ж, — говорит, — всяко гадать умиєшь». Вспомнила я про бобы, достала баночку, высыпала на стол, отсчитала: «Сорок один боб, ска-

жите всю правду». Она взглядом в них впиалась, руками за край стола, аж пальцы побелели.

Надя замолчала, переводя дух.

— И что — погиб Санька?

— Ой, Ваня, как бы не хуже. Говорю ей: «Живый твой Саня, тильки очень худо ему!» Ага. Она: «Ранили, значит. Живый. Слава Богу! Кажи дальше». Убираю по три боба, и вижу, говорю ей: «Дома уже твой мужик, тебя дожидается». Ахнула она, вскочила с лавки, к порогу, вернулась, на стол мне мешочек с пшеницей бухнула — приготовила заранее, и — в дверь. Вожжи от ворот отвязала, встала в санях, да ка-ак кнутом коня полоснёт! Бедная лошадка вскачь пошла. Вот, из этой пшенички — смолола на своей мельничке — мука, и этот хлеб.

— А Саня?

— Саня, она потом мне рассказала, сидел за столом, встретить её не встал, потому что без обеих ног. И не обнял — одна рука, на которой три пальца. Так что гармонь больше не запоёт. — Надежда покачала головой: — Сказала мне, что когда мчалась по деревне, ей махали бабы, и она уже знала о чём. Но, говорит, здоровья ей не занимать, за двоих, говорит, справлюсь.

— Тебе спать не пора? — озаботился Иван. — Рано встаёшь.

— Да, в полшестого. Но доскажу. Что началось-то! Стали бабы приезжать ко мне, чтобы погадала. Чего только не предлагали — и зерно, и муку, и картошку! Дарья Столяр бычка полугодовалого мне обещала, коли погадаю. Говорю им, что случайно у меня получилось, и гадать не буду, тем более — за плату. Не верят, стали говорить: «Раз Надя отказывается, значит моего уже нет в живых». Тут, как на грех, и правда, отказалась гадать на Лёшку Рыжих, а через день на него похоронка пришла. Теперь редко кто ко мне заглядывает. Подружки мои ещё что говорят? Надя, мол, не ворожея, а колдунья, она и без карт всё знает.

— Не колдунья, но что-то есть, — неожиданно согласился с подругами Иван. — Ты мне сильно помогла.

— Как это?

— Картошку копали мы для фрицев. Собрался я охранника лопатой зарубить, винтовку взять и — в лес. Мне сон той ночью был: ты приснилась, сказала: «Увидимся». Я поверил. И вдруг утром появилась Марийка, обманула фрица, переодела меня в женскую одежду и увела. Так я из третьего лагеря выбрался.

— Будешь в деревне, не рассказывай про это никому, а то совсем меня чураться станут.

— Ладно. И вообще, про плен говорить ни с кем не стоит.

— Понимаю. А скажи, сильно плохо было?

— Лучше не спрашивать. Фрицы русских за людей не считают.

— И ты, значит, в партизаны пошёл? Тяжело было?

Иван засмеялся:

— Всяко. Но чуть лучше, чем в немецком лагере. Медведя зимой встревожили — убили. Наварили мяса, кто пожадничал, тот потом в кустах сидел, чуть задание не провалили. В другой раз, наоборот, совсем продуктов не стало, так один из местных нас липовой корой накормил.

— Это как же? Помереть можно.

— Ну, рецепт я тебе не скажу, но как-то вот так: надрали, засушили на огне, покрошили и сварили. Что-то вроде каши получилось. Никто не отравился. Лопуны ели.

— Это что такое?

— Картошку мороженую на полях весной копали.

— А... по весне, когда огород копаю, тоже нахожу. Не выбрасываю — крахмал.

— Ладно, скажи, учительница Надежда Степановна как себя чувствует?

— Тая, зазноба твоя — знаю, знаю, не отпирайся! После школы в военкомат обратилась, и её вместе с подружками куда-то направили, — Надя догадалась о смысле вопроса про учительницу. — А Надежда Степановна сперва в район переехала, а потом ещё куда-то. Спать где ляжешь? Возле обогревателя не вредно твоей ноге будет?

— Я бы и на печку лёг, — засмеялся Иван, — по старой памяти, да только тесновата будет печь, хоть меня немного укоротили.

Он уже засыпал, когда Надя, укладываясь в кровать к сыну, обронила:

— Меня ведь чуть на войну не отправили.

Сон у Ивана мгновенно улетучился:

— Как?!

— Повестку принесли, чтобы я на следующий день явилась с вещами в военкомат. Это потому, что я раньше работала в больнице, няней. Числюсь медицинским работником. Я сразу же Витю в охапку и — прямиком к военкому. Говорю ему: «Меня в армию, а его куда?» «Родителям», — отвечает. «Нет, — говорю, — у меня мамы, а родители мужа живут в другой области». Очень ему это не понравилось, у них же разнарядка: сёдня приказали, завтра исполни. Но — без дури военком — отпустил. Тогда я как раз в милицию устроилась.

Она подошла к столу, ладонь над стеклом лампы козырьком приставила, дунула — свет погас.

«Теперь тебя могут в следователи направить, вон как быстро вора нашла», — хотел пошутить Иван, но сон уже навалился, и язык не повернулся.

Утром проснулась Надежда, и Иван пробудился сразу. Надя оделась, сказала от порога:

— Если проголодаешься — затопи печь, борщ нагрей.

Иван уснул ещё, но скоро поднялся. Решил посмотреть, что сделала сестра со взломанной стеной. Нашёл под лавкой топор, вышел в огород. У стены снег утоптан, кое-где видны куски глины. Палки и щепки, понятное дело, Надя подобрала. Следы по снегу, через огород — прочь от сарая — ещё не совсем замело. Дыра, в которую свободно мог пролезть любой мужик, была закрыта какой-то тряпкой и закреплена крест-накрест двумя тонкими жердочками. Огляделся в поисках хоть чего-нибудь пригодного для ремонта стены. Ничего нет. И во дворе ничего путного для дела не нашёл. Вернулся в сени, осмотрел дверь из сеней в сарай, потом — в хату. Решил, что надо будет помочь сестре: от ветра тряпка корову спасает, от мороза — нет.

Взял два порожних ведра, пошёл к колодцу. На пустынной улице тишина. Ворот, тяжёлое ведро на цепи. Раньше, помнит Иван, воду здесь доставали с помощью «журавля». В обледелый сруб едва проходит ведро. Тоже надо бы обдолбить. Принёс воды, лампу зажигать не стал — в окно светила низкая над горизонтом, но подросшая за ночь горбушка луны. Посидел в раздумьях о том, что услышал накануне от сестры. Луна спряталась, но где-то на востоке забрезжило рассветом небо. Подумал, что пора, пожалуй, растопить плиту. Вышел во двор набрать из пирамиды кизяков, глянул вдоль улицы: кое-где над печными трубами поднимались дымы. Значит, пора.



Надя пришла, когда уже рассвело. Пришла с отцом.

Переступив порог, Яков Мартынович перекрестился на дальний угол, там — только теперь увидел Иван — висела маленькая иконка с Николаем Угодником. Отец, снимая сосульки с бороды и усов, внимательно посмотрел на Ивана, вставшего к нему навстречу, стал раздеваться, кажется, удовлетворённый видом сына. Обмёл голичком валенки, и только после этого они обнялись.

— Слава Богу, сынку, що голову принис до дому, — со вздохом облегчения произнёс отец. — Ну, кажи, як там хрицы лютують.

— Да, тятя, — махнул рукой Иван, — нелюди, лютеє всякого зверя. Не война — разбой и людоедство. Уничтожать пришли, под корень.

— Дз був?

Иван вкратце рассказал истории своих пленов и то, как его вызволила Марийка из неволи. Про мальчика, которого Марийка родила и который умер, умолчал. Марийкин мальчик Миша, это же, получается, был бы его внук. У Нади перед войной два первенца умерли, отец сильно переживал. Сам он схоронил первую жену, мать Анастасии, вторая жена, мать Надежды, умерла, когда он воевал «за Веру, Царя и Отечество». Большой и сильный Яков Мартынович был беззащитен от возможных потерь родных.

— О, то добра жинка. Жива?

— Не знаю, тятя. Весь год фрицы палили деревни без передыху, хуже, чем в сорок первом и сорок втором. Кабы одни немцы, а то ведь предателей набралось — уйма, от них мирным людям урон не меньший, чем от немцев.

Надежда приготовила завтрак, пригласила мужчин к столу. Усадила и Витю.

— Защитник мой, — сказала, — меньше испугался, чем Фая, когда сарай ломали — ножик взял и рядом с мамой у двери стоял.

— Кстати, — заметил Иван, — а где твоя Фая сейчас?

— Не знаю. Куда-то её перевели или отправили — в тот же день. Записку мне оставила со «спасибом», когда я была на работе. А у меня вот что есть, по карточке взяла. Всё по талонам, — Надя достала из шкафчика четушку водки, разлила по стаканам. — С Рождеством Христовым!

После праздничного застолья Иван с отцом стали собираться в дорогу.

Уже у порога, одетый, Яков Мартынович, обернувшись к дочери, сказал:

— Був бы живой Ленин, вийны бы не було.

— Тятя! — ахнула Надежда, — Вы такэ бильше никому не кажить!

— Я мовчу.

Иван тоже поразился:

— Это почему, батя?

— Ото так, — не стал вдаваться в разъяснения Яков Мартынович. — Береги дитятко, — наказал дочери и вышел первым в дверь.

Мороз немного ослаб с наступлением дня.

Дорога от райцентра до Богдановки накатана, лишь кое-где переметена снегом. Знакомая Ивану с детских лет картина: поля и перелески, по местному — «околки», и — тишина. И необычно Ивану, просто дико, что не надо напрягаться и вглядываться в снежные сугробы, проходя очередной лесок, — в ожидании выстрелов, а можно поглядывать на батю, радоваться тому, что отца не бьёт кашель, что идёт он бодро и отвечает взглядом на взгляд. Летом эти пять километров одолевались, обычно, за час, по снегу шли чуть дольше. Иван, несмотря на хромоту, нисколько не уступал отцу в ходьбе.



Мыслям в голове светло и просторно, как в этом снежном раздолье.

Надя при свете дня, припоминает Иван, как-то странно посмотрела на его голову. Он спросил:

— Что увидела?

— Волосы, Ваня, не твои.

— Как это? — засмеялся Иван.

— Был огонь на голове, а теперь солома. Выцвели, — вздохнула: — Хорошо, что не поседела.

— Зато у тебя потемнели, вместо золота — медь, — не остался в долгу Иван, — тоже могла бы поседеть.

И об отце мысли: ведь прошагал он в конце прошлого века от Черниговской губернии до Западной Сибири, от Украинских чернозёмов до хлеботородных земель на притоке Иртыша Оми. Надо будет расспросить батю, как это было? Сколько времени шли? Год или два? Летом на телеге поклажа, а зимой — сани? И корову на привязи за повозкой вели?

Подробней пусть батя расскажет о войне с немцами в Первую мировую. Помнится, отец обмолвился однажды, что побывал он на родине, на земле, где родился, прижимался к ней брюхом, ползая на животе, кланялся ей и лбом касался земли, как в детстве, бывало, искал защиту и ласку у матери. Там и хлебнул немецких отравляющих газов, которые не дают о себе забыть и по сей день.

— Ну вот, Катерина, — сказал Яков Мартынович жене, — пришли, примай гостя.

Иван с некоторым удивлением отметил про себя, что дома отец не перекрестился, хотя на божнице стояли две иконы: Богородица с Младенцем и Иисус Христос.

Мама похудела и, кажется, стала ещё меньше ростом; прижалась к груди Ивана, молча и без слёз. Нюры дома не было — на ферме. Как объяснила мать, ждёт приплода от одной из коров. Сестра пришла вечером, уставшая, но довольная — телёночек родился здоровый, со звёздочкой на лбу. Иван смотрел на Нюру с восхищением: уходил в армию, дома оставалась нескладная девчонка, а тут белокурая красавица перед ним с румянцем на щеках, с блестящими от счастья глазами.

Только в этот день, в день Рождества, Иван барствовал: сидел дома и встречал гостей, в основном женщин и девчат, забежавших поглядеть живого Ивана, почти невредимого, которого считали пропавшим на войне с самого начала. Одни заходили с надеждой услышать что-то о своих мужьях, другие, невесты, — с тайными сладкими мечтаниями... Мужчин, стариков, интересовало, где воевал Иван, как ранило и — самое удивительное! — как это доктора сумели так приделать часть ноги, что даже ходить можно. Иван на эти вопросы отвечал скупко:

— Партизанил. А в госпитале был уже тут, на нашей стороне. Самолётом вывезли. Сам удивляюсь, что с ногой остался.

Но скрыть правду о том, что побывал в плену, не пришлось.

Во время этих разговоров Ивана не оставляло смутное беспокойство: он ждал, когда придут родители Василя Яковенко, товарища, который остался в немецком лагере. Мама Василя постучала в дверь поздно, когда уже никого из гостей в доме не было, и семья Ивана готовилась ко сну. Тётка Ганна переступила порог несмело, прислонилась к дверному косяку, словно пришла просить подаяние. Катерина, увидев её, пригласила:

— Проходи, сидай, — и смахнула тряпкой невидимую пыль с лавки.

Тётка Ганна прошла, села, медленно повернула голову в сторону Ивана. В глазах её вопрос, страх и робкая надежда. И, кажется Ивану, упрёк: «Вот ты пришёл, а где мой сын?»

Он сел на табурет напротив, некоторое время молчал, но глаз от её взгляда не отводил. Потом вымолвил:

— В плен нас сдали ночью, тётя Ганна. В лагерь, за колючую проволоку. Лес валить заставили. Кормёжки никакой. Чтобы с голоду не сдохнуть, мы подкоп сделали под ограждение и ночью сбежали. Кроме нас с Васей ещё несколько человек. Но догнали нас с собаками. Били.

Он замолчал.

— Ну? Шо дальше?

— Били до полусмерти. Как одыбали — опять работать заставили. А потом меня в другой лагерь увезли, и что с Василием стало, я не знаю. Мне повезло, — продолжил он на её молчаливый вопрос, — с поля, где картошку копали, меня женщина увела. Фрица обманула, меня передела и увела. К партизанам.

Не обнадежил он несчастную мать, но крохотную надежду ей всё же оставил: «А вдруг и Василию судьба улыбнётся?» Ничем не мог помочь Иван своему товарищу в плену, но чувство вины горчащей коростой лежало на сердце.

Тётка Ганна ушла, а Яков Мартынович пояснил, почему не пришёл отец Василия:

— Нема Степана, помёр мий друже у прошлом годе.

Утром Иван нашёл на печи свои старые валенки, белые бурки отставил для торжественных случаев. И шинель повесил в дальний угол, надел свой старый полушубок. Перед тем как пойти в правление колхоза, где по утрам председатель распределял, кому где «робить», Иван завернул к Александру Пономаренко. Друг, которого война обкорнала со всех сторон, увидев Ивана, крепко зажмурился, чтобы не пустить слезу, ответил на приветствие кивком головы, пригласил сесть рядом. Товарищи детства склонились головами друг к другу и молчали. Потом Иван сказал:

— Мени повезло трохи бильше, чем тобі. Шо твоя Галя?

— Галя, — Александр приложил свою трёхпалую руку к сердцу и ничего больше не сказал.

— Ну, добре. Пиду до правленья, хай дають заданье.

Мартын Афанасьевич, председатель, болел, и вместо него всеми делами в колхозе в такие дни ведала заведующая фермой Анастасия Пилипенко. Вдова. Похоронку на мужа она получила год назад, за минувший год не то чтобы притерпелась к потере, но горе своё на люди не выносила, заботилась не только о своих детях; колхозное хозяйство не было для неё чужим. Своими были и односельчане — одна семья.

В просторную правленческую избу пришли не только члены правления, но и все, кто мог трудиться, женщины и девчата, в основном, и старики с подростками, которые не ходили в школу.

— Ивана до президиума, — подал голос кто-то из стариков, и его немедленно поддержали.

— Нехай скажэ, як там наше дило: довго Гитлеру брыкаться, али скоро «капут»?

За столом «президиума» сидела одна Анастасия. Она подвинулась на лавке, Иван сел на свободное место. Но тут же поднялся.

— Войны ещё много. Вся Белоруссия, почти вся, под немцем. И другие территории. Радио, вижу, на столбе провели. А я был в дороге, какие успехи за последние две недели — вам лучше знать.

Он помолчал, молчали и земляки. Иван сел, но опять встал:

— Работать надо, как на фронте, помогать, чтобы скорее освободить наших.

Он попытался скрыть волнение, но это было замечено, и вопросов больше не последовало.

— Мартын Афанасьевич, — сказала Анастасия, — казав, шоб тоби за бригадира. Ты як?

— Бригадиром? Мне?!

Иван такого оборота не ожидал. Но народ одобрительно зашумел, особенно молодёжь, девушки.

Первым делом Иван отправился на ферму, где скопилось много навоза, взял в руки лом и стал взламывать ледяные кучи. Двое парнишек нагружали мёрзлые комья на сани, девушки отвозили удобрения на поля. Этого добра хватило на несколько дней работы.

Из МТС пришёл трактор, и Евгений Зинченко, семнадцатилетний тракторист, прицепил к нему тяжёлый деревянный клин и выехал на поле, чтобы делать валы для задержания снега. Евгений сел на трактор, когда ему не исполнилось ещё шестнадцати лет. В эту зиму он работал в МТС на ремонте и был рад, что его направили в свой колхоз делать снегозадержание.

Как бы ни устал Евгений, он вечером непременно шёл встречать с фермы Нюру, и они ещё торчали у калитки под зимними звёздами — до посинения, пока мать, Катерина, не выходила из хаты с ухватом, чтобы проводить ухажёра.

Часть своей бригады Иван отправил в амбар на подготовку семян к севу. Надо было ещё поправить помещения фермы, особенно отделение, где ожидался приплод, чтобы не поморозить новорождённых телят.

Включившись в работу, Иван забыл в первые дни, что надо отметиться и у власти, и в военкомате. Зашёл в сельсовет, когда Нюра сказала ему, что председатель совета интересовалась, почему Иван у неё до сих пор не был. Зашёл, извинился, показал справку и сказал, что к военкому пойдёт на следующий день.

В райцентре зашёл вначале к Наде, дело к обеду, она была уже дома.

— Ты бы и паспорт получил, — посоветовала сестра, — вдруг куда поехать придётся. К Вере, например.

— Да, — согласился с предусмотрительной сестрой Иван, — я метрики с собой взял. — Но тут же озадачился: — Там вроде фотография нужна.

— По дороге в военкомат загляни к еврею, он рядом с Настенькой живёт, в мазанке. Он делает.

— Сколько стоит? У меня пока что грошив нема. Как его зовут?

— Сорок копеек, кажется. Я дам. Да как? Обычно — Абрам. А по отчеству не знаю. Все говорят, фотограф.

Фотограф оказался древним старичком, маленьким, с белым пушком на голове, на подбородке и усах редкая седая щетина. Он едва заметно кивнул на приветствие, спросил, слегка картавя:

— Паспорт?

Усадил Ивана на маленький табурет лицом к небольшому окну, накрыл чёрной тряпкой свой аппарат вместе с головой, поднял руку, привлекая внимание к объ-

ективу, снял с объектива колпачок, сделал круговое движение рукой и водворил колпачок на место.

— Через два часа, — сказал фотограф. — Сорок копеек.

Иван отдал деньги и вышел.

Военком посмотрел на справку, предъявленную Иваном, покопался в шкафу, нашёл тетрадь-журнал, где было отмечено, когда Иван призывался на службу, что-то записал в ту же тетрадь и вернул справку. Всё в полном молчании.

За фотографией идти было рано, Иван прошёл мимо двора фотографа и зашёл в дом к сестре. Анастасия возилась возле печки. Увидев брата, обернулась к нему, погрозила пальцем:

— Найшов дорогу? Здоровеньки булы. Змэрз?

— Нашёл. Здравствуй!

Обняла его. Когда Иван снял шинель, пригласила к столу:

— Сидай.

Иван засмеялся:

— Ну сёстры! Что Надя, что ты. Как кто из хохлов Богдановки к вам придёт, так и вы хохлушки. А я уж думал, что вы давно балакать разучились. Где твои огольцы? Иван на работе? Надя сказала, что ты на мельнице устроилась.

Анастасия тоже засмеялась:

— А ты, значит, не из Богдановки, а с фронту? Володька с Толькой на горке катаются, на мельничной территории горка. Иван на молокозаводе, возле коней. А я на мельнице убираюсь, как у них пересменка. Так будешь картоху горячую?

— Нет, я у Нади отобедал. Как у вас с питанием?

— Как у всех, что привезут на талоны, то и берём. Если не прозевашь, то и получишь. На неделе масло конопляное получила. С картошкой и капустой — объедение! А то, — она опять засмеялась, — хочешь жмыхом угощу? Его привозят на мельницу для свиней. Свинарник тут свой — в каждой организации теперь подсобное хозяйство. Можно немного взять. Этот, подсолнечный, с шелухой, но Вовка с Толькой и его грызут. А то, было, принесла соевый. Тот за милую душу и мы с Иваном ели. Так что у нас с питанием хорошо.

Анастасия, несмотря на все превратности жизни, не теряла чувство юмора. На душе Ивана стало теплее от этой её шутки.

— Нет, ты не думай, — сказала она уже серьёзней, — не жмыхом живём. Мы поросёнка откармливаем, осенью борова закололи.

— Да?! А чем кормите?

— Бардой, в основном. У нас же спиртзавод открыли, спирт из картошки гонют, барду в яму сливают. Из ямы куда? Подсобные хозяйства берут, и нам не запрещают.

Иван поднялся:

— Пойду. Абрам фотокарточку уже, наверное, сделал.

— Сделал, — подтвердила Анастасия. — А то бы подождал немного, Надя должна скоро подойти, с Витей. Она в это время у меня его оставляет.

— Я знаю. Она мне говорила. Но надо идти, паспорт до сколько выдают?

Он зашёл к фотографу, тот заглянул в темнушку, вынес оттуда коробку с фотографиями, порывлся в ней и подал Ивану три фотографии размером три на четыре сантиметра. Иван такого не ожидал, почему-то думал, что фотография будет одна.

В милицию они подошли почти одновременно с Надеждой. Она показала на дверь, где находится паспортистка. Женщина средних лет в милицейской форме сидела за фанерной перегородкой, перед ней небольшое оконце, чтобы заглянуть

в него Ивану пришлось согнуться. Паспорт был оформлен почти без вопросов и без канители, чего опасался Иван. До войны паспорта у Ивана, как и у большинства колхозников, не было — без нужды, и теперь он с некоторым трепетом смотрел на этот документ, чувствуя себя полноценным гражданином своей страны.

Однажды в феврале почтальонка принесла Ивану извещение о том, что ему пришла посылка. Он был сильно озадачен, долго рассматривал бумажку, на которой значилось, что отправление из Челябинска. Что бы это значило? Попутчику в поезде, Георгию, он адреса не давал. За посылкой надо было явиться на почту в райцентре. Пришлось запрячь коня в сани и ехать. С огромным удивлением взял Иван в руки завернутую в рыжую бумагу и перевязанную шпагатом трость. Примерился — трость была коротка, явно не его. Подал трость обратно:

— Не возьму. Это не моя.

После недолгого препирательства извещение и трость остались на почте. Иван возвращался в Богдановку и вспоминал флегматичного челябинского милиционера с его записной книжкой: «Поймал воришку, да не того».

Пришла весна. Сев. Не успели оглянуться — прополка. Донимал «колюжник» — осот. Девчушки едва не ревели, когда этого «ворага» приходилось выдирать из земли голыми руками. Иван разъезжал по полям верхом на коне, сам включался в работу там, где ему казалось, дело продвигалось медленнее, чем хотелось. Раздражала Наталья Клычко, которая двигалась неторопко на своей полоске, зато часто оглядывалась и строила «глазки» прибывшему на поле бригадиру.

В деревне поговаривали, что пора бы Ивану выбрать себе пару, жениться, а он от своих деревенских «нос воротит». «Оставил, поди, в белорусских лесах зазнобу», — делали догадку женщины. О том, что партизанил, уже знала вся деревня. Он и сам понимал, что пора выполнять наказ, который, хоть и в шутку, давали ему солдаты, уходя из госпиталя на фронт. Но Иван не мог переступить через мучительное чувство тревоги за Марийку, женщину, которая спасла его, и теперь не известно, что с ней, жива ли.

По утрам возле правления на столбе гремел репродуктор. Иван внимательно вслушивался в сводки Информбюро, передаваемые по радио, и, наконец, дождался желанной вести — Минск взят!

Два дня Иван ходил под впечатлением от этой новости: «Неужели Белоруссия очищена от оккупантов?!» Решил написать письмо Марийке, хотя бумаги не было ни в доме, ни в сельсовете. В тетради, где он отмечал выходы на работу своих подчинённых, ставил «палочки», чистых листов уже не оставалось. В школе — ничего, каникулы. Да и бесполезно здесь что-нибудь найти: дети писали на использованных прежде тетрадях, между строк. Тут сенокос начался, но Иван вырвался на час — верхом на коня и поскакал в Кормиловку. По дороге думал: «Как же другие деревенские обходятся? Пишут же письма на фронт». У Нади бумага нашлась, но когда Иван сел к столу, то понял, что не знает ни точного адреса, ни — о, ужас! — фамилии своей Марийки.

Надя подошла, заглянула со спины на чистый лист:

— Чо закручинился, слова про любовь забыл или имя своей женщины?

— Не знал, да забыл!

Иван объяснил ситуацию.

— То и есть, — упрекнула сестра, — у вас, мужиков, одна забота: в постель, а фамилию можно не спрашивать! Деревню ведь знаешь? Ну и напиши в Белоруссию, там вряд ли другая такая есть.

Короткое и нескладное вышло у него письмо: «Марийка, здравствуй! Я живой. Меня ранили и вывезли в Союз. Теперь я в колхозе. Отпишись, пожалуйста! Если живая. Иван».

Конверт он купил на почте, деньги, небольшие, у него теперь были, получал положенную от государства плату. На конверте написал: «Белоруссия, деревня Липки. Марийке (или Устинье Фёдоровне)». Огляделся в поисках почтового ящика, но спохватился и написал обратный адрес.

Не прошло недели после освобождения Минска, как в деревне заговорили про новый указ. Что матерям теперь будут платить ежемесячную добавку, начиная с третьего ребёнка, а не с шестого, и единовременное пособие, и чем больше детей, тем больше будет выплата. Скоро слух подтвердился: в сельсовет доставили полный текст Указа Президиума Верховного Совета СССР. Узнали из него также, что налог на бездетность сохраняется для мужчин от двадцати лет до пятидесяти, а с женщин — от двадцати до сорока пяти. Платят как холостяки, так и женатые, у кого один или два ребёнка. Решение Правительства, в основном, одобряли:

«Ось як: дзве дзітны — ты доўжен, а тры — тобі грошы. Ловко!» Была, правда, печаль: «Хто будзе робіць тых дзіцей?» Пока что с войны в деревню вернулись три инвалида. Во время отдыха на сенокосе нашлись девчата, которые знали ответ на тот вопрос, подначивали Ивана:

— Нехай бригадир потрудыся.

Надежду Указ освобождал бы от налога на бездетность, как жену военнослужащего, если бы её брак с Павлом был зарегистрирован. Тоже было ясно из Указа. О чём она написала мужу. Просись, мол, в отпуск, чтобы мы тут поженились.

Что уж говорил своим командирам ефрейтор Иванов, Надежда не узнала, только пришло ей письмо, где Павел давал согласие на заключение брака, в его отсутствие, и его бумага была заверена командиром части с приложением печати.

Иван сходил с Надей в Отдел Актов Гражданского Состояния, где стал свидетелем регистрации сестры с отсутствующим женихом. По бумажке. Надя взяла фамилию Павла, стала Ивановой. Теперь она не только освобождалась от налога на бездетность, но и получала право на помощь государства в случае гибели мужа.

Шли дни и недели, июль катился к концу, солнце палило; над полями, где зрели хлеба, заливались трелями жаворонки. Запахи скошенных и подсыхающих трав кружили головы и будоражили кровь.

Иван всё больше сомневался, что получит ответ от Марийки. Уцелела ли она? Сохранилась ли деревня? Кто там будет заниматься с каким-то письмом, если жилья не осталось, не только почты? И вдруг однажды почтальонка встретила Ивана на улице, остановила его:

— Тебе письмо.

Иван сразу узнал свой конверт. На обратной стороне его синими чернилами было написано: «Указанные вами лица по данному адресу не значатся». И неразборчивая подпись.

Иван не знал, что населённый пункт с названием «Липки» в Белоруссии можно найти почти в каждом районе.

У Галины Пономаренко к августу настолько округлился живот, что острые на язык бабоньки делились впечатлениями:

— Бачь, не всі фрыцы попортилі, кое-шо у Санька осталось.

Неожиданно Иван обнаружил, что Указ Президиума Верховного Совета и его касается. В нём было сказано, что беременных женщин надо переводить на лёг-



кую работу. Он и сам уже подумывал, что Галину надо бы пристроить туда, где полегче, но такая работа на ум ему не приходила. Указ подтолкнул — Иван сдал ей тетрадь, в которой отмечались выходы на подёнку, и теперь она учитывала, кто, когда и где трудился.

Других беременных в его бригаде, да и во всей деревне, пока не было.

Женился Иван неожиданно для всех. Случайно догнал Машу Григоренко за деревней, когда ехал верхом на луг, где вершила стога его бригада. Она зачем-то ходила в деревню, и теперь почти бегом возвращалась к работающим. Иван придержал коня:

— Садись-ка, подвезу.

Маша подняла голову, посмотрела на Ивана, рот её приоткрылся, но она ничего не сказала, только сделала шаг в сторону от коня, потом назад.

— Давай, — Иван нагнулся, подхватил её под мышки и усадил боком впереди себя. От волос, от всего жаркого тела её исходил естественный приятный аромат, к которому примешивались запахи трав, которые она перед тем ворошила.

Конь шёл шагом, Иван не торопил его.

— Пойдёшь за меня? — спросил Иван негромко, почти касаясь её уха губами. Маша вздрогнула, сжалась, но повернула к нему голову. Глаза в глаза.

— Я не шучу, — сказал Иван.

— Пиду, — дрожащим голосом ответила девушка.

Они не доехали до бригады. Сошли с коня у копны, где вздумалось остановиться коню. Тут они и повенчались под присмотром солнца и под ликующие песни жаворонков.

Иван вечером сказал родителям:

— Хочу Машу Григоренко взять в жёны.

— Добре, — Яков Мартынович, как всегда, был краток. — Колы?

— Прямо сейчас.

Тут отец удивился:

— Як?!

Иван быстро вышел и привёл девушку в хату, держа за руку: она ждала за воротами на лавочке.

— Ото дило, — Яков Мартынович потербил бороду обеими руками, — ды-высь, мати!

Иван, пряча улыбку, крепко держал Машу за руку и втайне тоже дивился — на батю: случись эта история до войны, высек бы обоих, и жениха, и невесту, а теперь только бороду мнёт.

Мать поджала губы, спорить с мужем она давно уже не решалась.

Свадьбы не было, подступала страдная пора.

В мае сорок пятого, накануне дня, объявленного днём Победы, Мария родила девочку. Имя ей дали Галя. Огромное всеобщее счастье — Победа, и малое, семейное, слились воедино, и казалось, что впереди теперь только радость и светлая вечная любовь.

*Конец третьей части*





ВЛАДИМИР ГУСЕНКОВ



## Полынь вчерашней горечи

\* \* \*

Хотя ещё мне только восемь,  
За чью-то юбку не держусь.  
Уже я взрослый в эту осень,  
На всё теперь уже гожусь.

В деревню бабушка Матрёна  
Сестру и брата увезла.  
Не верю, что стоял у гроба,  
Так быстро мама умерла.

Томясь и грудясь возле тела,  
Вздыхала у крыльца родня.  
Ведь даже в школу не успела  
Собрать и проводить меня.

Ничем до вечера не занят,  
Забыв про детский уголок,  
Уже просохшими глазами  
На мамин я гляжу платок.

Я — пограничник Карацупа,  
Ещё б Джульбарса мне теперь.  
Отвык от маминого супа,  
И сам себе стелю постель.

Когда отец в пивную снова  
Уйдёт, я должен покрывать.  
По выходным к себе зазноба  
Его уводит горевать.

---

ГУСЕНКОВ Владимир Павлович родился 30 апреля 1932 г. в Иркутске. С двенадцати лет обучался в школе музыкантских воспитанников Советской Армии. Учился в художественном училище, служил в армии. В 1957 г. поступил на филологический факультет Иркутского университета, который окончил в 1962-м. Работал редактором в книжном издательстве. В 1963-м открывал с молодым коллективом Братскую студию телевидения. Через год ушёл на стройку, работал плотником и бетонщиком. В 1966 г. вернулся в Иркутск. Печататься начал в армии, в газетах Новосибирска. Будучи студентом, в 1961 г. выпустил сборник стихов. Печатался в Иркутске, Новосибирске, Москве, в Болгарии, Японии. Автор книг: «Корабли выходят на орбиты» (1961), «Между двумя рассветами» (1968), «Мой бедный Артаньян. Бесплатка: повести» (1987). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Под утро в кухне он покурит, Над мойкой прополощет рот, Заварит чай, меня разбудит: «Здорово, — скажет, — обормот!»	Усыпан двор ещё не жухлой Крыльцо усыпавшей листвой. Сметает осень жёлтой туфлей Листву сухую с мостовой.
К восьми мне тоже надо в школу. Ему, понятно, на завод. Он, уходя, поднимет штору Взглянуть, проснулся ли народ.	В году ещё не сорок первом, А лишь пока сороковым, Зачем мне в доме опустелом Расти неполитым цветком?

## Записки маленького героя

Весна 42-го

1

Слегла зима усталая в промоины и грязь.  
Вода в низинах талая к домам подобралась.

Следы от мокрых валенок оставил в школе март.  
На десять дней избавлены от книжек мы и парт.

Распущены, уволены. С утра не надо в класс.  
Диктантов нет, на воле мы — каникулы у нас!

С отцом мы зиму целую во флигеле живём.  
То сам по дому делаю, то с ним, когда вдвоём.

Зарос он и осунулся совсем не по летам.  
С утра интересуется, что скажет Левитан.

Фронты то оголяются, то перерыв берут.  
Кто на Москву оглянется, тому, считай, капут.

Пусть год уже не белено, зашторено, темно.  
Но в баню бегать велено и стричься заодно.

С утра по снегу талому уйдёт родитель мой.  
Закрою дверь — и заново укроюсь с головой.

Не стану печь растапливать, пусть буду нездоров.  
На чёрный день оставлено с полкубометра дров.

Теплом и хлебом ведаю. На стол гляжу с тоской.  
Последний раз обедаю в столовой городской.

Талоны в школе выдали — бесплатно — на два дня.  
Спасибо, не обидели за пропуски меня.

Уже карнизы с крышами, поторопив капель,  
Свои обновы выжали на мокрую панель.

В грязи бахилы хлюпают и вязнут башмаки.  
Проснувшимися мухами гудят особняки.

К войне давно привычные, такие все свои,  
Под верхние наличники вернулись воробьи.

Коротким дням и сумеркам приходит «Хенде хох!»  
Побольше бы лазури нам, поменьше облаков.

Сибирский, неухоженный, наш город тыловой,  
Продлить готов с прохожими субботник трудовой.

Вода в канавах пенится, ныряет под мостки.  
С рекой бы ей померяться, да улицы узки.

Готово сердце выскочить, на блюдечке плясать —  
Пора воде на выручку — кораблики пускать.

Пешком от бухты Уличной, всего-то час спустя,  
Порог напротив булочной минуем не шутя.

Вертлявый, незадачливый на воду спущен флот.  
Борта проконопачены, а может, боцман врёт.

Но точно парус беленький на мостик свой манит.  
Держись поближе к берегу, пока не так штормит.

Потоп и околесица вдоль улицы Ямской.  
На хляби глядя, крестится народ нетрудовой.

Из-под мостков повыбило всю ветошь и листву.  
Пешком идём под выпелом. Подошвы на плаву.

Мы скачем по кирпичикам. Разобран тротуар.  
Кой леший нам приспичило лезть в этот Гибралтар!

В калошах старых валенки промокли всё равно.  
Пролезть бы по завалинке, да свалишься в окно.

С телег бранятся возчики. По ступицу в грязи.  
У лошадей нет моченьки, хоть шкуру снять грози.

Такие вот события. Уплыли корабли.  
Мы только их и видели, как таяли вдали.

Поминки будут вечером: согреюсь — и привет.  
И плакать вроде не о чем, в мои-то десять лет.

Пора забыть дурачества. Я, вроде, прихворнул —  
То берег обозначится, то моря слышен гул.

Бои у Севастополя. Полгорода в огне.  
А ну, наверх потопали! Со всеми наравне!

Плевать, что неучёная братва моя. Не бойсь!  
Под нами море Чёрное. К орудиям! Готовьсь!

### Эпитафия

Лежат полки сибирские под Ржевом и Москвой,  
Посмертно обелисками укрывшись с головой.

Страшась конца попятного, они вселились в нас,  
Где смерть их память спрятала, как жатву про запас.

С войны ещё не спрошено. Четвёртая весна.  
Как встарь поёт Прокошина. На всю страну одна!

Уже, напрасно мучая, над садом и окрест  
Страдает медь плакучая за вдов и за невест.

Опять о Мише думаю. Не верю, хоть убей,  
Что мёртв он, и в роду моём прибавилось теней.

Под крышей мокнет лестница. Чердачный люк забит.  
Он точно где-то лечится, а вовсе не убит.

Глаза не ворон выклевал. Не смыл свинцовый дождь.  
Не стёрлась и не выпала подкладка из подошв.

На отдых домнам хочется. В декрет уйти. На слом.  
Устала сталь ворочаться. Рожать горячий лом.

Вдоль Сейма и на Ладоге, от Курска до Карпат  
Под танковыми траками дороги бьют в набат.

Проснись, мой брат двоюродный! У смерти нет ума:  
Гробы строят в Муроме, а плачет Кострома.

Ты в табели опросные не те попал, братан.  
Устала кость безносая, но ходит по пятам.

Не прополощешь водочкой у памятной стены  
Застрявший в глотке косточкой четвёртый год войны.

В теплушку влезть. Отчаяться. Плевать мне на билет.  
Не верит власть-начальница в мои двенадцать лет.

В лесах мои ровесники у партизан в чести.  
А в школе на воскреснике нам снова двор мести.

Мы, вроде, опоздавшие. Нас ищет политрук.  
Никем ещё не ставшие, отбились мы от рук.

С свинцом в груди, при свете дня, не прошепчу уже:  
«О путник, помяни меня на этом рубеже!»

## Место

Купил тебя у города Кокуев — мещанин.  
Соху привёз, и борону к амбару прислонил.

Не зря, уйдя с подножия, затеплил он свечу.  
В горе земля угожая. Работай не хочу.

Пока ещё не улица. О ней попозже речь.  
Она потом пробудится дорогой к храму лечь.

Сорока, сев на пряслице, пытается веретьё:  
Ужель кому поглянется с задворок гнать её?

Понять не может, глупая, корысть какая тут:  
На мураву, аукая, полотнища кладут?

Зачем пальбой и криками приветствовать гостей?  
А чтобы горе мыкали на зло планиде всей.

И то сказать, не по морю, не как дотолё встарь,  
В Сибирь ходить, как по воду, велел им государь.

Чтоб вёдра были полные, а равно короба:  
Наказ бы царский помнили, садясь на отруб.

В торгах не своевольничать, без скорби службу несть,  
И дабы знал сокольничий: «Нет кречетов? Иль есть?»

Взгляни, как тесно лепятся усадьбы — абы что.  
Посадский люд не ленится брать в руки долото.

Держись, изба-страдалица, взошла — не упадёшь.  
Осталась, значит, нравится. Хозяев обретёшь.

В горе не спрячет пригород свои особняки,  
Когда подворье выгорит поодаль — у реки.

Аль сдуру пустошь тронули на склоне с двух сторон?  
Небось, двумя дорогами взята она в полон.

Сто лет шёл в гости пригород к горе издалека,  
На склон, где белка прыгала, досужая пока.

Пора острогу старому кряжи свои унять.  
Пусть город пляшет барыню под ручку с буквой *ять*.

### Вид с горы

Не долг сон во граде этом.  
Поток машин уже с рассветом  
Дорожный пробует накат.  
Здесь лоджий каменные брыли  
Восток и Запад перекрыли,  
Восход сомкнули и закат.

Меняют двери у соседа.  
Антракт. Свободен я с обеда.  
Февраль теплу благоволит.  
Опять я гость горы Клубничной.  
Весь скат, как в скорлупе яичной.  
Вон склеп, где Щапов, бедный, спит.

Навек философ-одиночка,  
Ума пороховая бочка,  
Царя он письмами допёк.  
Ни в ссылке, ни в тюрьме не сгинул.  
Винца попил, монетку кинул  
И вставил в бочку фитилёк.

В низине храм. Там в скорбном списке  
С детьми княгине-декабристке  
Судьба благоволила лечь.  
Свои гробы хранит ограда.  
Не Знаменское, а Марата  
Предмесье надо бы отсечь.

Посмертно, но не безвозмездно,  
Изгои занимают место,  
Откуда мудрено убыть.  
Но злая отповедь народа  
Гласит: «В семье не без урода».  
А значит — так тому и быть.

За триста лет топор с пилою  
В низины, словно к аналою,  
Гнал переулки под откос.  
И пригород рабочей черни  
От утрени и до вечерни  
Грибницей домовитой рос.

Как Рим цветным хамелеоном,  
Так ты, Иркутск, возлёт по склонам.  
И надвое тебя река  
Разящим руслом разрубила,  
И трещина — как от зубила —  
С холмов видна издалека.

А центр, он ложе котловины.  
Надёжен ли хребет плотины,  
Трудов неотвратимых плод.  
Лоток да не осядет в кратер.  
Что вынет из него старатель,  
Привстань Байкал в недобрый год?

Река и град. Иван да Марья.  
Прости, столица Приангарья,  
Я семечко твоей гряды.  
Бог с одуванчиком не шутит.  
Подул — и я, как парашютик,  
Твоей не минул борозды.

А во саду ли в огороде  
Не мало было зодчих, вроде.  
Пожаров тоже было впрок.  
Поник ампир, ушло барокко.  
Где зуб неймёт, там видит око  
Деяний прошлого урок.



В периметры архитектура  
Сошла, забыв вписать Амура  
В пустой и скучный архитрав.  
Опасно жить у водостока,  
Но преуспел дитя порока —  
В овалах сладостных застряв.

У анфилад своя харизма:  
Порочен круг капитализма.  
Стократно вырос мегарон.  
В его апокрифе посмертном  
Стиль вертикали стал ферментом  
Громад из арматурных крон.

Кто нынче спеленает офис?  
Он множится. Идёт гидролиз.  
Пробились мамонты на старт.  
Вон дом у Ангары на пляже:  
Троянский конь, но в камуфляже  
Из встроенных в него мансард.

Над рифами лепных флотилий  
Взметнулись головы рептилий  
Из кровель улицы Большой.  
Темны их сомкнутые пасти.  
В них снизу попадёшь — и «здрасте!»:  
Кто верхний тут? А кто старшой?

Тебя, Сибирская Пальмира,  
Где хлеб да соль нашли два мира,  
Дракон покрыть повременит.  
Пусть флейта бредит небоскрёбом,  
Отель прикинется острогом,  
А берега сомкнёт гранит.

Мордует перепланировка:  
Там Сити глянет, тут Петровка,  
Рублёвка высветит вдали.  
Пришельцы? Инопланетяне?  
Не их ли кровли в котловане  
Оснасткой лунной проросли?

Бетону в партитурах эха  
Опалубка ли не помеха  
В опорах и плечах литых?  
Но навзничь упадают сосны.  
Лишь остов остаётся косный  
В уже коробках не пустых.

Тут контингент за все невзгоды  
Ждёт компенсаций от погоды  
И от забывчивой страны.  
Но скупы северные боги,  
Когда всего-то просят ноги —  
Бесплатно ватные штаны.

Даль Нижней набережной в дымке.  
Проспект — не то, что по старинке.  
Ещё не тьма, но солнца нет.  
Никак, Московские ворота!  
А там — с пищалью — чья работа? —  
Землепроходца силуэт.

Мне близок тот, кто в этот город  
Себя вписал, покуда молод.  
Остыв, не выпрыгнул в окно.  
А чьей земли тут середина,  
Снегирь подкажет и рябина,  
С байкальским кедром заодно.

К мосту схожу. За речкой рынки.  
Здесь город весь справлял поминки  
По куйбышевским корпусам.  
Смолчал Гефест. Не смог прилавку  
Дать укорот. Ушёл в отставку,  
Акт отречения подписав.

Непостижим прогресс и зыбок  
В оправе яхт и лимузинов.  
Ему ли бедность не порок?  
В чаду лукулловых закусок,  
Любовных адюльтеров, музыки.  
Взалкал! — и пробки в потолок.

Не шесть ещё, но половина.  
На кухне чай моя Арина  
Торопит. (Кофе я не пью.)  
Мне мой, крутой, в стакане, нужен.  
И пусть попозже будет ужин.  
А я подушку подобью.

Зимой под вечер двор безлюден.  
Февраль уже с ветвистых лютен,  
Как с абажуров, снял чехлы.  
Площадка, как лоток Прокруста.  
Но там ещё не слышно хруста  
Любимой мартом пастилы.

\* \* \*

Стол пуст. И у приборов чайных  
Отгул: в сервант — под изразцы.  
На смену пряникам печатным  
Цветные будут леденцы.  
Собраться ли куда? Одеться ль?  
В окно ль взглянув, повременить:  
В чужую оторопь взглядеться.  
Украдкой в фортку покурить?

Застыв, как в ледяном капкане.  
Там сад.  
Он пальцы заломил,  
Очнувшись в утреннем тумане  
Среди ободранных стропил.  
О, сад! Мы думали, ты вечен.  
Толпе рябиновых невест  
К столу уже явиться не в чем,  
И птицам голодно окрест.  
Ты гол, король! Ты листопадом  
Опять обманут. И прощён  
За то, что он с тобою рядом  
И сам, похоже, умерщвлён.  
Недаром, гость из непогоды,  
К нам клювом поползень в окно  
Стучал: «Откройте, нищebroды!  
Я вестник ваш, а вы — пшено!  
Гадать за этих ли, за тех ли  
Грешно без дамы и туза.  
Обманет вас, свечу затеплив,  
Переодетая гроза.

Вороний грай сулит метели.  
Балует ветер-костоправ.  
С участков дачных свиристели  
Снялись, калину обобрав.  
Мой дом заклинило в развилке,  
Но смыло потайную дверь,  
И, лапой мешкая в подстилке,  
Приплод мой обезглавил зверь».

Уймись, беглец. Кормись, покуда  
Не стала облаком еда —  
И там, явился ты откуда,  
И тут, где хлеб, как лебеда.  
Гонимая, без поцелуя,  
В низинах палаая листва  
Лежит, посмертно негодуя  
На саваны от Покрова.  
Окончив бал, не плачет осень  
Уже по снятой голове,  
Холодным жемчугом обносит  
Цветы, увядшие в траве.  
Мышкуем. Грезим.  
Свечи ставим  
По неподсудным новостям.  
До новых далеко проталин.  
От старых — ломота костям.  
И ты, дружок, покуда кречет  
Не разглядел твоё дупло.  
Лети к себе. Ещё не вечер.  
Хоть малое, да есть тепло.

\* \* \*

Позвала меня заводь старая.  
Ждёт на якоре пароход.  
Тех, что убыли, не застаю я.  
Мой, по жребии, выпал год?

Пусть же долгою будет пятница.  
Одному побыть разреши.  
Помашу тому, кто оглянется.  
Мало времени у души.

От винта пора, снявшись с пристани,  
Капитан готов. Лишь скажи.  
Август загодя лето выступил,  
Отнял золото у межи.

Это с осенью речка шепчется,  
К дебаркадеру прислонясь.

Обняла его, будто женщина,  
Не рожавшая отродясь.

Завещав другим свои озими,  
Не споткнуться бы о причал.  
Рано умерли, поздно ожили  
На закате мы двух начал.

Выпить надо бы не до доньшка,  
Если заново вспоминать.  
Мать-земля пока есть у зёрнышка.  
Не устала бы пеленать?

У кормы стою, чаек радуя.  
Сверху велено. Надо плыть.  
Отменяются дождь и радуга,  
И безветрие, и теплынь.

## Душа

Рукой благой помазана,  
Иль в полом тростнике,  
Без голубей и ладана,  
Паришь ты налегке?

От рода ли, от племени,  
Под крыл недолгий взмах,  
Тесня гортань коленями,  
В меня сошла впотьмах.

У смертных суть традиция:  
Я плоть, а также кость,  
Ты — немочь бледнолицая,  
Упрятанная в трость.

Всегда — да будет истина  
Свои глаголы вить.  
Что на роду написано,  
Тебе ли умалить.

Наставница смотрящая,  
Остерегать должна  
Мой кров от зла не спящего,  
От зелена вина.

Латая укоризнами  
Мои деянья все,  
Не иначе, как прислана  
Собрать на них досье.

С оглядкой веришь совести.  
Ты с ней не заодно?  
Нет в мире горшей повести,  
Чем на двоих окно.

А в ночи окаянные,  
Когда я в нетях сам,  
Уходишь, будто пьяная,  
Сказаться небесам.

На многих ты батрачила,  
Сменила уйму мест,  
Пока не обозначила  
Во мне свой благовест.

Впотьмах, прельстясь от демона,  
Не разглядеть звезды.  
На небо дверь заделана,  
А снизу жди беды.

Обманчив голос ужаса,  
Стук в дверь и звон стекла,  
Когда опять обрушиться  
Готовы купола.

Напрасно бьются родичи,  
Своя своих разя.  
Полынь вчерашней горечи  
Избыть ничем нельзя.

Но, как в безрыбье сказано:  
То горе — не беда.  
Бог глух, спроси у разума:  
«А он глядит куда?»

Боюсь, пойму ли разницу,  
Когда скажу: «Ну что ж...»  
Под кнут подставить задницу  
Другой ведь двор найдёшь

Душою наречённая  
Конклавом горних сфер?  
Ты только подотчётная,  
В чистилище химер.

Тебе прибыть положено,  
Убыть, передохнуть.  
Заполнишь подорожную,  
Лампадку не забудь.

Во мне на чемоданах ты  
Теперь уже сидишь.  
Иль оба мы обмануты?  
Иль видимость ты лишь?

В заоблачной обители  
Светилась за столом.  
За что, скажи, обидели?  
Иль было поделом?

## Капрал

И окна не без птичьих крыл.  
Задвижку повернул,  
Чуть обе створки приоткрыл  
И настежь распахнул.  
Под летний на площадке гам  
Легко покинуть клеть.  
Взмахни и волю дай ногам.  
Семь этажей лететь.  
Отважных манит высота.  
О прочих умолчу:  
Что с крыши прыгать, что с моста...  
Остыл — сходи к врачу.  
Я на последнем этаже,  
На предпоследнем — ты.  
Но не сосед теперь уже,  
А чёрт из Воркуты.  
Высоцкий от тебя устал,  
И Джексон спать ушёл  
К себе, в небесный свой портал,  
Едва не нагишом.  
Сполз с буги-вуги только блюз,  
Любви ещё хотел  
В плену у панталон и блуз,  
Белья и потных тел.  
Недаром прозвище «Капрал»  
В Кабуле приобрёл.  
Любимец ротных обирал,  
Рубаха и орёл.  
Как мама воинская часть,  
А ты в ней куманёк.  
Под Кандагаром к басмачам  
Ходил на огонёк.

Медикаментами санбат  
Кропил по накладным.  
Комбату — друг, солдатам — брат,  
Талибам — побратим.  
Двух войн, похоже, ветеран,  
Но, как бы отбивал.  
Ведь не сочилась кровь из ран,  
Когда с земли вставал.  
В Чечне не сан уже, не брат,  
А унтер-интендант.  
И вырос пусть не во сто крат,  
Но как бы нарасхват.  
Весь нараспашку — всё могу! —  
Врал совести своей:  
Долгов? — не пожелай врагу,  
Везенья? — хоть убей.  
Накаркал — взяли в Костроме.  
И точка. Резюме.  
Двенадцать месяцев в тюрьме,  
Семь лет на Колыме.  
Потом амнистия была.  
Ответил за базар.  
Три года, это ль кабала —  
С побывки на вокзал?  
Делил остаток не на всех.  
Кому-то дал на чай.  
На подоконнике присев,  
Споткнулся невзначай.  
Всего на свете повидал.  
Легко покинул клеть.  
Как с корабля шагнул на бал —  
Собакой околеть.

\* \* \*

Про тот вояж, в восьмидесятых —  
Он долго в памяти висел.  
Как помнится, с утра воспрянув,  
На электричку я успел.  
Девятый вал баулов, сумок,  
Хлестнувших в тамбур на ура,  
Под гвалт и треск меня просунул  
В вагон, необрушенный с утра.  
Кончался август, и грибная  
Пора устала волновать.  
Но ягодная, убывая,  
Манила в юры благодать.

У дачниц дел с утра по горло.  
Солить — не сено ворошить.  
На полках старое прогоркло,  
А с новым дольше надо жить.  
Я тоже посетить собрался  
Не столь далёкие места...  
А тот, в проходе, он остался  
Стоять. Не разомкнув уста.  
Ещё он в пригородных весях  
На крайней станции подсел.  
С гармонью мальчик с ним, и весь их  
Багаж, что на плечах осел.

Штаны и куртка — цвета хаки,  
Чуть набок, краповый берет.  
И жёлтые, как у собаки, глаза.  
В лице кровинки нет.  
Притих вагон. Насторожился.  
А голос тих и невесом,  
Читает — будто пробудился  
Знакомый лермонтовский «Сон».  
Ужель в горах Афганистана  
Полулежу недвижим я,  
В груди ещё дымится рана,  
Кровь наземь нехотя лия.  
Уже, как в оркестровой яме,  
Почти не слышно голосов.  
И Демон, покружив над нами,  
Задвинул крышу на засов.  
Но мальчик вдруг меха раздвинул,  
И голос, дай-то боже всем,  
Запел и горло запрокинул,  
А человек к нему подсел.  
Собака трётся о колено.  
Напротив девочка в окно  
Глядит, лицо окаменело,  
Почти как яблоко оно.  
«Не плачь, не плачь, моя родная,  
Тебя мне больше не обнять.  
Горит машина боевая,  
Боль под ключицей не унять.

Нам не за что просить прощенья,  
И некого уже винить.  
Нас эти горы и ущелья  
Хотели б всех похоронить».  
Они гуськом ушли, не скорбно,  
Всех привстающих обойдя,  
В очередные, что ли, стогна,  
Как тени в полымя грядя.  
У этих двух и у гармони  
Ещё хоть что-то впереди.  
Под вечер ягодой в вагоне  
Запахнет. Вот она — гляди.  
Тебе тут и душа и тело.  
Бруснику будешь продавать.  
А там, в Москве — такое дело —  
Опять должны соборовать.  
И мне на дальнем полустанке  
Под вечер выбраться бы лишь:  
Как на войне в горящем танке,  
Заклинит люк, и угоришь.  
Легко в вагоне отрешиться,  
На людях плакать — не судьба.  
В проход, готовый раскрошиться,  
Пустые ставят короба.  
На них идёт игра крутая  
Ва-банк — а может, в дурачка,  
И чья-то, не шутя взлетая,  
Парит, но падает рука.

\* \* \*

Коль кроток ты и светел ликом,  
Ответствуй внятно и не лги,  
На чьей земле ты вяжешь лыко,  
Кому тачаешь сапоги?  
Не надо говорить узорно  
Про свет Фаворский и про тьму,  
Глаголов вящих сея зёрна  
Во благо дому своему.  
Раз под ноги не жемчуг мечешь,  
У Бога хочешь быть в чести,  
Пожалуй, и не вовсе ветошь  
Всё то, что к храму на пути.  
Иль заново к твоей ограде  
Придя, ещё не яко злы,  
На паперти, Христа ли ради,  
Терпимой ищем кабалы?  
«То ваша, — говоришь, — Голгофа».

А разве больше не твоя?  
Злопамятна, многоголова  
Страстей господних полынья.  
Не устаёшь твердить об этом:  
«Кто в лоно прянет, будет чтим,  
А если страх кому не ведом,  
Земля разверзнется под ним».  
Тебя послушать — святотатцы.  
Попустишь, будем ли радеть?  
Не в «Капитал» уже, а в святцы  
Нам время самое глядеть.  
А может, вспомнить, многогрешным,  
Иль отче запамятовал,  
Во что, Неверующий прежде,  
Фома персты свои влагал?  
Позволь, пока не сокрушилась  
Душа, не канула в грозу б,

Вблизи твою непогрешимость,  
Сойдясь, попробоваться на зуб.  
Ты сам-то от кого сподоблен?  
Скуфейкой ведь не бил мышей  
И не впрягал себя в оглобли

Под лаской царских бердышей.  
В апостолы глядеть изволишь  
На случай, если грянет гром.  
А нам и надо-то всего лишь —  
У Ноя одолжить паром?

\* \* \*

Не кости ли ломит опять к перемене.  
Собакой скулит сухожилие в колене.  
А грозы короткие город томят.  
И бродят зарницы немые по свету.  
Сигналят: пора эмигрировать в Лету,  
Ладью невозвратную брать напрокат.

Не сердце ли шепчет: «Готовься к побегу —  
К холодному солнцу, глубокому снегу,  
А полость жилая проветрится пусть».  
Окно распахни. Тополя поприветствуй.  
Спроси их, не ждут ли от августа бедствий  
И помнят ли свой листопад наизусть.

К уходу готовься на Марс или Вегу,  
Усталую память подсадишь в телегу,  
Вернёшь постояльцам их вещие сны.  
В сады Гесперид постучишься, и Овна  
На пастбище выгонишь выщипать брёвна  
Из Млечной, но тоже не вечной стены.

Собрался уйти, и не жалуйся Богу.  
Есть стол и бумага. Чернильница сбоку.  
Напишешь письмо в девятнадцатый век.  
На Чёрную речку, где стихло торнадо,  
Под утро чуть свет торопиться не надо.  
Там был уже нужный тебе человек.

\* \* \*

О жизни — сгорела ль впустую? —  
За рампой поставь запятую,  
Забудь про тире и дефис.  
Не то, как уже по умершем,  
Два слова: «ты узнан и взвешен»,  
Подскажут из ближних кулис.  
В тени вопросительных знаков.  
Чей груз фонетических злаков,  
Остался от прежних невежд.  
Твоя ведь там тоже полова

Просыпалась. Надо ли снова  
Из старых проситься одежд.  
Ведь, если убрать запятую,  
Баклажку, ещё не пустую,  
Встряхнув, ты собрался открыть,  
То, мало ли, что там осталось.  
Ну, выпьем с тобой за усталость,  
Умерив постскриптума прыть.  
Не тут и не там оказались.  
Успели, всем курам на зависть,



Ослепнуть и снова прозреть.  
Ни прежних волос, ни загара.  
Лишь тапочек стоптанных пара.  
Обрезанных сзади на треть.  
О знаках ли тут препинанья

В канун своего «до свиданья»  
Толпе молодой толковать.  
Другая у них оболочка,  
И ось, и опорная точка,  
Откуда не нам танцевать.

\* \* \*

Живу не как угодно Богу,  
Но привыкаю понемногу  
К той мысли, что начала есть.  
И свет, и звук почти освоил,  
Из чрева вывалившись с воем —  
Обратно не просился влезть?  
Кто сотворил, зачем оуклил,  
В огонь бросал, но не обуглил —  
Спросить бы? Да закрылась дверь.  
Я только после баю-баю  
Заговорю, а не залаю,  
Когда сказать решусь: «Проверь!»  
Но вряд ли это будет скоро...  
Вздыхнув у чайного прибора,  
Пустую ложку стану гнуть.  
Потом в кустах, сойдя с полянки,  
Напомнят мне, спуская лямки:  
«Задрать рубашку не забудь».

Едва обсох, уже зависим  
От клякс чернильных и от писем,  
От букв — их лечат топором.  
Внимать обязан гороскопам,  
Цыганкам, подвалившим скопом,  
Галдящей прорве со двором.  
За молоко и всё такое  
Ещё платить придётся вдвое  
(Не вдруг, но должен понимать)  
За куст, он вырастет едва ли,  
За дом, который разломали.  
За плод — его убила мать.  
Вот это главное, пожалуй.  
И тут, хоть в аисты разжалуй.  
Меж двух перепланируй крыл,  
Твердить готов, порой печалюсь,  
Мой предок зря решил, отчаясь,  
Сбежать от милых мне горилл?

\* \* \*

Уйдёт, но всё переиначит  
Кладбищенская кутерьма.  
Вблизи могил уже маячат  
Пятиэтажные дома.  
Они как раз через дорогу  
Видны. Осталось пересечь.  
Работы с графиками в ногу  
Идут. Копай и не перечь.  
А те, в оградках домовины,  
Гробы, короче — буерак...  
Их тоже бы извлечь из глины  
И поступить не абы как?  
Тут эксгумацию бы надо.  
И всех под общую плиту.  
Душа на месте, сердце радо.  
Покой всего-то за версту.  
Но оглянись — уже смеются.  
Тот старый. Этот молодой:  
Из-под фуражки кудри выются,

И экскаватор за спиной.  
Очнись и отойди подальше.  
Тут не пивная, а режим.  
И в голосе не слышно фальши:  
«От мёртвых, что ли, побежим?»  
Зажмурься. Это — ипотека.  
Не стройка века, но жильё.  
Вон магазин, а тут аптека.  
Всё долевое и твоё.  
Что вывезли и что осталось:  
Зачем бывшее ворошить?  
Вот только по ночам усталость  
Порой ничем не заглушить.  
Веселье было поначалу.  
Потом доделки и ремонт:  
От — «кабы не было печали»,  
До — «кабы заново на фронт».  
Уюта в каменном вигваме  
Живая просит детвора.

А эти, что легли под нами,  
У них ни пуха ни пера.  
Ещё до нас поизносились,

Шептать устали по ночам,  
Напрасно достучаться сияясь  
К ещё не сомкнутым очам.

## Соло для Брусничной горы

*Василию Гинкулову*

А гору эту без усилий  
Преодолеть один лишь мог...  
Тебя в уме держу, Василий,  
Устав кропать сей монолог.

От баб устала и шалмана,  
Теряющейся детворы.  
Оборки все у сарафана  
Поотрывали топоры.

В пяти шагах от полустанка,  
Где к пойме льнёт река Олха,  
Видна с мостков твоя яранга —  
«Ханта» с коньком для петуха.

С тобой, о, свет ты мой Василий,  
Тайгу уведомить дабы,  
Давай, уже не без усилий,  
Отправим память по грибы.

Но нет! В когтях у синей хвои  
На древке вовсе не глухарь.  
Под киноварью (конь с тобою!)  
Погоня, грива, малахай.

Не вечен дар воспоминаний,  
Но снова, будто наяву,  
Гляжусь в брусничные поляны,  
Рябину огненную рву.

Лишь полминуты электричка  
Дощатый балует перрон,  
Где кассы нет, но есть табличка:  
Читайте, вот он, ваш кордон.

Курень твой вижу на подворье,  
Навес и с банькой дровяник,  
И ту, с кем ты не мыкал горе,  
Пока её светился лик.

Попрыгали, а чудо слева.  
Но лучше не кричать ура!  
Сто лет на вас бы не глядела,  
В упор Брусничная гора.

Те дни забудутся едва ли,  
Когда, ходьбой утомлены,  
Мы не спеша чай гоняли,  
Макая в блюдечко блины.

\* \* \*

Гудели ноги с непривычки.  
То грех по яголке собирать  
В местах, где чёртовы кулички  
Бока готовы ободрать.

Век минул, и меня ты вспомнил,  
Убрав бумаги со стола.  
Один теперь ты в поле воин.  
Жена за ягодой ушла.

Где пал прошёл, там нынче сыро.  
Остыл страстей былых накал.  
Тогда ещё ты «Розу мира»  
На сон грядущий постигал.

Устала ли, скажи на милость?  
(Оно пора бы по годам.)  
В грибном тумане растворилась.  
Передохнуть осталась там.

Молитвенный лелея фетиш,  
Себе кумира не творишь.  
На пришвинской двуколке едешь,  
Словесность не пропала б лишь.

«Догонят», видимо, решила.  
Но ты пока не торопись.  
Садись, макай перо в чернила,  
Вокруг такая живопись.

Замрёшь, почуяв этот запах —  
Земли сибирской холодок,  
Отпускники спешат на запад,  
А нам бы снова на восток.

Уснул вагон. Не добудиться.  
Спохватишься, вздремнув с утра,  
Уже торопит проводница:  
Гора Брусничная! Пора!

\* \* \*

С геранью скучно на дому.  
И в парк не по пути.  
Но есть пока ещё, чему  
Под окнами цвести.

И одуванчикам подстать  
Местечко у стены.  
Взошли — пора произрастать,  
Раз в солнце влюблены.

Уже черёмуха фату  
Успела потерять.  
Зато по сторону, по ту,  
Видна сирени прядь.

Остриг садовник, но жива.  
Не век стоять вдовой.

Опять оделась голова  
В кокошник голубой?

И прежний разлит аромат.  
Забылась, видит Бог,  
И разве кто-то виноват,  
Что кто-то занемог.

Ходить отнюдь недалеко  
До маленькой беды.  
Конечно, порвано трико.  
Но убедился ты:

Похоже, ей себя не жаль,  
На то и месяц май.  
Но ты её не обижай,  
По веточке ломай.

## Мамо лихо

По ночам и под утро стреляешь.  
Всё равно, по «укропам» каким.  
Днём опять перегаром воняешь:  
Сало в брюхе, в ноздрах кокаин.

Гусь свинье, говоришь, не товарищ?  
Потому и бесчинства творишь?  
Одиночно и залпами шпаришь.  
Всё былое забыть норовишь.

С малых лет на устах твоих «мова»  
И, без малого, русская речь.  
Прадед твой — мещанин из Тамбова,  
Мать — полячка, «с пид Львова» сиречь.

Галицийское семя раздора  
На австрийских лугах проросло.

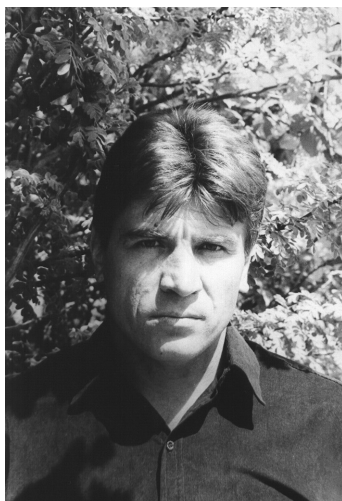
От ганзейских дворов до Босфора  
Шашки тут, сабли там — наголо.

Раздвоился Господь. Безутешен.  
С кунтушом не в ладу малахай.  
Семь черешен и девять черешен.  
Хочешь — те, хочешь — эти снимай.

Только знай: с одного они древа.  
И на вкус они тоже равны.  
Глянешь слева — Пречистая дева.  
Справа — Матерь глядит со стены.

Сколько б за нос тебя ни водили,  
Как усопшей родне ни перечь,  
Всё равно ты Грицко, я — Владимир.  
Мне б дожить, и тебе бы не лечь.

## АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ



### Вечерний свет

#### На смерть матери

Ну, вот и ты, родная, умерла.  
Ты мужа своего пережила  
на двадцать два тяжёлых самых года...  
На всё на свете преходяща мода,  
а вот на саван мода не пройдёт,  
и я, как вы, в какой-то день и год  
под глину иннокентьевскую лягу.  
Что из того, что я марал бумагу?  
Откинёт вслед за мною в смертный час  
и крылья, и копыта мой Пегас.  
Пока живут, родители преградой  
стоят между детьми и смертным смрадом,  
а с их уходом, снявшим сей заслон,  
черёд приходит наших похорон.  
Взберись хоть на вершину Фудзиямы,  
хоть на Парнас, — спасенья нет от ямы,

---

ЗМИЕВСКИЙ Анатолий. Родился 17 марта 1959 г. в Иркутске. После окончания средней школы № 7 служил в рядах Советской Армии (Воздушно-десантные войска, Ферганская дивизия). Затем учился в ИГУ, на юридическом факультете, но, в силу жизненных обстоятельств, учёбу пришлось оставить. Работал монтировщиком сцены, плотником-бетонщиком, грузчиком, экспедитором, кочегаром, сторожем. В 1991 г. стал лауреатом 12-й областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Стихи пишет с 14 лет. В 1997 г., после издания первой книги стихов «Среди божественного хлама», был принят в Союз писателей России. Автор шести поэтических книг: «Среди божественного хлама» (1996), «Лагерная Русь» (1998), «Звезда Вифлеема» (2001), «Я пришёл из осени» (2005), «Любовные письма» (2010), «В полушаге от звезды» (2012). Стихи печатались в коллективных сборниках и книгах, изданных в Иркутске и Москве. Иркутский композитор Ольга Горбовская написала на стихи вокальный цикл «Драгоценные слёзы».

любой подъём — переодетый спуск;  
блажен не тот, не этот, а моллюск.  
Я, выпив из горла, хриплю всем горлом:  
— Вот и тебя, родная, Время стёрло...  
Не море слёз с глазного льётся дна,  
роняется, как правило, одна.

Я знаю, что не ведала ты счастья,  
ни в коммунизм не веря, ни в причастье.  
Трудом неженским кое-что скопила,  
но власть твою сберкнижку обнулила.  
Та власть, что в беловежской пьяной бане  
сдав Третий Рим заморской обезьяне,  
взялась делить среди родных и близких  
все отрасли валютные по списку.  
Измена, выскользнув из-за кулис,  
пот утирала долларами с лиц —  
Иудин пот, и, внешне дружелюбный,  
был сей зверёк враждебным абсолютно.  
Не понял сам вознёсшийся алкаш,  
кто взял тогда у Сталина реванш.  
Как шарик, сдулась мощная держава,  
крысиной пренебрёгшая отравой.  
Деваться стало некуда от крыс  
и грабежа крысиного на бис,  
что даже в самом страшном сне присниться  
не мог стране берёзового ситца.  
И русский цвет её волос проворно  
мигранты перекрашивают в чёрный.  
Крестьянин снова получил по яйцам,  
и на Руси крестьянствуют китайцы.  
На этом фоне титульный народ  
в ходячий превратился анекдот.  
Смеясь до слёз над комиком-народом,  
гремящим кандалами лжесвободы,  
владельцы — каждый хлеще, чем Кашей —  
общенародных некогда вещей,  
за расхищение всего и вся  
отделавшиеся водой с гуся,  
чужое жрут и сало, и варенье,  
но не про то моё стихотворенье.

Хлебнув по полной в том и в этом «изме»,  
родившая меня ушла из жизни,  
пройдя сквозь эту жизнь, как сквозь проклятье,  
в платке терновом и крапивном платье.  
Ах, мама, твой земной закончен срок,  
прости за всё, в чём я помочь не смог.

Из лебеды наевшись в детстве каши,  
ты до конца пила из этой чаши.  
Пусть будет пухом, пухом лебединым  
тебе погоста нашего суглинок.  
С тех пор, как ты с отцом соединилась,  
на свете ничего не изменилось.  
Мир, как и был, так и остался сучьим.  
Я верю, что тебе на небе лучше,  
что за твои упрёки в адрес Бога  
ты Им судима нежно, а не строго.  
В раю не очутиться невзначай,  
ты настрадалась так, что только в рай  
должна попасть, минуя муки ада,  
и там в цветах порхать под Божьим взглядом.  
От этих мыслей я не отступаюсь  
и в них тебе, как фее, улыбаюсь.

Даётся в среднем семь десятков лет  
на самой лучшей, может, из планет  
нам всем, и ты, родная, не сдавалась,  
и до семидесяти продержалась.  
Вовек на саван мода не пройдёт.  
В какой-то час, в какой-то день и год  
и я, ни в чём отрады не нашедший  
и дни свои безрадостно проведший  
в тоске по кущам в розовом цвету,  
в обнимку с горем кану в темноту.  
И кто потом, когда меня схоронят,  
над холмиком твоим слезу обронит?  
Небесный свод в дождливую погоду?  
Но небеса не слёзы льют, а воду.  
В мозгу моём, мешая муку с бредом,  
вращается туманность Андромеды,  
глаза когтит созвездие Орла.  
Ну вот, родная, ты и умерла.

## Любовь

Тот снежный вечер ясно помню я.  
Я помню, как луна в окно светила,  
как на губах сластила грудь твоя  
и вся ты на губах моих сластила.  
По старорусскому календарю  
та ночь являлась ночью новогодней,  
и, вставив палки в спицы января,  
стал старый стиль для нас, по сути, сводней.  
Заставил пересечься он пути



друг друга мельком видевших однажды  
тем, что позволил нам с тобой войти  
на том же месте в ту же реку дважды...

Бил в раму ветер, и стекло тряслось,  
и с боку на бок я перевернулся,  
и до меня певуче донеслось:  
«Мой ненаглядный, ты уже проснулся?»  
По занавескам пробежала дрожь,  
и, не краснея, ты врала мне бойко  
про то, что на других я не похож,  
про то, что я особенный какой-то.  
Ты льстила мне, забыв один момент:  
поскольку всё в сравненье познаётся,  
дарящая подобный комплимент  
в порочности невольно признаётся.  
И, мысленно прозвав тебя «Лилит»,  
не знаю, с чем в связи, наверно, с блудом,  
решил я так: покуда страсть бурлит,  
побуду здесь, потом — уйду отсюда.  
Заснеженных минут не торопя  
и не спеша отчалить от причала,  
о прошлом стал я спрашивать тебя,  
и ты мне простодушно отвечала.  
На вечный в личной жизни неуспех  
посетовав, ты, против женских правил,  
доверчиво вещала мне о тех,  
кто был с тобой и кто тебя оставил.  
Как про заслугу, пела ты про то,  
что никогда с двумя одновременно  
ты не крутила шашни, и притом  
глядела мне в глаза проникновенно.  
От этой откровенности меня  
коробило, и мстительно я думал:  
позабавляюсь с дурочкой два дня,  
ну, а на третий удалюсь без шума.

Но чем-то, источаемым тобой,  
уже тогда я был слегка подранен —  
какой-то рвущей душу добротой,  
прощающей в неё летящий камень  
иль хлыст, её секущий без стыда,  
заранее — на взмахе и в полёте.  
И грустно я отметил: да, беда...  
нет места смеху в этом анекдоте.  
Чад свечек, что не держаны никем,  
был виден всем за юною спиною,  
и ты смирилась с этим, как и с тем,

что не бывать тебе ничьей женою.  
Застенчиво поведала ты мне,  
что после мимолётной первой встречи  
со мною целовалась ты во сне,  
что сон твой сбылся в наш вчерашний вечер.  
Что въяве я не хуже, чем во снах,  
а лучше (здесь ты очи опустила),  
что средь зимы в моём лице весна  
тебя к любви смертельной пригвоздила...  
Я закурил и молча дым пускал,  
и, находя ответ в самом вопросе,  
не ты спросила, а твоя тоска,  
как скоро я тебя намерен бросить.  
И провернулась до конца в виске  
мысль о тебе, и мысль совсем простая:  
что жизнь твоя висит на волоске,  
который истончается и тает...

Вспорхнув с постели, выпорхнув за дверь,  
ты упорхнула в царство чайных кружек.  
Я у окна задумчиво смотрел  
на вьюжное мельканье белых мушек...  
Мы пили чай. Я пил и представлял,  
как ты с другими здесь чаи гоняла.  
Зачем ты мне такая? — размышлял,  
и вновь с тобой нырял под одеяло.  
Вморозил в раму сказочную гроздь  
резьбой по льду увлечшийся стекольщик,  
и обронила ты: «Мой зимний гость,  
побудь со мной, презренною, подольше».  
И, уголок подушки теребя,  
добавила — как о решённом свыше:  
«В тот день, когда проснусь я без тебя,  
я брошусь под машину или с крыши».  
И я опять отметил: анекдот...  
но где смеяться в этом анекдоте?  
К тому же — тон такой, что дрожь берёт,  
и я сказал: «Ну, вы, мадам, даёте...»  
И снова засыпал с хозяйкой гость,  
хозяйка с гостем сладко засыпала;  
в окне мерцала ледяная гроздь,  
а сквозь неё звезда в окне мерцала...

На третий день я всё-таки свалил,  
но, сказав метафору про чёрта  
и ладан, не жалея в беге сил,  
бегом к тебе вернулся на четвёртый.  
Пошла кружить свиданий карусель,

и я с неё не торопился спрыгнуть,  
боясь поднять вокруг тебя метель,  
в которой не смогла б ты не погибнуть.  
Зима при солнце бело-голубой  
была, а под луною — бело-синей,  
но, будучи украшена тобой,  
оттенок обрела неизъяснимый.  
Не в блажи, а в блаженстве — вот сюрприз! —  
я утонул, по волнам снегопада  
плывя с тобой, и, словно гимназист,  
насытиться не мог губной помадой...

И незаметно подошла весна,  
и из щенков подвыросли собаки,  
а я тебя никак всё не бросал,  
не растворялся в пресловутом мраке.  
Пустой роман, чей срок давно истёк,  
перетекал в роман иного рода,  
в котором начинала между строк  
мерцать золотоносная порода.  
Попалось сердце сердцу на крючок:  
родными становились занавески  
и ты — когда, уткнувшись мне в плечо,  
вдруг принималась всхлипывать по-детски.  
Твоих очей печальная краса  
была библейской красоты на грани,  
как на иконе выжившей глаза  
в разграбленном и выгоревшем храме.  
По образу тоскуя твоему,  
на пару дней с тобою разлучённый,  
я всё вернее приходил к тому,  
что ты есть клад, никем неоценённый.  
Но, подзаборным северным кустом  
рябину променявший на мимозу,  
о прошлое своё я бился лбом,  
о, золотая ты моя заноза!

Бежали дни. Мне не хватало сил  
обжечь тебя прощальным резким словом...  
Я наш разрыв не раз переносил,  
откладывал, оттягивал, и снова  
переносил, поймав себя на том,  
что в девочку, с которой забавлялся,  
я оказался попросту влюблён,  
и с каждой встречей всё сильнее влюблялся.  
В моей судьбе зажглась ты огоньком,  
что путеводной звёздочкой зовётся,  
доверившись которой целиком,

я путником, в пустыне до колодца  
дошедшим, ощутил с тобой себя,  
и, пусть посредством рифмы примитивной,  
я прокричал, что я люблю тебя,  
перекрывая шум шального ливня!  
И, сблизив лица, друг у друга с лиц  
мы пили воду, полную свеченья,  
а после, осчастливившая птиц,  
крошили им песочное печенье.  
Чирикание смешного воробья  
на крошки отзывалось благодарно.  
Фамилия лазурная твоя  
с моей переплеталась лучезарно!  
Как дикий мёд, притягивавший дам  
и мёдом налипавший им на губы,  
я навсегда прилип к твоим устам  
и влез навеки в шкуру однолюба.

Цветком я в дверь заветную стучал,  
и дверь распахивалась, словно дверца!  
Такую радость взор твой излучал,  
что у меня отказывало сердце.  
И, сталкиваясь, как толпа с толпой,  
стремясь о счастье сказку сделать былью,  
вели лобзанья наши долгий бой  
и пополам викторию делили.  
Пуховой делал жёсткую кровать  
медовый лепет, льющийся с подушек:  
«Тебе нельзя меня так целовать —  
так из меня ты выцелуешь душу...»  
Пот превращался в сладкую росу,  
и нам, друг друга слизывавшим с кожи,  
завидовали ангелы вовсю,  
и демоны завидовали тоже<sup>1</sup>.

За месяцы, которые прошли  
быстрее, чем поезда способны мчаться,  
сплелись восьмёркой мы, что на нули  
могла лишь после смерти разорваться.  
Однажды между нами финский нож  
один знакомый твой пытался вставить.

---

<sup>1</sup>*От редакции.* По настоянию автора публикуя без изменений две строки про ангелов и демонов, извещаем читателей, что мы, будучи православными христианами, не согласны с подобным использованием мистических понятий «ангелы» и «демоны», ибо они трактуются противоположно евангельским толкованиям. Глядя на чувственные страсти, описанные в сцене, демоны не позавидуют — они бесплотные духи, но демоны захлебнутся от восторга, ибо радость любовной пары сугубо плотская, не духовная и даже ещё не душевная; а значит, пока ещё эта пара принадлежит демонам, посланникам ада. И святые ангелы, посланники Духа Свята, не позавидуют плотским страстям, ибо, опять же, бесплотны, но ангелы Божии с горечью отвернутся, поскольку плотские страсти им противны. Ангелы порадуются лишь тогда, когда плотская любовь сей пары перейдёт в душевную любовь, а там и близко до любви духовной во Христе; но демоны тут заскрежещут зубами.

Мне не пришлось казнить его, но всё ж  
пришлось на излечение отправить...  
Роман трёх дней при ласковых огнях  
шести свечей отпраздновал полгода,  
и пили за тебя и за меня  
мы не вино, а огненную воду.

Я помню, как в исходе октября  
ты так невыносимо виновато  
произнесла: «Беременная я.  
Тебе, я знаю, этого не надо».  
Я — воспарил! Но за слова твои  
воздал тебе, переборщив, похоже:  
«Родишь девчонку — с нею и живи.  
Лишь с пацаном возьму тебя. Быть может».  
И, скинув маску напускного зла,  
захлопотал над будущей мамашей:  
«Не плачь, кого бы ты ни родила,  
всё будет нашим — нашим или нашей!  
А лучше двойню нам с тобой родить,  
чтоб сразу были — девочка и мальчик.  
Сентиментально если говорить,  
чтоб сразу были — белочка и зайчик».  
Я — ликовал! И я не утерпел —  
перед тобою выстелился пухом,  
и слёзы целовал твои, и пел  
твой ангел о тебе мне прямо в ухо!  
А мой всю поддакивал ему,  
меня в другое ухо наставляя  
на путь, ведущий к сердцу твоему,  
и падал снег, наш брак благословляя.  
И улыбались нежно ты и я,  
и нежности волна весь мусор смыла.  
«Глупышка несусветная моя», —  
я приговаривал, а ты шептала: «Милый...»  
Мы, как к венцу, шли к белому крыльцу,  
и я шутил дорогой безобидно:  
«Тебе, мой свет, беременность к лицу,  
особенно когда её не видно».

Животик твой, как время и велит,  
арбузом астраханским округлился,  
что, по приметам, мальчика сулит,  
и этот мальчик, выждав срок, родился.  
Я от восторга чуть не снёс порог,  
встречая вас, и, истекая лаской,  
младенца звучным именем нарёк,  
в котором Рим соседствует с ромашкой.

Тобою с нашим сыном на руках  
любуюсь и в погожий день, и в дождик,  
я так жалел, рифмуя с вами «Ах!»,  
о том, что я поэт, а не художник...

Найти друг друга кто-то сразу смог,  
а мы с тобой друг к другу прорывались  
сквозь частокоты рук чужих и ног,  
и прорвались, и больше не расстались.  
С тех пор, мой равный солнцу огонёк,  
я в солнечной улыбке и под платьем  
испепелённый счастьем мотылёк,  
счастливый север в солнечных объятьях.  
Наш первый вечер мог последним стать,  
но на всю жизнь тот вечер растянулся,  
и до меня доносится опять:  
«Мой ненаглядный, ты уже проснулся?»  
Я помню, что о принце на коне,  
о белоснежной свадьбе под черешней  
не грезить научилась ты вполне  
к моменту нашей встречи, и, конечно,  
принц в золоте, чья лошадь в серебре —  
портрет не мой, но, как тоске Обломова,  
я всё, что мог, отдал одной тебе,  
одной тебе, и никому другому.

### Вечерний свет

Уже не только молодость прошла.  
С женой мы на окраине живём,  
друг друга лечим, и не помним зла,  
ветшаем потихонечку вдвоём.

Дымится чай — байкальская вода,  
чабрец и мёд, брусника и имбирь.  
Пол-осени обрезав, как всегда,  
пришла зима в Восточную Сибирь.

Мороз рисует джунгли на стекле,  
а в горнице уют, сиянье свеч,  
и в стужу сходство с раем на земле  
ей придаёт топящаяся печь.

За печкой разомлевший домовый  
посапывает мирно в уголке.  
Слюбившийся с невольничьей судьбой,  
свистит снегирь в серебряном садке.



Ещё кукушка в ходиках живёт,  
кукует деловито каждый час,  
и каждый час с неё сибирский кот  
не сводит золотисто-чёрных глаз.

А раньше, приготовившись к прыжку,  
он постоянно с ним не успевал,  
и, вслед мякнув юркому «ку-ку»,  
с притворным безразличием зевал.

Часы с кукушкой слишком высоко,  
и уяснил пушистый зверь давно,  
что если и успеет он с прыжком,  
до них он не допрыгнет всё равно.

Свистит в садке серебряном снегирь,  
по-братски кот относится к нему.  
Пришла зима в Восточную Сибирь,  
как жизнь придёт к финалу своему.

С женой мы понимаем всё без слов  
в беседах, облачённых в пух и шерсть.  
Меж нами нет не сглаженных углов,  
как между «девять» цифрою и «шесть».

Наш мальчик оперился, стал орлом  
и из гнезда родного улетел,  
и обзавёлся собственным гнездом,  
и изваял двух дочек, бракодел.

Шучу, шучу. Мы кроме этих двух  
принцесс не видим ничего вокруг.  
А скоро — не позднее чем к Рождеству —  
у нас ещё появится и внук.

Хвала судьбе за то, что удалось  
не сгннуть преждевременно с земли...  
За дверью щебетанье раздалось —  
то внучек-щебетуний привезли.

Мороз цветы рисует на окне,  
и ангелы глядят из детских глаз,  
чего душе достаточно вполне  
для счастья в этот сумеречный час.

И в детских голосах — из Высших сфер  
звон различим хрустального драже,  
и этих виршей благостный размер,  
как нищий дух, воистину блажен.



АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ



## Бездна

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Глубокая ночь. Всё погружено в чуткую тишину. Просторная комната скудно освещена настольной лампой с зелёным абажуром, стоящей на двухтумбовом письменном столе у высокого прямоугольного окна. За столом сидит, сгорбившись, человек. Он торопливо пишет простым карандашом в толстую тетрадь, губы его плотно сжаты. Слышен скрип грифеля о бумагу, тетрадь гнётся и неприятно шелестит. Приглушённый зеленоватый свет выхватывает из темноты крупную голову с высоким покатым лбом; лицо сосредоточено, взгляд пристальный и как бы застывший, словно человек что-то высматривает — там, среди неровно бегущих строчек. Он всецело поглощён своей работой, ничего не видит вокруг, и эта комната не существует для него, он весь в прошлом, в своей боевой молодости — вместе с товарищами готовится дать бой колчаковским бандам. Сердце лихорадочно стучит, в груди разливается жар, сейчас всё решится — жизнь или смерть, победа или сыра земля; вот здесь, под этим деревом, или на поляне среди цветов, а может быть, в пучине вод. Спасенья нет, кто-то сейчас должен погибнуть...

---

ЛАПТЕВ Александр Константинович, прозаик (род. в 1960 г. в г. Иркутске). Автор книг: «Звёздная пыль»: фантаст. повести и рассказы (Иркутск, 1999); «Как я работал охранником»: повесть (Иркутск, 2004); «Благая весть»: фантаст. рассказы, повесть (СПб, 2007); «Как я был...»: автобиогр. диалогия (США, Балтимор, 2010); «Сибирская вен-Детта»: криминал. роман (США, Балтимор, 2010); публикаций в коллект. сб. и журналах. Канд. техн. наук. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Человек услышал звук открываемой двери и оглянулся с недовольным видом. Он запретил жене входить в свой кабинет ночью, когда дверь закрыта, а он, стало быть, работает над очередной книгой, крадёт у вечности ускользающие моменты быстро несущейся жизни. Он специально пишет по ночам, когда всё вокруг словно бы умерло, а душа волнуется и кипит. Тут важен порыв, вдохновение, полёт воображения! Нужно отрешиться от всего обыденного, запереться в кабинете и работать всю ночь до рассвета, не замечая времени, не чувствуя собственного тела, не помня себя. Тогда всё становится легко и достижимо, время исчезает, а линии пространства теряются в бесконечности; то, что было много лет назад, воскресает и живёт, движется и волнует душу, пылает всеми красками на экране внутреннего воображения. Быть может, поэтому читатели с нетерпением ждут его проникновенные рассказы о полной героизма и самопожертвования революционной борьбе сибирских партизан за советскую власть. И он без устали всё пишет и пишет о своих товарищах, павших смертью храбрых, сгоревших в ярком пламени революционной борьбы. А читатели требуют новых книг, героических образов, волнующих баталлий — таких, чтоб захватывало дух! Это потому, что он описывает в своих книгах лишь то, что пережил сам, что видел собственными глазами. Он прошёл тысячи километров по таёжным нехоженным тропам вместе со своими боевыми товарищами, многие из которых остались там — в присаянской тайге, среди вековых деревьев и вросших в землю каменных глыб. Они уже не подымутся из могил, не расскажут, как боролись и умирали за правое дело, за свободу трудящихся от гнёта помещиков и капиталистов. Его долг и право — поведать всему миру об их подвиге, о несбывшихся мечтах, о несложившихся судьбах...

— Петя, там какие-то люди тебя спрашивают. Их много...

Пётр Поликарпович усилием воли прогнал яркие видения. Он снова был у себя дома, в своём рабочем кабинете, а напротив у дверей стояла его молодая жена — в длинной ночной рубашке и босая; глаза её были широко раскрыты, на лице растерянность и едва ли не испуг.

— Какие ещё люди? Ночь на дворе! Ты на часы посмотри. Половина третьего.

Широкое прямоугольное окно перед письменным столом зияло чернотой. Слабый шум ветра едва проникал сквозь двойные рамы. За окном стояла апрельская ночь — студёная, загадочная, полная предвкушений и неясных намёков. В такие ночи только и работать...

— Они тебя требуют, — снова подала голос жена.

— Меня требуют? — повторил Пётр Поликарпович и, бросив карандаш на стол, решительно поднялся. — На совещание какое-нибудь вызывают. Но зачем было ехать сюда, есть же телефон, я бы и сам дошёл.

Он сделал шаг и вдруг остановился: в кабинет уверенно вошёл военный в синей фуражке и с тремя ромбами в красных петлицах. Наискось через грудь — коричневый кожаный ремень. На правом боку — тяжёлая кобура с лоснящимися раздутыми боками. И — пристальный немигающий взгляд.

Пётр Поликарпович хорошо знал эти лица. В какую-то долю секунды перед ним мелькнуло видение: вот он — молодой, бесстрашный, с винтовкой в руках — вместе с красноармейцами уверенно входит среди ночи в избу кулака-миroeда; на столе возле окна коптит керосинка; сам хозяин, его жена и дети смотрят на него круглыми от страха глазами, а он дивится — чего они так боятся? Советская власть никого не наказывает без причины, потому как она — за справедливость, за угнетённый народ и за лучшую долю! И он досадовал на этот глупый страх, и ещё

на то, что приходится объяснять этим тёмным людям простые истины. Бояться не надо — если только ты не совершил ничего плохого — он твёрдо это знал. И это знание вернуло ему уверенность.

— В чём дело, товарищ? — спросил он, возвышая голос. — Что за странный визит среди ночи?

Ни один мускул не дрогнул на лице у военного.

— Пётр Поликарпович Пеплов? — произнёс тот без всякой интонации.

— Да, это я.

— Вам придётся проехать с нами.

Пётр Поликарпович выдержал паузу.

— А до утра нельзя было подождать? Позвонили бы, я бы сам к вам пришёл. Что за срочность такая?

— У меня приказ вас доставить в Управление.

— Какое ещё управление?

— В Управление НКВД. Тут недалеко. Ответите на несколько вопросов — и сразу обратно.

Пётр Поликарпович хотел возразить, но сдержался. Совсем недавно он сам носил военную форму и знал силу приказа. Раз требуют, значит, так надо. Ему ли — бывшему партизану и красному командиру — бояться ночных визитов? И ему ли не знать военные уставы?

Он перевёл взгляд на жену, которая всё так же с испуганным видом стояла чуть в стороне.

— Светлана, пойдй к себе, посмотри, как там Иоланточка.

Военный поднял одну бровь.

— Это ещё кто?

— Дочь моя. Мы её Иолантой назвали. Красивое имя, не правда ли?

— А сколько лет дочери?

— Два с половиной.

— Есть ещё в доме кто-нибудь кроме неё?

Пётр Поликарпович хотел ответить резкостью, но сдержался. Лишь пальцы сами собой сжались в кулак.

— Кроме меня, жены и дочери в доме никого нет! Будут ещё вопросы, товарищ лейтенант? Кстати, как ваша фамилия?

— Дьячков, старший лейтенант госбезопасности, — чётко ответил военный. — И не товарищ, а гражданин.

— Вот как! Почему же я вам не товарищ? — быстро проговорил Пётр Поликарпович. — Я сам бывший военный, воевал за советскую власть. Вы что, книг моих не читали?

Лейтенант сделал нетерпеливый жест.

— Не надо этого...

Пётр Поликарпович снова глянул на жену, которая всё стояла, не в силах шевельнуться, и согласно кивнул.

— Ну, коли так... поехали, — и шагнул через порог.

В прихожей толпились красноармейцы — пять или шесть человек. Пётр Поликарпович приостановился.

— Это ещё что за собрание?

Лейтенант подтолкнул его сзади.

— Выходите. Они все со мной, сейчас уйдут.

Пётр Поликарпович обернулся.

— Да зачем же они пришли?

— Мы тут были по другому делу, а к вам попутно зашли. Не стоять же им на улице! — был ответ.

Красноармейцы вытянулись во фрунт и не мигая смотрели на хозяина квартиры. Взгляды были настороженные и какие-то бессмысленные. Пётр Поликарпович хотел сказать какую-нибудь шутку, показать им, что он понимает их службу, сочувствует и вообще... Но лейтенант распахнул перед ним дверь и указал рукой на выход. Пётр Поликарпович лишь кивнул и вышел на площадку.

Уже на улице, садясь в чёрную «эмку», он бросил взгляд на свои окна на четвёртом этаже недавно построенного элитного дома для номенклатуры. Свет горел во всех окнах, мелькали тени на занавесках. А из подъезда почему-то никто не шёл.

— А почему они не выходят? — спросил Пётр Поликарпович с тревогой.

— Выйдут сейчас, — заверил лейтенант, распахивая заднюю дверцу. — Устраивайтесь поудобнее!

Пётр Поликарпович, нагнувшись, полез внутрь, только тогда увидел сидевшего в углу военного в фуражке. Тот молча смотрел на него и не двигался.

— Здравствуйте, — произнёс Пётр Поликарпович. — Не помешаю?

Ответа не последовало.

Лейтенант уселся рядом с водителем, и машина тронулась.

Странно было ехать по ночному Иркутску — полное безлюдье и какая-то могильная тишина. Пётр Поликарпович всматривался в знакомые дома и пытался осмыслить происходящее. Что это, арест? Не похоже. Да и за что его арестовывать? При аресте положено предъявлять постановление; проводится обыск, арестованного берут в наручники и конвоируют в тюрьму. А он едет свободно, никто ему не угрожает и стволom в спину не тычет. Сказано ведь: туда и сразу обратно! Вот он вернётся домой, напьётся сладкого чаю и ляжет спать. Хотя, до утра не так уж много времени, но ему не привыкать: пару часов подремлет — и снова за работу. Всё-таки годы, проведённые в партизанском отряде, чего-нибудь да стоили. Он и сейчас мог бы пойти в партизаны. Сорок пять лет — не бог весть какой возраст. Силы ещё найдутся.

Остались позади улицы Марата, Ленина и Карла Маркса. Машина повернула на улицу Литвинова. Тут уже было посветлей, мелькали по сторонам фигуры военных, иногда проезжала навстречу машина с включёнными фарами. Впереди показалось длинное мрачное здание областного управления НКВД — серый монолит о пять этажей. Все окна здания ярко светились. Пётр Поликарпович был поражён такой иллюминацией. Его дом находился в полутора километрах от этого освещённого огнями здания, а он и не знал, что тут не спит по ночам столько народу. Он-то думал, что он один во всём городе любит работать в ночной тишине.

Машина подъехала к трёхметровым металлическим воротам и остановилась. Приблизился красноармеец с винтовкой, заглянул внутрь. Лейтенант показал ему пропуск, красноармеец коротко кивнул.

Тяжёлые створки медленно, со скрежетом, разошлись. Машина, переваливаясь с боку на бок, заехала внутрь.

Пётр Поликарпович уже бывал в этом учреждении, и даже был лично знаком с его бывшим руководителем — латышом Зирнисом Яковом Поликарповичем. Их сблизила схожая судьба: оба были из крестьян, оба воевали на фронтах Первой мировой, и оба сражались за советскую власть, только Зирнис воевал против

Юденича, а Пеплов — против Колчака. Поговорить им всегда было о чём, и во время перекуров и антрактов они дружески сходились и вспоминали былое. Но три месяца назад Зирниса неожиданно сняли с должности, перевели в Москву, а на его место назначили какого-то Гая, но и его тут же заменили. Месяц назад областное НКВД возглавил никому не известный Лупекин. С этим Пётр Поликарпович не успел познакомиться. Уж не к нему ли его теперь ведут? — подумалось. Забавная будет встреча — среди ночи, без всякого предупреждения. О чём же они станут говорить? Уж не о боях ли с Колчаком?

Пётр Поликарпович улыбнулся своим мыслям. Сейчас он расскажет новому начальнику про то, как дрался с белочехами и прочей нечистью, а теперь трудится на другом фронте — пишет книги, в которых воспевают мужество простых советских людей, готовых отдать жизнь за светлые идеалы коммунизма. Этот Лупекин, по слухам, молодой совсем, ещё сорока нет. А уже поднялся на такую должность. Должно быть, способный, решительный. Настоящий чекист!

Машина остановилась, двигатель смолк. Дверца резко распахнулась.

— Выходи, руки за спину! — раздалась команда.

Пётр Поликарпович не сразу понял, что этот грозный окрик относится к нему. Он глянул снизу на красноармейца.

— Ты чего орёшь? Перепутал спросонья?

— Не разговаривать! Выходи, а то применим силу!

Пётр Поликарпович снова вспомнил Зирниса и то, с каким уважением к Петру Поликарповичу относились люди в погонах. Тяжко вздохнув, он полез наружу.

Внутренний двор управления был широк и выглядел незнакомо и зловеще. Было такое ощущение, будто они вдруг попали в другой город, в иное измерение. Знакомый и такой приятный Иркутск остался очень далеко. И люди здесь другие — чем-то озабоченные, торопливые, со злыми лицами. Где-то там, за тяжёлыми железными воротами, стояла тихая весенняя ночь, а здесь словно бы готовилась войсковая операция, всё было пропитано тревогой и подспудным страхом.

Петра Поликарповича повели куда-то внутрь и вниз. Всё часовые с винтовками и немигающим взглядом застывших глаз, скрипучие железные двери, решётки и крепкие запоры; время от времени слышались отрывистые возгласы: «Стой, кто идёт?» — затем грохот ключей и лязг железных замков; Пётр Поликарпович чувствовал себя всё хуже: голова стала тяжёлой, ноги налились свинцом, хотелось крепко зажмуриться и очутиться в другом месте — пускай даже не дома, а где-нибудь в лесу, в землянке, на болоте, у чёрта на куличках!

— Куда мы идём? — спросил он, когда они остановились у очередной решётки.

— Скоро прибудем, — бесстрастно ответил лейтенант. Он был всё так же мрачен и неразговорчив.

Пётр Поликарпович не выдержал:

— Слышь, браток, я что, арестован?

— Нет, — был ответ.

— А как же это понимать? — развёл он руками. — Куда вы меня ведёте?

— Всё, пришли, — произнёс лейтенант, останавливаясь перед железной дверью, углублённой в глухую каменную стену. Подошёл сбоку боец со связкой ключей и стал возиться с неповоротливым замком.

Дверь наконец открылась.

— Заходите!

Пётр Поликарпович недоверчиво заглянул внутрь.

— Но там никого нет!

— Побудете здесь некоторое время. Вас скоро вызовут. Заходите же! — повторил лейтенант с нажимом.

На негнущихся ногах Пётр Поликарпович шагнул через порог. Дверь с лязгом захлопнулась за спиной. Он обернулся, хотел сказать что-нибудь лейтенанту, но увидел перед собой отвратительную, всю в ржавых потёках железную дверь; по центру её, на уровне живота, был квадратный вырез, закрытый снаружи задвижкой — пресловутая «кормушка». Это была обычная тюремная камера. Деревянный, привинченный к цементному полу стол, табурет и деревянная лежанка у стены. Над дверью тускло светила лампочка. В узком проёме напротив — зарешёченное отверстие для притока воздуха. Более — ничего! Зирнис показывал ему почти такую же камеру два года назад, и тогда она показалась ему вполне сносной, ничуть не страшной. Он даже пошутил, что не прочь провести в ней недельку, отдохнуть от дел. Вспомнив об этой шутке, Пётр Поликарпович качнул головой: вот и исполнилась мечта...

Горькая улыбка едва обозначилась на усталом лице и сразу же погасла. В самом деле, весёлого было мало. Он вспомнил растерянное лицо жены, её испуганные глаза, безвольно опущенные руки. Простоволосая, босая, она стояла среди толпы вооружённых людей в ночной рубашке и даже не замечала этого. Что-то теперь с ней?

Пётр Поликарпович тряхнул головой, решительно направился к двери. Крепко стукнул кулаком.

Квадратное окошечко тут же открылось.

— Чего стучишь? — послышался недовольный голос.

— Скажи там своему начальству, пусть поторопятся. У меня дел много. Некогда тут долго прохлаждаться.

— Нам не положено ничего передавать.

Окошечко захлопнулось. Пётр Поликарпович снова постучал.

— Меня обещали вызвать! Я тут что, до утра сидеть должен?

Ответа не последовало.

— Я товарищу Лупекину буду жаловаться! Если сию же секунду ты не доложишь...

Дверь внезапно распахнулась.

— Ну чего вы кричите? Следователи сейчас все заняты. Лягте, вон, поспите. До утра есть время. А днём тут спать не положено. В шесть часов подъём.

— Какой подъём? Я утром домой поеду. У меня послезавтра областная конференция, доклад нужно готовить. Я писатель. Пеплов! Слыхал о таком?

Красноармеец переступил с ноги на ногу, протяжно вздохнул.

— Слыхал. Вы ещё партизанили. Я вас в нашем клубе как-то видел. Вы там знатно говорили.

— Вот и молодец! А ты что, давно тут служишь?

— Недавно. Вы это... уж потерпите до утра. Нельзя мне с вами тут... У нас с этим строго. Могут и турнуть. Хотите, я вам воды принесу?

— Ну, давай, — сказал Пётр Поликарпович. — А ты не можешь спросить там, чего хотят-то от меня?

— Нет, не могу. На то есть следователи. Тут много разного народу бывает, каждую ночь привозят. Всех сперва допрашивают, а после...

— Что, отпускают? — не выдержал Пётр Поликарпович.



Красноармеец словно бы запнулся, бросил быстрый взгляд и ответил с расстановкой:

— По-всякому бывает. Иных увозят в городскую тюрьму, а в основном все здесь сидят.

— Но кого-то ведь и отпускают? — подсказывал Пётр Поликарпович.

— Этого я не знаю. Откуда мне знать? — буркнул красноармеец. — А воды я сейчас принесу. Это можно...

Через минуту в «кормушке» показалась большая алюминиевая кружка, до краёв наполненная прозрачной, пахнувшей железом, водой.

— Спасибо, браток, — Пётр Поликарпович бережно взял кружку и стал жадно пить. Вода была жёсткая и невкусная, но это уже не имело значения. Вдруг вспомнились партизанские тропы, как они глотали пригоршнями мутную болотную воду, делали в консервных банках мучную болтушку на этой воде и заедали похлёбку диким чесноком без соли и без хлеба. И всё казалось вкусным и единственно правильным. Одно слово, молодость! Всё нипочём, и любое дело по плечу.

Допив воду и стряхнув остатки на цементный пол, Пётр Поликарпович снова постучал в дверь. Та вдруг распахнулась на всю ширину. На пороге стоял незнакомый долговязый парень с оттопыренными ушами, в гимнастёрке и галифе.

— Ну чего тебе неймётся? В карцер захотел? — произнёс грубым голосом. — Сказали сидеть тихо, знай себе, сиди. Ещё раз стукнешь в дверь, я тебе по-другому объясню!

Пётр Поликарпович почувствовал, как зашумело в голове.

— Ты как разговариваешь, щенок! Молокосос! Я тебе в отцы гожусь! Я кровь проливал за советскую власть... контру стрелял вот этой самой рукой, а ты, сопляк...

Парень вдруг шагнул к нему и с силой толкнул раскрытой ладонью в лицо. Голова резко дёрнулась, так что шейные позвонки затрещали, стены рванулись вверх, лампочка вылетела откуда-то из-за спины, и Пётр Поликарпович грохнулся о пол всем весом, со страшной силой ударившись спиной и затылком; в голове ярко вспыхнуло и сразу же погасло. Он погрузился во тьму.

\* \* \*

Ночь ли была, или уже день наступил — было не понять. Пётр Поликарпович вдруг словно бы проснулся. Увидел себя лежащим на полу, сверху жёлто светила лампочка, грязные неровные стены удерживали потолок. Голова раскалывалась от боли. Он пощупал рукой затылок и ощутил что-то густое и липкое. Поднёс пальцы к глазам и увидел тёмную кровь. Сразу вспомнил удар и падение. Всё это было как будто не с ним. Он видел себя со стороны, как делает строгое внушение лопухому парню, а тот вдруг налетает на него с искаженным лицом.

Замок вдруг заскрежетал, забрякал, и дверь раскрылась. В камеру вошёл военный — молодой, подтянутый, с ромбами в петлицах. Лицо хотя и хмурое, но не глупое, не злое — не как у того, который его толкнул.

— Пеплов Пётр Поликарпович? — вежливо спросил военный.

— Да, это я.

— Следуйте за мной!

— Наконец-то. А я уж думал, что про меня все забыли.

В дверном проёме показался красноармеец.

— Руки назад, во время следования не разговаривать, не останавливаться, слушать команды, — проговорил без всякого выражения. — Следуйте за лейтенантом.

Пётр Поликарпович не стал спорить. Сейчас всё разрешится. Главное — покинуть эту жуткую камеру, оказаться в нормальной комнате и объясниться, наконец. Он готов попустить мелочами, не будет требовать излишне сурового наказания ударившего его обалдуя. Пусть он извинится — и дело с концом!

Минуя ряд разделительных решёток, они прошли длинным подземным коридором, поднялись по бетонным ступеням; снова был коридор, затем короткий переход по холлу с окнами, в которые ярко светило утреннее солнце, и ещё одна лестница. Первый этаж, второй, третий... Пётр Поликарпович хотел спросить, который теперь час, но сдержался. Сопровождающие шли в угрюмом молчании, словно на похоронах. Он понял, что спрашивать бесполезно, и стал смотреть себе под ноги. Ноги мягко ступали по красной ковровой дорожке, положенной на деревянный паркет. Точно такая дорожка была в здании крайкома. И коридоры почти такие же — узкие и длинные, с высокими потолками, а по бокам всё двери, двери...

Они вдруг остановились. Пеплов поднял голову и прочитал на табличке: «Ст. следователь, капитан ГБ Чернов А.В».

Лейтенант толкнул дверь.

— Заходите...

Пеплов сделал несколько шагов и остановился. Кабинет показался ему очень уютным, почти домашним. В дальнем конце стоял двухтумбовый стол, за которым сидел человек в военной форме. Он не поднял головы, продолжая что-то писать в раскрытую папку. На стене за ним во всю высоту — портрет Сталина — вождь был в военном френче и стоял чуть боком, опираясь на трость; глаза смотрели вдаль, а лицо такое доброе и немножко грустное. Пётр Поликарпович сразу почувствовал себя легче. Сталин тут, значит, всё хорошо. Мир не перевернулся, а все недоразумения скоро разрешатся. Вот и дерево за окном растёт как ни в чём ни бывало. И нет ему дела ни до камер, ни до страданий людских. Чёрные ветви его раскачиваются на ветру и тянутся к синему небу, к солнцу. День обещал быть ясным, солнечным. Ночной кошмар развеялся, как сон. Скоро он будет дома, и всё пойдёт по-прежнему.

Военный вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на вошедших.

— Пожалуйста, проходите, — живо поднялся и подошёл, протягивая руку для пожатия. — Если не ошибаюсь, Пётр Поликарпович Пеплов, наш знаменитый писатель?

Пётр Поликарпович с внезапно нахлынувшим чувством крепко пожал руку и коротко кивнул.

— Да, это я. А вас как величать?

— Чернов Андрей Викторович, капитан госбезопасности, следователь по особо важным делам. Пожалуйста, садитесь.

Пеплов шагнул к стулу с высокой прямой спинкой и аккуратно сел.

— Что это у вас? — воскликнул следователь чуть не с испугом.

— Где?

— На затылке. Кровь, как будто?

Пеплов поднёс ладонь к голове и ощутил под пальцами коросту.

— Это я в камере упал, затылком ударился о каменный пол. Даже сознание потерял.

— Вот как? Как же это случилось? — следователь быстро прошёл обратно и сел на стул. Он быстро овладел собой, теперь на лице его читались удивление, сочувствие, заинтересованность. Видно было, что это хороший, «человечный» человек.

— Меня охранник толкнул, — сказал Пеплов. — Я его только спросил, почему меня тут держат, а он взял и двинул меня. Я сильно затылком ударился, когда падал. Даже сознание потерял. У меня такое впечатление, что у этого охранника неладно с психикой. Таким не место в органах! Я бы вас просил провести с ним беседу.

Чернов едва заметно улыбнулся и опустил голову.

— Хорошо, я разберусь. Виновный будет наказан, если только он действительно толкнул вас без всякой на то причины.

Пеплов удивлённо воздел брови.

— А вы полагаете, что могла быть причина?

— Я вам безусловно верю, но я должен буду опросить и этого человека, а также свидетелей, если они там были. Вы же понимаете, что мы не можем наказывать человека, не получив исчерпывающих доказательств его вины! — сказав это, следователь посмотрел на Пеплова таким ясным и хорошим взглядом, что тот смутился.

— Да, пожалуй, вы правы. Только не считите, что я как-то особенно настроен против него. Просто обращаю ваше внимание на его странное поведение. Сегодня он меня толкнул, а завтра кого-нибудь другого. Так не годится. Слухи пойдут разные. Разве для этого мы устанавливали советскую власть и прогоняли буржуев?

— Хорошо-хорошо, я всё понял и разберусь, — снова заверил следователь. — Я вас, уважаемый Пётр Поликарпович, вот о чём хотел спросить...

— Да конечно, я вас слушаю.

— Скажите, вы знаете Яковенко Василия Григорьевича?

— Васю Яковенко? — воскликнул Пеплов, подаваясь вперёд. — Конечно знаю, это мой старинный друг, боевой товарищ. Мы с ним вместе партизанили в Канском районе. Он был председателем совета Канской партизанской армии, а я в это время возглавлял совет Баджейской партизанской республики. Под началом Яковенко было тысяч пятнадцать штыков. А сам могучий такой мужик, просто богатырь. Его у нас все очень уважали. Он потом в Москву перебрался, стал наркомом земледелия, членом Центральной ревизионной комиссии, был референтом у Калинина. Замечательный человек! Смелый, отважный, преданный делу революции. Ничего для себя не требовал. Такие как он и победили белогвардейскую сволочь. Жаль, что наши с ним пути разошлись. — Пётр Поликарпович испустил печальный вздох и покачал головой.

Следователь очень внимательно слушал его объяснения, потом вдруг легко поднялся и прошёл к окну, отбросил штору.

— День-то какой, а, Пётр Поликарпович! Лето скоро. Я каждый год езжу на Ангару, на остров Любви. Ставим там шалаш и живём с женой целый месяц! Готовим похлёбку на костре, рыбку ловим, загораем. Вы любите рыбалку? — вдруг обернулся и в упор посмотрел на Пеплова.

Тот растерялся от неожиданности.

— Конечно. Почему же нет? В молодости я рыбачил у себя в деревне, мы кормились рыбой, а потом и в партизанском отряде пригодилось. Знаете ведь как с продуктами было в Гражданскую. А сейчас некогда рыбачить. Всё дела да заботы. Вот, книгу очередную пишу. Голову некогда поднять.

— Как же, знаю. Читал я ваши книги! — усмехнулся следователь.

— А что вы читали?

— Да много чего. И новую рукопись видел, её вчера изъяли у вас при обыске.

Пётр Поликарпович побледнел.

— У меня что, дома был обыск?

— Конечно! Вот тут у меня протокол, — следователь быстро прошёл к столу и взял машинописный лист, стал читать: — При обыске изъяты паспорт, профсоюзный билет, удостоверение члена СП СССР, печатная машинка «Торпедо», дробовое ружьё, рукописи, письма.

Пеплов поднялся на дрожащих ногах.

— Но зачем это? Что вы там искали? Да ещё в моё отсутствие! Я бы вам сам показал всё, что нужно! Вы наверняка перепугали мою жену. Ваш сотрудник сказал вчера, что меня пригласили для беседы и сразу же отпустят. Объясните же наконец, что происходит!

Следователь выслушал эту тираду с полным самообладанием, на лице его играла хитрая улыбка.

— Успокойтесь, пожалуйста! — почти ласково произнёс он. — Я сейчас задам вам несколько вопросов, и если вы скажете мне правду, то можете быть свободны, поедете домой, к своей жене и дочурке. И рукописи вам вернут. Вы согласны на такой вариант?

— Да, чёрт возьми, конечно я согласен! Задавайте свои вопросы, хотя я не понимаю, зачем понадобился весь этот цирк.

— Ну, цирк или не цирк, это пока ещё рано говорить. А вот вы вспомните, когда вы в последний раз виделись с Яковенко?

— Тоже спросили. Я и не припомню, когда его видел. В Москве мы в последний раз виделись, если мне память не изменяет, года четыре назад, да и то это было мельком. Он ведь человек занятой, да и мне некогда было. Мы тогда с Алексеем Максимовичем затевали новую серию книг...

Следователь сделал нетерпеливый жест:

— Погодите, о Горьком сейчас не надо. Вы лучше о вашей беседе с Яковенко расскажите, и как можно подробнее.

— Да нечего мне рассказывать! Мы посидели в гостинице, выпили по стопке, как водится, помянули боевых товарищей, а потом разошлись. А в чём дело? Почему такой интерес к Василию Григорьевичу? С ним что-нибудь случилось?

— Случилось, — невозмутимо ответил следователь. — Девятого февраля гражданин Яковенко арестован, изобличён как враг народа и уже дал признательные показания.

— Василий Григорьевич арестован? Этого не может быть! Вы что-то путаете!

— Вы присядьте, — с нажимом произнёс следователь. — Я вам сообщаю факты. У меня имеется копия протокола допроса, в котором гражданин Яковенко признаётся в террористической деятельности и называет ряд лиц, причастных к созданию контрреволюционной повстанческой организации в Москве, Красноярске, Канске, Иркутске и в других городах. Под руководством двурушника Бухарина создана целая сеть по всей стране, в это гнусное дело вовлечены сотни людей. И вы в их числе.

— Да вы с ума сошли! Какая сеть? Зачем ему это надо было? Василия Григорьевича лично Ленин знал! В двадцать первом году Владимир Ильич подписал декрет о его назначении наркомом земледелия. Яковенко кровь проливал за советскую власть!

Следователь согласно кивнул.

— Да, конечно, никто с этим не спорит — проливал кровь и занимал высокие посты. Но речь сейчас, в общем-то, не о нём, а речь теперь идёт о вас, Пётр Поли-

карпович! Показания о вашем участии в контрреволюционном заговоре дал ведь не только Яковенко, но и другие участники заговора.

— Другие?... Очень интересно. И кто же это?

Следователь взял со стола ещё одну бумагу и стал читать:

— Лобов Фёдор Антонович, Ефим Захарович Рудаков, Николай Михайлович Буда, Феликс Афанасьевич Астафьев, Лавров Вадим Михайлович, Неупокоев Виктор Поликарпович, Малышев Николай Иванович, Жилинский Владимир Иванович, есть ещё ряд лиц, с которыми сейчас работают следователи. Все они указывают на вас, Пётр Поликарпович, — опустив лист, следователь равнодушно посмотрел на Пеплова. — Что вы на это скажете?

— Я скажу, что это полный бред! Я почти никого не знаю из тех, кого вы сейчас назвали. Да и зачем мне участвовать в каких-то там заговорах? Или вы полагаете, что я сошёл с ума?

— Я пока что ничего не утверждаю, а просто сообщаю о признаниях ваших знакомых. Быть может, они вас оговаривают. Это не исключено. Но чтобы доказать факт оговора, вы должны чистосердечно рассказать всё, что вам известно об иркутском центре.

— Но я ничего не знаю ни о каком центре! — снова вспылил Пеплов. — Как я могу говорить о том, чего не знаю?

Следователь обошёл стол и встал перед ним. Он по-прежнему был очень спокоен и по-хорошему рассудителен.

— Ну допустим, — сказал он, глядя Пеплову в глаза, — я вам верю, и вы действительно ни в чём не виноваты. Но почему тогда на вас указывают сразу восемь человек? Все они уже сознались в контрреволюционной деятельности и все называют вас активным участником организации, и даже — одним из её лидеров! Как вы можете это объяснить?

Пётр Поликарпович пожал плечами с видом полной растерянности.

— Я уже сказал, что всё это полная чушь! Из восьми вами названных людей, я знаю лишь троих, да и с ними виделся очень давно.

— Всех вам знать не обязательно. Ведь не обязан же знать руководитель всех своих подчинённых, особенно, когда их так много. А вот руководителя знают все. Мне ли вам это объяснять, уважаемый Пётр Поликарпович!

— Тогда я не знаю, что вам сказать. Это или провокация или...

— Ну же, договаривайте!

— Или и на самом деле существует антисоветский заговор, а меня решили опорочить таким вот подлым образом.

— Во-от! — удовлетворённо протянул следователь. — Вы уже признаёте, что заговор возможен. Так помогите же нам! Назовите всех тех, кто мог участвовать в антисоветском заговоре, и мы выявим всех этих гадов, а ваше доброе имя очистим от наветов.

— Да и я бы рад их назвать, но я действительно ничего не знаю! Я уже сказал, что знаком лишь с Яковенко Василием Григорьевичем, а ещё я знаю Лаврова Вадима Михайловича, он работает референтом в обкоме, я видел его раза три всего, да и то мельком. Ещё я знаю Лобова Фёдора Антоновича. Но с ним я давно потерял всякую связь. Году, примерно, в двадцать пятом, мы с ним встречались в Красноярске, а с тех пор — ни слуху ни духу. Понятия не имею, что с ним теперь.

— Лобов арестован и также дал признательные показания. Он показал среди прочего, что завербовал вас в эсеровскую повстанческую организацию. И именно в Красноярске. Ведь вы состояли в партии эсэров?

— Да вы что! Я никогда не состоял ни в каких партиях!

— Отчего же? — просто спросил следователь. — Тогда это было модно. Все где-нибудь да числились.

— Когда я воевал с Колчаком, мне некогда было думать об этом. А потом уже и не нужно. Я семь лет носил винтовку, повсюду уничтожал врагов советской власти. И мне нет нужды доказывать свою преданность делу социализма. Понимаете вы это? Я с оружием в руках защищал советскую власть! Какие ещё могут ко мне быть вопросы?

— Люди меняются с годами. Вы не хуже меня знаете, что стало с этим недоноском Троцким и его приспешниками. Горького подло отравили. Сергея Мироновича Кирова злодейски убили. И даже на товарища Сталина подняли руку. Но мы эту руку вырвем с корнем! Мы не позволим всякой сволочи вставать у нас на пути!

— Да, конечно, вы всё правильно говорите! Но я-то тут при чём? — воскликнул Пётр Поликарпович. — Я тоже возмущён до глубины души и если потребуются, снова возьму в руки винтовку и стану бороться с врагами революции! Только покажите мне их!

Следователь пристально посмотрел на него.

— Вы сейчас искренне это говорите?

— Конечно! Покажите мне врага, и я его уничтожу! Рука не дрогнет.

Следователь опустил голову и едва заметно усмехнулся.

— М-да... Ваш соратник по писательскому цеху почти то же самое говорил.

— Вы об Алексее Максимовиче?

— О нём. Если враг не сдаётся, то его уничтожают. Кажется, так он однажды выразился?

— Совершенно верно.

— Вот за это его и убили агенты мировой буржуазии! — следователь помолчал несколько секунд, потом круто повернулся и пошёл на своё место. Усевшись на стул, решительно подвинул к себе бумаги. — Итак, я вас слушаю.

— Но я не знаю, что сказать!

— Но как же? Вы — известный писатель, инженер человеческих душ. У вас зоркий взгляд и равнодушное, отзывчивое сердце. Неужели вы не замечали вокруг себя ничего подозрительного? Кругом вас плетутся заговоры, совершаются убийства лучших людей, а вы-таки ничего не знали? Как же это может быть? Неужели вы так близоруки? Так может, вы занялись не своим делом, а быть писателем — не ваш удел?

Пётр Поликарпович пожал плечами и отвернулся.

Следователь поджал губы.

— Очень жаль. А мы очень рассчитывали на вашу откровенность. Но я вижу, что мы говорим на разных языках, — взяв ручку, он стал что-то быстро записывать в лежащий перед ним бланк.

Пётр Поликарпович пытался рассмотреть, что он там пишет, но ничего не мог разобрать. Зрение было уже не то. Двадцать лет назад он видел все звёзды в ночном небе, а теперь не сразу может разглядеть человека, стоящего в десяти шагах. Годы берут своё. Да и кропотливая работа над рукописями тоже сказывается. Пять полновесных книг — не шутка! Вот и молодых авторов приходится регулярно читать. Как провели краевую конференцию пролетарских писателей, так просто спасу нет — завалили редакцию романами о домнах и тракторах, о колосках и заре новой счастливой жизни. Всё это Пётр Поликарпович внимательно читал и,



по возможности, поправлял. Ему ведь тоже в своё время помогали. Настала пора отдавать долги.

Следователь поставил подпись в конце листа и поднял голову.

— Я вынужден взять вас под стражу, уважаемый Пётр Поликарпович, — сообщил буднично. — До выяснения всех обстоятельств дела.

Пётр Поликарпович почувствовал, как кровь отхлынула от лица, в голове зашумело. Ничего подобного он не ожидал.

— Но погодите! Мне обещали, что меня отпустят! Зачем же меня задерживать? Я вам честно сказал всё, что знал.

Следователь сохранял невозмутимость, говорил деловито, как о чём-то будничном:

— Да, мы хотели вас отпустить, если только вы ответите на все вопросы. Но ведь вы ничего не рассказали по существу дела.

— Но я действительно ничего не знаю! Зачем же я буду выдумывать?

Следователь нажал кнопку под столом, в кабинет шагнул конвоир с винтовкой.

— Увести! — последовал приказ.

Пётр Поликарпович поднялся с растерянным видом.

— Но позвольте, на каком основании вы меня задерживаете? Ведь я никуда не денусь! Если понадобится, я приду к вам по первому требованию. Меня дома жена ждёт. Дочери два годика. У меня на сегодня несколько встреч запланировано. Да меня половина города знает!

— То-то и плохо, что знают. Вас могут убить, похитить. Мы не можем этого допустить.

— Да что это за бред? Кто меня станет убивать? Когда я за советскую власть воевал, меня не убили. А тут, в мирное время, и вдруг убьют...

— Не надо так часто поминать советскую власть и былые заслуги, — холодно заметил следователь. — Мы все за неё боролись, только каждый на своём участке фронта. Вы лучше припомните все свои контакты с врагами советской власти. И поподробнее. От этого зависит ваша судьба. Мы ещё с вами поговорим об этом. Всё, увести!

Конвоир взял винтовку наизготовку.

— Руки за спину! Пошёл на выход!

— Вы совершаете чудовищную ошибку! Я действительно ничего не знаю!

— Все поначалу так говорят, — невозмутимо ответил следователь. — А потом посидят с недельку, подумают-подумают и начинают понемногу вспоминать. И вы тоже вспомните, Пётр Поликарпович. Советую вам не запирайтесь. Это не в ваших интересах. — И глянул строго на конвоира: — Забирай!

Пётр Поликарпович не помнил, как вышел из кабинета. Он словно оглох и ослеп, не понимал, что с ним делается. Знал лишь, что случилось что-то страшное, непоправимое. Его словно бы придавило каменной плитой, он сгорбился, разом постарел. Каждый шаг давался ему с огромным усилием. Временами ему чудилось, что он видит жуткий сон и вот-вот проснётся! Но сон всё длился и длился, а он брёл и брёл куда-то по тёмным коридорам. Всё вниз и вниз — в чистилище.

\* \* \*

В это время молодая женщина торопливо поднималась по мраморным ступенькам широкой лестницы иркутского Дома литераторов. Лицо её было бледно, кое-как собранные в пучок волосы выбились из под шляпки, и двигалась она так,



словно ничего не видела перед собой. Она распахнула высокую деревянную дверь с резными стеклянными вставками и вошла внутрь.

— Михаил Михайлович у себя? — спросила придушённым голосом и, не дожидаясь ответа, проследовала через прихожую к кабинету секретаря Иркутской краевой писательской организации. Вахтёрша решительно поднялась со стула, глаза её сверкнули.

— Михаил Михайлович занят, у него совещание!

Но женщина уже открывала тяжёлую трёхметровую дверь.

В кабинете находились несколько человек; за столом, напротив входа и спиной к высоченному окну, восседал хозяин кабинета — полный большоголовый человек с крупным волевым лицом. Справа и слева сидело ещё трое или четверо — на стульях и на низеньком диванчике возле стены. Все они разом повернулись к вошедшей и замерли, словно испугавшись. Среди воцарившейся тишины женщина сделала несколько шагов по паркету и остановилась, хотела что-то сказать, но грудь её сотрясли конвульсии, она прижала к лицу ладони и разрыдалась.

Первым опомнился хозяин кабинета.

— Ну что ты, Светланочка, не надо так убиваться. Всё уладится, вот увидишь, не надо так, пожалей себя! — он глянул на товарищей, но они сидели с каменными лицами, никто не проронил ни слова. Тогда он подвёл плачущую женщину к дивану и осторожно усадил на самый край.

— Выпей водички, на-ка вот, возьми. Давай-давай, сделай несколько глотков, тебе полегчает.

Женщина взяла трясущейся рукой гранёный стакан и поднесла к губам. Вода пролилась ей на колени, она стала машинально стряхивать капли свободной рукой, а из глаз всё текли и текли слёзы. Двое из присутствующих одновременно поднялись.

— Михаил Михайлович, мы пойдём. Надо ещё готовиться к конференции, — и торопливо вышли один за другим.

В кабинете остались трое: третьим был черноволосый мужчина с большими грустными глазами. Он молча смотрел на плачущую женщину и думал о своём. Потом вздохнул и перевёл взгляд на товарища:

— Миша, нужно что-то делать. Надо вызволять Петра. Звони в Серый дом, пока ещё не поздно.

Хозяин кабинета молча прошёл к своему столу, сел в чёрное кожаное кресло.

— Не знаю даже, — пробормотал неуверенно. — Может, всё ещё обойдётся?

Женщина всхлипнула, подняла заплаканные глаза.

— Нас с дочерью из дома выгоняют. Велели выметаться из квартиры в двадцать четыре часа. А там все наши вещи, одежда, мебель... Куда мы пойдём?

Мужчины казались поражёнными таким известием.

— Из дома выгоняют? — переспросил один.

— Но как же? — воскликнул другой. — Какое они имеют право? Светлана, может, ты чего-то не так поняла?

— Они весь дом перерыли, подушки штыком кололи, фарфоровые чашки побили, прямо об пол. Зеркало в прихожей треснуло. Дочку напугали до смерти, я её едва успокоила. Оставила пока у соседки. А сама вот к вам... Что же нам делать? Что с Петей? Где он? Я должна его видеть!

Хозяин кабинета помедлил секунду, потом взял телефонную трубку со стоящего на краю стола чёрного аппарата.

— Приёмную облисполкома мне, да, Якова Назарыча! — отнял трубку от уха и произнёс вполголоса: — С Пахомовым попробую поговорить, он наверняка уже в курсе. Поможет! — и снова в телефон: — Да. Это Басов, из писательской организации. Я бы хотел поговорить с Яковом Назарычем... Что? Очень занят? Совещание? Только что началось?.. Ну да, конечно, я понимаю. Да... да... Но вы ему передайте, пожалуйста, что я звонил и очень хотел переговорить. Я недолго отниму, всего пару минут. Скажите, что дело касается известного писателя Петра Поликарповича Пеплова... да, он арестован сегодня ночью. Жена его сидит тут у меня, плачет. Её из дома гонят с маленьким ребёнком! Общественность волнуется. Да, спасибо, я буду ждать! — И он положил трубку, некоторое время придавливал её рукой, словно пытался что-то сообразить. Потом отнял руку и произнёс раздумчиво:

— Дела-а-а!

Его товарищ пошевелился.

— В обком надо звонить, Степану! Миша, давай звони прямо сейчас. Время дорого.

Тот снова взял трубку.

— Алло, девушка...

Последовал довольно путанный диалог.

Трубка легла обратно на рычаги.

— Тоже очень занят, не может принять, — сказал Басов и медленно сел.

В кабинете стало тихо, лишь с улицы доносился слабый шелест — дерево раскачивалось на холодном ветру, поскрипывая сухими ветками.

— Но что же нам делать? — воскликнула женщина. — Где Петя? Я должна его увидеть!

— Пётр Поликарпович сейчас находится в Управлении НКВД, на Литвинова, — тихо проговорил Басов. — Мне уже звонили оттуда. Сказали, что он арестован по подозрению в принадлежности к правотроцкистской контрреволюционной организации и что уже дал признательные показания...

Женщина отшатнулась.

— Какие показания? Вы что такое говорите? Этого не может быть! Это всё враньё!

Басов опустил голову.

— Я и сам этому не верю. Пётр Поликарпович не может быть замешан ни в чём таком, мы все это прекрасно знаем. Но они сказали, что он уже признался... И ещё... в два часа к нам прибудет их уполномоченный для важного сообщения. Мы должны собрать правление к этому времени. Думаю, многое разъяснится. Я сейчас попрошу секретаршу, чтобы она оповестила всех писателей.

— А я? — спросила женщина. — Что мне делать?

Басов посмотрел на товарища, но тот отвёл взгляд.

— Ты, Светлана, тоже приходи. На правление мы тебя пригласить не сможем, но ты посиди в приёмной. Я постараюсь узнать как можно больше. Если удастся, переговоришь с уполномоченным. Это будет лучше всего. Ну и Пахомову я ещё буду звонить. А пока иди домой, отдохни. На тебе лица нет. Тебе сейчас нужно быть сильной, у тебя дочь на руках.

Женщина неуверенно поднялась.

— Вы так считаете? Хорошо, я пойду домой. Который теперь час?

— Половина одиннадцатого.

Женщина неуверенно пошла к двери. На пороге обернулась, губы её снова задрожали.

— Михаил Михайлович, мне страшно! Что с нами будет?

Басов стиснул зубы и проговорил как бы через силу:

— Ничего, прорвёмся. Не впервой.

Женщина вышла, а двое писателей остались в кабинете. Один стоял возле стола и пристально смотрел на захлопнувшуюся дверь, другой сидел, понурившись, на низеньком диванчике. Каждый думал о своём, и думы эти были невеселы.

Наконец Басов словно бы очнулся. Посмотрел на товарища.

— Исаак, ты что-нибудь понимаешь? Что вообще происходит?

Сидевший поднял голову и глянул большими печальными глазами.

— Плохо наше дело, скоро и нам всем крышка! — проговорил тихим голосом. — Прихлопнут, только мокренько станет.

— Ну уж, скажешь тоже... — через силу возразил Басов. — С чего это нам крышка? Мы ни в чём не виноваты.

— А Пётр, по-твоему, виноват? Ты же сам знаешь, что он самый правове́рный из нас! Если и есть среди писателей по-настоящему преданный революции человек, так это он. Да и по книгам его разве этого не видеть?

Басов промолчал, лишь наклонил голову. Возразить было нечего.

Гольдберг продолжил:

— А в Москве что делается? Как убили Кирова, так все словно с цепи сорвались! Бухарин арестован! Это как понимать? Зиновьева с Каменевым расстреляли! Пятакова убили. Нашего Мартемьяна Рютина прикончили! Ивана Никитича Смирнова — этого чистейшего человека! — расстреляли год назад. А ведь он командовал знаменитой Пятой армией, освободившей Сибирь от Колчака, его у нас называли сибирским Лениным! В двадцать втором году его прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост достался Сталину. А теперь Смирнова обвиняют в заговоре и убийстве Кирова. Но ведь он в тюрьме сидел с тридцать второго, а до этого три года был в ссылке в Закавказье! Как же он мог быть заговорщиком? Ведь это же полная чушь! Серго Орджоникидзе застрелился. Томский с собой покончил. И всё им мало! Троцкистов везде ищут. Троцкого давно нет в стране, а они никак не уймутся. А Троцкий, между прочим, был ближайшим соратником Ленина. Кому Ильич доверил создание Красной Армии? И где в это время был Сталин?

Басов вскинул голову.

— Ты потише говори! Секретарша услышит.

Гольдберг посмотрел на дверь.

— А ты что, её опасается?

Басов усмехнулся.

— Ты думал, органы пришлют нам простую стенографистку?

— Так она из органов?

— Нет, не из органов! Но — по рекомендации. Понимаешь, что это значит? Что я тебе объяснять всё должен?

Гольдберг лишь покачал головой.

— Дожили, уже в своём кругу нельзя вслух говорить.

— Говорить-то можно, только не обо всём, — заметил Басов. — Неделию назад в Москве арестован Ягода. Можешь ты это себе представить? Самый главный чекист оказался врагом советской власти! И теперь можно всего ожидать. — Он подвинул к себе телефон, стал крутить диск.

Гольдберг медленно поднялся. Ему шёл уже шестой десяток, волосы начали седесть, на лбу явственно обозначилась залысина, кожа на лице одрябля, глаза глядели устало, на всём облике была печать глубокой усталости, какой-то обречённости.

— Пойду я. У меня творческий отчёт назначен на вторник. Готовиться надо, да нет никакого настроения. Как подумаешь о том, что творится в стране, так не хочется ничего...

— А ты не думай! Поздно нам уже думать. Мы своё дело сделали. Теперь другие пусть голову ломают.

Гольдберг остановился, постоял несколько секунд с задумчивым видом, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой и вышел.

— Не забудь к двум прийти! — крикнул вдогонку Басов. — Явка членов правления обязательна!

— Приду... — слабо донеслось из-за дверей.

Басов уже не слушал. Он яростно крутил телефонный диск, будто от этого зависела его жизнь.

\* \* \*

В два часа пополудни правление писательской организации собралось в полном составе. Всего было восемь человек — пятеро членов правления и три кандидата. Ждали уполномоченного, тихо переговаривались между собой и бросали тревожные взгляды на резную дубовую дверь. Наконец, из приёмной донёсся шум, хлопнула входная стеклянная дверь, радостно вскрикнула секретарша... Басов решительно поднялся и поспешил навстречу важному гостю.

— Пожалуйста, проходите, все уже собрались, ждём вас! — говорил он приятным голосом, обводя рукой присутствующих. — Вот кресло для вас приготовили, вам тут удобно будет.

Черноволосый плотный мужчина лет тридцати — коренастый, большеголовый, с тупым и самодовольным выражением лица — занял предложенное место. На нём была энкавэдэшная форма — гимнастёрка, галифе, сапоги, на голове — фуражка со звёздочкой. Всё это внушало если не трепет, то уважение. И настраивало на предельно серьёзный лад. Впрочем, все заранее были настроены. Военная форма в ту пору внушала трепет любому гражданину СССР.

Гость обвёл присутствующих строгим взглядом и заговорил веско и внушительно:

— Капитан госбезопасности Рождественский. Руководство областного управления НКВД поручило мне провести среди вас разъяснительную беседу. В рядах вашей писательской организации выявлен контрреволюционный заговор. Вчера арестован всем вам хорошо известный писатель и общественный деятель, а в действительности, отлично законспирированный враг советской власти — Пеплов Пётр Поликарпович. Вот что вы сейчас можете мне о нём рассказать? — И он выкатил на присутствующих свои совиные глаза.

Писатели замерли от неожиданности. Отчего-то всем стало страшно. То ли это капитан так на них смотрел, что мороз по коже продирает, то ли в голосе у него было что-то особенное, а может, в воздухе витало нечто такое, чему нет названия, но что все безотчётно чувствуют — в такие-то моменты решается судьба и всё висит на волоске.

Видя, что никто не расположен отвечать, капитан перевёл взгляд на хозяина кабинета.

— Товарищ Басов, если не ошибаюсь?

— Да, это я, — с готовностью кивнул тот.

— Что вы можете сказать о Пеплове, и вообще, — он сделал широкий жест, — о настроениях в подведомственной вам писательской организации? Предупреждаю, что я буду беседовать с каждым из вас персонально, а пока что провожу общую разведку боем, так сказать. Итак, я вас слушаю! Советую говорить всё как есть, начистоту.

Басов окончательно растерялся. Посмотрел на притихших товарищей, те сидели, склонив головы и, наверное, ругали себя за то, что пришли на это чёртово правление.

Басов откашлялся.

— Так что, товарищ уполномоченный, настроение у всех нормальное, боевое! Через три недели у нас будет общее собрание, приём новых членов...

— Да я не о том! — досадливо перебил уполномоченный. — Какие ещё члены? Вы хоть в курсе, что в мире происходит? Мировая буржуазия идёт на нас войной, мы окружены врагами со всех сторон! И сразу зашевелилась разная нечисть в нашей стране, подняли голову недобитые троцкисты и зиновьевцы, вся эта шваль. Но наша партия под руководством товарища Сталина ведёт бескомпромиссную войну с предателями и двурушниками. Только что в Москве завершился процесс по делу предателей троцкистов. Все эти гады расстреляны, но дело на этом не закончилось. Рассадники заразы выявлены во всех регионах, и у нас тоже окопались враги! Для усиления борьбы с троцкистскими диверсантами и шпионами в Иркутскую область направлен негибимый борец с контрой товарищ Лупекин. Перед органами поставлена задача в кратчайшие сроки раскрыть все центры заговорщиков, выявить и уничтожить врагов советской власти. И мы это сделаем, чего бы нам это ни стоило! Итак, я вас ещё раз спрашиваю: каковы на сегодняшний день настроения в писательской организации! И как так получилось, что вы ничего не знали о деятельности самого видного вашего члена? Или вы обо всём знали, но почему-то молчали? Проявили политическую близорукость!

— Но погодите, — воскликнул Басов. Лицо его покраснело, голос прерывался. — Почему вы называете Петра Поликарповича врагом советской власти? Это очень достойный человек, его биография всем нам хорошо известна. В гражданскую войну он воевал в партизанском отряде, занимал руководящие посты. Потом был на партийной работе, овладел профессией писателя и написал несколько очень нужных и правильных книг. Алексей Максимович Горький его горячо поддерживал. Вот Исаак Григорьевич Гольдберг может всё это подтвердить, он тоже состоял в дружеской переписке с Алексеем Максимовичем. Или вы считаете, что Горький ошибался?

Уполномоченный вдруг поднялся с места, лицо его сделалось свинцовым.

— Товарищ Басов, вы занимаетесь демагогией! — он поднял руку и рубанул воздух. — Вы что, ставите под сомнение работу наших доблестных органов госбезопасности? Мы что, по-вашему, в кошки-мышки играем? Весь мир идёт против нас, а вы тут сидите и ничего не видите у себя под носом! Враг затаился и ждёт удобного момента для атаки, но мы нанесём ему упреждающий удар! Вырвем его жало, растопчем гадину! Уничтожим всех этих недоносков, вырвем с корнем!..

Присутствующие со страхом смотрели на перекосившееся лицо уполномоченного. Тот обводил их гневным взглядом и, казалось, готов был броситься с кулаками. Басов стоял с открытым ртом, горло его перехватило спазмом, он силился что-то сказать и не мог.

— Даю вам срок ровно сутки! — чуть успокоившись, заявил уполномоченный. — Чтобы завтра к двенадцати был готов подробный отчёт о настроениях в писательской организации, а также я жду характеристику на этого двурушника Пеплова. Только не надо писать о Горьком и прочую дребедень. Меня интересуют факты его подрывной деятельности. Вам всё понятно?

Басов медленно кивнул. Остальные не проронили ни слова, сидели в застывших позах.

В мёртвой тишине уполномоченный вышел из кабинета. Слышно было, как он, тяжело бухая сапогами, прошёл через приёмную, затем звякнула стеклянная дверь, и всё смолкло.

Басов видел через окно, как уполномоченный по-хозяйски сел в чёрную легковушку, и та покатила, пустив за собой сизый дым.

Оторвавшись от окна, он посмотрел на товарищей.

— Что будем делать, господа писатели?

Никто ему не ответил. Лишь Гольдберг поднял голову.

— Петра Поликарповича нужно выручать.

— Это понятно, — ответил Басов. — Но как? Что я для этого должен сделать?

— Напишем объективную характеристику, как оно есть. Я не верю, что он двурушник и заговорщик. Тут какая-то ошибка, — сказал Гольдберг.

— Хорошо, — удовлетворённо протянул Басов. — Какие ещё будут мнения? Все с этим согласны?

Ответа не последовало. Кто-то отвернулся, иные опустили голову.

— Так что мне писать про Пеплова? О настроениях в писательской организации?

— Пиши одну лишь правду, — снова сказал Гольдберг и поднялся. — Пойду я, дел много.

Остальные тоже вдруг зашевелились и торопливо пошли к выходу, будто надеясь, что всё то плохое, что они здесь услышали, здесь же и останется. А там, снаружи, снова всё станет ясно и хорошо.

Басов смотрел, как они покидают кабинет, и в глазах его появилось тоскливое выражение.

— Николай, остайся! — произнёс в спину молодому крепкому мужчине. Тот оглянулся на полшаге и пробормотал едва слышно:

— Я потом зайду, мне надо сейчас в одно место... — И торопливо вышел.

Басов постоял немного, потом сел в своё удобное кресло и подвинул к себе чистый лист бумаги. Лицо было мрачно, но движения чётки и уверенны. Услышав шорох, поднял голову. Перед ним стояла жена Пеплова.

— Михаил Михайлович, — одними губами произнесла она, — что же это?

Басов молча смотрел на её заплаканное лицо и не мог выдавить из себя ни слова. Хотелось как-то утешить убитую горем женщину, но утешить её было нечем. Он это знал, и она это знала. Она слышала угрозы уполномоченного, когда сидела в приёмной. И когда уполномоченный уходил, не решилась обратиться к нему — несмотря на всё своё отчаяние.

— Светлана Александровна, — наконец сказал Басов, — я сделаю всё от меня зависящее, обещаю тебе! Сейчас я напишу характеристику на Петра Поликарповича, напишу всё как есть, что он был достойный, честный человек и замечательный писатель. Но ты сама видишь, от нас теперь мало что зависит. Этот капитан, который тут был... я впервые вижу таких людей! Как он с нами разговаривал! Такое впечатление, что он прилетел к нам откуда-нибудь с войны, прямо с передовой! Только ведь нет никакой войны. Или я чего-то не понимаю?



Женщина смотрела на Басова сквозь слёзы, руки её дрожали, лицо осунувшееся, в безобразных бурых пятнах. Это была уже не та жизнерадостная красавица, которую он видел всего две недели назад. Теперь она походила на старуху — измождённую, убитую горем, потерянную.

Басов вышел из-за стола, взял женщину за руку.

— Светлана, пойдём, я тебя провожу до дому. Посмотрим, что там у вас делается. А характеристику я вечером напишу. Это у меня быстро.

Женщина послушно встала и, тяжело ступая, вышла из кабинета.

\* \* \*

— Заходи!

Конвоир толкнул обитую чёрной кожей дверь и отступил в сторону. Пётр Поликарпович перешагнул через порог.

— Проходи сюда, да поживей! — скомандовал следователь, приподняв голову.

Пётр Поликарпович сделал несколько шагов и опустился на стул. Голова кружилась, сердце гулко стучало, ему было нехорошо.

— Пеплов Пётр Поликарпович? — спросил следователь.

— Да, это я.

— Капитан Рождественский, — отчеканил следователь. — Буду вести ваше дело. Хочу сразу предупредить: надо говорить всё, как есть, это в ваших интересах. — И он грозно глянул на подследственного.

— Мне нечего скрывать, — ответил Пеплов. — Я ни в чём не виноват перед советской властью.

— Виноваты или нет, это не вы будете решать. Ваше дело — честно и как можно подробнее отвечать на все мои вопросы. Итак... — он подвинул к себе бланк протокола допроса и, взявши ручку, продекламировал: — Имя, фамилия, отчество.

Пётр Поликарпович ответил.

— Год и место рождения?

— Родился тринадцатого января восемьсот девяносто второго года в селе Перовское Канского округа Енисейской губернии.

— Социальное происхождение?

— Из крестьян. До четырнадцатого года помогал отцу по хозяйству, затем был призван на военную службу.

— Ага, значит, в царской армии воевали? Царю служили?

— Воевал с немцами. Как бы я мог отказаться? В девятьсот четырнадцатом мне уже двадцать два стукнуло. Забрили лоб и отправили на фронт. У нас в селе всех парней забрали. Почти никто обратно не вернулся.

— Ну хорошо. А потом чем занимались?

— В семнадцатом, когда произошла революция, я домой вернулся. Стал агитировать за советскую власть. Мне поверили. Избрали в ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Сибири. И только мы начали работу, как на нас Колчак пошёл. Пришлось снова брать в руки винтовку. Защищали Белый дом в Иркутске в декабре семнадцатого. Был ранен, ушёл в тайгу вместе со всеми... из тех, кто тогда жив остался.

— А почему к Колчаку не перешли? Ведь он вам близок.

Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.



— Почему вы так решили? Меня бы сразу расстреляли! Ведь я же воевал против них!

— Ну, это мы ещё проверим, как ты там воевал. Теперь все герои, как я посмотрю... В двадцатые годы что делал?

— Учился. Сначала в Томском университете, потом в Красноярском институте народного образования. Закончил институт в двадцать третьем году и был направлен в Енисейск. Был инструктором союза кооператоров, потом работал завучем красноярского детдома водников. Женился там. Жена работала учительницей, помогала мне.

— Соучастница, стало быть.

— Не смейте так говорить о ней! Ведь вы ничего не знаете. Когда я был в партизанах, вы ещё ребёнком были. А она тоже в партизанах была, если хотите знать. Её белогвардейцы чуть не расстреляли в девятнадцатом.

Рождественский откинулся на спинку.

— Вон как ты заговорил! Ну-ну! — он вдруг поднялся и заходил по кабинету. — Посмотрим, как ты запоешь, когда мы на очную ставку тебя поставим с твоей сообщницей!

Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.

— Какой ещё сообщницей?

— Женой твоей — Лепинской Светланой Александровной! Всё мне выложишь! Как на блюдечке.

Пеплов поднялся на вдруг ослабевших ногах.

— Товарищ следователь...

— Гражданин!

— Хорошо, пусть будет гражданин... Пожалуйста, не надо сюда жену. У нас дочь маленькая! И вообще, она тут ни при чём...

Следователь вдруг надвинулся на Пеплова.

— А кто при чём? Ну? Быстро говори!

Пеплов отшатнулся, силился что-то сказать, губы его подёргивались.

— Я... я не знаю, что говорить.

— О сообщниках рассказывай, всё как есть! Ты должен назвать пятьдесят членов вашей организации. Говори быстро, я слушаю!

Пеплов уронил голову.

— Я не понимаю вас. О какой организации вы всё время спрашиваете?

— Яковенко знаешь?

— Я уже говорил на первом допросе, мы с ним воевали.

— Астафьева знаешь?

— Знаю, он тоже был в партизанском отряде.

— Рудаков, Лобов, Буда, Неупокоев, Жилинский, Малышев...

Фамилии следовали одна за другой. Пётр Поликарпович машинально кивал, подтверждая, что с одним он был в отряде, с другим познакомился в Красноярске, а третьего случайно встретил в Иркутске. Само по себе знакомство не было преступлением. Да и зачем отрицать то, что и так всем известно?

— Хорошо, так и запишем, — проговорил следователь, обмакивая ручку в чернильницу. — Гражданин Пеплов подтвердил соучастие в заговоре вышеназванных лиц.

— Но я ничего такого не подтверждал! — вскрикнул Пеплов. — Я только сказал, что знаю этих людей, и больше ничего. Но ведь это не преступление!

Следователь холодно посмотрел него.

— Будешь запираяться, мы из тебя кишки вымотаем, и всю твою подлую душонку. Понял? А о жене твоей я ещё подумаю. Арестовать недолго! — и он стал что-то быстро писать в протокол. Пётр Поликарпович попытался рассмотреть, что он там пишет, но разобрать ничего было нельзя. Он устало отвернулся, стал смотреть в окно. Там светило солнце, в синем небе застыли невесомые облака. «Вот бы улететь сейчас с этим облаком! — подумалось. — Раствориться в синеве без остатка». В сущности, жизнь прожита. Можно спокойно и умереть. Но спокойно умереть уже не получится. Смерть ведь бывает разная. Можно пасть смертью храбрых за правое дело и на виду у всех, а можно быть оплётанным, оболганным и растоптанным, покорившись дьявольской силе... Нет, этого нельзя допустить. Надо бороться, чего бы это ни стоило.

Приняв такое решение, Пётр Поликарпович почувствовал себя увереннее. Глянул искоса на следователя. Тот всё писал, царапая стальным пером рыхлую бумагу. «Чего он там пишет?..»

— На, подписывай! — следователь подвинул на край стола несколько жёлтых листов. — Вот тебе ручка.

Пётр Поликарпович взял листы. На первом листе сверху было написано «Протокол допроса». Он быстро пробежал глазами анкетные данные, там всё было правильно. Но когда дошло до вопросов и ответов, строчки запрыгали у него перед глазами. Первый же вопрос был сформулирован следующим образом:

*Материалами следствия Вы изобличены как участник контрреволюционной белогвардейской шпионской и террористической организации. Признаёте себя виновным в этом?*

И далее следовал его ответ:

*Да, признаю. Я действительно являюсь участником контрреволюционной белогвардейской шпионско-диверсионной и террористической организации, которая действовала по прямым директивам нашего руководителя Яковенко Василия Григорьевича.*

Вопрос:

*Когда и кем вы были завербованы в белогвардейскую организацию?*

Ответ:

*В белогвардейскую организацию я был завербован в городе Красноярске в 1925 г. эсером Лобовым Фёдором Антоновичем, который был связан с Яковенко и знал о готовящемся выступлении против советской власти.*

Пётр Поликарпович бросил листы на стол. Твёрдо произнёс:

— Я этого подписывать не буду!

Следователь поднялся.

— Сейчас я позвоню, и через полчаса сюда доставят твою жену! Будете вдвоём давать показания.

Пётр Поликарпович медленно поднялся.

— А это ты видел! — и показал следователю кукиш. — Вот тебе показания! Я товарищу Сталину напишу про все ваши дела. Ответите за свои фашистские действия!

Больше он ничего сказать не успел. Следователь налетел на него, сбил с ног и пинал сапогами в живот, по плечам и по голове — куда придётся. Пинал изо всех сил, досадуя, что никак не может приложиться как следует — подследственный дёргался от ударов, закрывался руками, что-то рычал, катался по полу, выл... В кабинет вбежал боец, скинул с плеча винтовку, стал передёргивать затвор.

— Уйди! — успел крикнуть следователь. — Я сам его, суку, уделаю! — и продолжил избивание.

Пётр Поликарпович уже ничего не видел и не понимал, только чувствовал болезненные удары в самых неожиданных местах. После очередного пинка в голове у него ярко вспыхнуло, и он перестал чувствовать что бы то ни было.

Бесчувственного, его взяли за руки и поволокли по коридору. Голова безвольно болталась, ноги цеплялись каблуками за дорожку. Ничего этого он не сознавал.

Он очнулся в камере. Кто-то прикладывал ко лбу влажную тряпочку и заглядывал в глаза.

— Одыбал, кажись... — произнёс кто-то над ухом.

Пётр Поликарпович попытался подняться, но его мягко удержала чья-то рука.

— Лежите, вам нельзя вставать.

Пётр Поликарпович глянул на говорившего, но перед глазами плавали бесформенные тени, а голова гудела, будто её наполнили чем-то тяжёлым и горячим.

— Где я? — спросил, облизнув пересохшие губы.

— В тюрьме, где ж ещё! — был ответ. — Еле живого тебя приволокли. Вот ведь что делают гады! Ничего святого нет.

Пётр Поликарпович закрыл глаза и попытался вспомнить, что с ним было, но сознание заволакивало мутной пеленой, в которой глохли звуки и краски. В затылок бил тяжкий молот, отчего всё тело болезненно напрягалось. Он попытался подняться и, не сдержавшись, застонал.

— Потерпи, браток, — опять кто-то молвил, — если уж сразу не убили, значит, ещё поживёшь.

Голос то приближался, то отступал — и тогда становилось немного легче, боль отодвигалась, сознание уплывало. Но через некоторое время тяжесть возвращалась — на него снова наседали реальный мир, со звуками, с неудобством, с резкой болью. В какой-то момент он открыл глаза и страшным напряжением воли удержал ускользающее сознание. Постепенно стали видны очертания стен и каких-то людей. Люди сидели совсем рядом — на полу возле стены, трое или четверо. Один стоял в дальнем углу спиной ко всем. И ещё один сидел тут же на нарах, в ногах. Нары были двухэтажные, деревянные. Было темно и как-то жутко. С низкого потолка тускло светила крошечная лампочка. Откуда-то из-за спины доносились странные звуки — не то капало, не то скрежетало. Бухали где-то шаги, бряцало железо, кто-то кого-то о чём-то спрашивал строгим голосом — там, за железной дверью. Всё было дико, непостижимо, почти нереально.

Пётр Поликарпович снова попытался встать, на этот раз более удачно. Спустил ноги на пол и сел, упёршись двумя руками в жёсткое ложе. Сосед внимательно глянул на него.

— Ну ты крепкий, дядя! — протянул. — Мы уж думали, ты не очухаешься. Молодец!

Пётр Поликарпович присмотрелся. Собеседник был уже немолод, носил довольно густую бороду, пышную шевелюру; со скуластого лица бойко глядели живые глазки. Типичный сибиряк, лесной житель. Всё ему нипочём.

— А вы как тут очутились? — спросил он мужичка.

— Как и все, — усмехнулся тот. — Прямо из дома взяли. Да тут почти все такие! Все камеры забиты плотяком, не продохнуть. Каждую ночь всё новых привозят. Суют, куда ни попадя. Вот это, положим, одиночка. А нас тут сколько душ? — Он обвёл взглядом камеру и молвил: — Шестеро! — важно мотнул головой. — И ведь

ещё натолкают, это как пить дать! У соседей, вон, двенадцать человек понатыкано. И ничего. А куды денешься? Придётся терпеть. Так-то, паря!

— Двенадцать? — повторил Пётр Поликарпович. — Да зачем же так много? Может, это проверка какая? Разберутся, а потом отпустят.

Сосед снисходительно улыбнулся. Окинул взглядом Петра Поликарповича и заключил со знанием дела:

— Ежли они со всеми станут разбираться как с тобой, так и отпускать некого будет! — Немного подумав, спросил: — Что ж вы такого натворили, что вас так отделили?

Пётр Поликарпович опустил голову.

— Протокол отказался подписывать. Сказал, что Сталину жалобу напишу.

Сосед присвистнул. Остальные повернули головы. Сразу стало тихо.

— Сталину? — протянул тот, что стоял у стены, — худощавый мужчина невысокого роста. — Мысль правильная, только неосуществимая. Письмо до Сталина всё одно не дойдёт. А если бы и дошло, пока там в Москве разберутся, тебя тут так измордуют, что никакой Сталин не поможет. Уж лучше сразу всё признать и подписать. По крайней мере, жив останешься. И родных не тронут. Они-то тут при чём?

Все сразу зашевелились, загудели возмущённо.

— Ты тут брось ахиною нести! — возразил один из сидевших на полу. Резко поднялся на ноги, оказалось, что это довольно крупный мужчина, широкий в кости, с уверенным взглядом глубоко посаженных глаз. — Если признавать всё, что на тебя вешают, так это будет расстрел — и к попу ходить не надо!

— Почему сразу расстрел? — снова сказал худощавый. — За чистосердечное раскаяние будет снисхождение от советской власти!

— Да ты хоть видал, что в пятьдесят восьмой статье написано? Там почти все статьи расстрельные! Ты что думаешь, что если признаешься, что ты японский шпион, или, там, троцкист недобитый, так тебя помилуют? Да тебя, дурака, сразу же шлёпнут! Пятакова с Каменевым не пощадили, а тебя отпустят? Ага! Держи карман шире!

— Да я и не говорил, что отпустят. Дадут лет пять. В конце концов, это не так уж и много. Можно вытерпеть! Главное, следователей не злить. Изувечат, а потом всё равно расстреляют. Конец один.

Пётр Поликарпович поёжился от таких прогнозов. Сознание двоилось. Против воли он втягивался во всю эту чертовщину, как бы соглашался и на сроки, и даже допускал расстрел, но тут же холодел от абсурдности происходящего. Ведь он точно знал, что ему не в чем каяться, не в чем признаваться! Ни расстрела, ни пяти лет, ни даже пяти минут ареста он не заслужил. Так почему же он находится здесь, в советской тюрьме, взятый той самой властью, за которую боролся с настоящими, а не мнимыми врагами?

Ответа на этот вопрос не было.

Вдруг загремел замок и дверь распахнулась.

— Кто тут на букву эн? — спросил охранник.

Худощавый быстро обернулся.

— Я на букву «н»!

— На выход!

Худощавый быстро огляделся, одёрнул рубаху и двинулся к выходу. Секунда — и нет его. Больше Пётр Поликарпович никогда не видел этого человека.

Поздно ночью вызвали на допрос и самого Петра Поликарповича.

Его доставили в тот же кабинет, к тому же следователю, который бил его накануне. Тот глянул исподлобья на подследственного и продолжил чтение каких-то бумаг. Пётр Поликарпович стоял перед ним, пошатываясь, не понимая, что ему делать, как себя вести. Сесть ли на стул возле стола или что-нибудь сказать? Но что он мог сказать человеку, так жестоко избившему его несколько часов назад? Если бы он теперь был в колчаковском застенке, а перед ним сидел белогвардейский офицер — о! — он бы многое ему высказал — о жизни и смерти, о самопожертвовании и готовности умереть за светлые идеалы социализма. Но как себя вести в советской тюрьме, когда перед ним сидит чекист, член ВКП(б) и борец за те же самые идеалы добра и справедливости? И почему этот борец смотрит на него волком, а душа от этого взгляда леденеет?

Следователь отодвинул бумаги и поднял голову, задумчиво посмотрел на подследственного. Ему, как видно, тоже было неприятно всё это. Вернувшись домой уже под утро, он жаловался жене на этого самого Пеплова, не желающего признавать очевидные факты. Жена сочувствовала ему и выражала надежду, что перед ним никакой враг не устоит и всё равно признается! И вот теперь ему предстояло проверить это напугтствие.

Воспоминание о молодой и преданной ему женщине смягчило суровость лица, и он спросил довольно спокойно:

— Ну что, будем говорить правду?

Пётр Поликарпович опустил голову. Ничего не изменилось. Всё стало только хуже.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите, — прошамкал он распухшими губами.

— Чего ты там бормочешь? — вскинулся следователь. — Говори громче!

— Я сказал, что ничего не знаю. Я ни в чём не виновен! — произнёс Пётр Поликарпович крепнувшим голосом.

— Так-так! Значит, продолжаем упорствовать! Ну что ж, — он легко поднял своё грузное тело, выпрямился, выпятив грудь. — Значит так, бить я тебя больше не стану — неохота руки марать о такую мразь. А сделаем просто: я сейчас прикажу арестовать твою жену, и тогда посмотрим, как ты заговоришь! — И он пристально посмотрел на Пеплова, проверяя реакцию. Но Пётр Поликарпович нисколько не изменился в лице. Он уже многое понял для себя и многое решил.

— Если вы арестуете мою жену, это ничего не изменит. К тому же, у нас маленькая дочь. Вы и её заберёте?

— Дочь твою определят в детский дом. Жена пойдёт по статье за недоносительство. А тебя расстреляют. Твоё участие в заговоре уже доказано, а признание — пустая формальность. Подельники твои во всём признались. Им это зачтётся, а тебе выходит высшая мера. Если тебе себя не жаль, так хотя бы о малолетней дочери своей подумай. Каково ей будет расти полной сиротой?

Пётр Поликарпович опустил голову. Ещё минута, и он согласится, подпишет признание своей несуществующей вины. Но из самой глубины поднимался вопрос: а как после этого будет жить его дочь? Что скажет жена, когда узнает, что муж много лет обманывал её, вёл двойную жизнь? Для неё это будет хуже смерти. Ведь это позор на всю жизнь! А раз так...

— Я ни в чём не виноват, — тихо проговорил он. — Мне не в чем признаваться. А вы... делайте то, что вам подсказывает совесть.

Следователь на миг потерял дар речи. Никак не ожидал такого упорства от этого уже немолодого человека.

— Значит, не хочешь разоружиться перед советской властью? — для верности спросил он.

Пётр Поликарпович отрицательно помотал головой.

— Ну что ж, тогда пеняй на себя. Ты сам во всём виноват, — и снова бросил испытующий взгляд на Пеплова. Тот стоял с застывшим лицом, и не понять было, о чём он думает. Следователь испытал в этот момент почти непреодолимое желание изо всей силы ударить его в солнечное сплетение — как их учили на спецкурсах; нужно подойти к подследственному с правой стороны и, резко крутнувшись на левой ноге, заехать носком сапога в центр мягкого живота, чуть выше пупка. Он проделывал это неоднократно во время допросов, и всякий раз эффект был потрясающий — охнув и выпучив глаза, подследственный сгибался пополам и валился на пол; несколько минут он не мог вздохнуть, корчился как раздавленный червяк, утробно мычал и силился протолкнуть в себя воздух; зрелище было довольно гадкое. Но выбора у следователя не было — он должен был добиться признания во что бы то ни стало. И он его добивался: редко кто после подобных приёмов продолжал упорствовать. Правда, иногда заключённые умирали от разрыва желудка или селезёнки, но это выходило случайно, Рождественский не хотел никого убивать. С другой стороны, у него было готово объяснение такой горячности: «эти скоты любого доведут!» — невозмутимо заключал он в подобных случаях. Но на этот раз его что-то остановило — он и сам не мог понять, что именно. То ли безучастный вид подследственного, то ли эти его слова про совесть. Только он испустил шумный вздох и быстро прошёл к столу. Сел в кресло и стал быстро заполнять протокол допроса. Пётр Поликарпович стоял с безучастным видом и смотрел в одну точку. На него навалилась страшная тяжесть. Хотелось поскорей уйти отсюда, закрыть глаза и ничего не знать, не чувствовать. Если бы можно было, он застрелился бы прямо сейчас, смывая с себя позор и разрешая все вопросы. У него хватило бы на это мужества.

А следователь всё писал свой протокол. Для него всё было предельно ясно: если враг не сдаётся — его уничтожают!

Когда с бумагами было покончено, следователь вызвал конвойного. Петра Поликарповича вернули в камеру.

\* \* \*

На следующее утро в просторном кабинете начальника областного управления НКВД началось очень важное совещание. На нём присутствовал только что приехавший из Москвы первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский Михаил Поликарпович. Председательствовал сам начальник управления — Лупекин Герман Антонович. Фриновский и Лупекин были примерно одного возраста — обоим не было ещё и сорока. Но внешне они сильно разнились. Московский гость был дороден и благообразен, круглолиц и черноволос, с проницательным взглядом больших тёмных глаз. Лупекин — совсем наоборот — был худощав и как бы измождён, невысок и тонок; многие находили его до жути похожим на автора знаменитой книги «Как закалялась сталь» (когда тот лежал, парализованный, в постели). Это внушало если не ужас, то душевный трепет. Сходство было, конечно, случайным. Однако Лупекин осознавал выгоды подобного сближения и старался придать лицу



совсем уже нечеловеческое выражение: взгляд его был каким-то волчьим, будто он каждую секунду видит потусторонний мир, но не боится ни духов и ни демонов, а готовится дать им самый решительный и беспощадный бой, как и подобает советскому чекисту и несгибаемому борцу со всякой нечистью.

На совещание были приглашены начальники отделов и их заместители, а также несколько особо доверенных сотрудников — из числа приехавших в Иркутск вместе с Лупекиным пару месяцев назад. Всего набралось человек сорок — все в военной форме, все в блестящих хромовых сапогах, подтянутые и внутренне собранные, готовые (и способные) на всё. Этакая рота сверхлюдей, которым доверены особо важные тайны и от которых зависит слишком многое в этом несовершенном и пакодном мире.

Открыл совещание, как и положено, товарищ Лупекин. Он поднялся со стула и обвёл подчинённых своим мертвящим взглядом. Воцарилась абсолютная тишина.

— Товарищи уполномоченные, — произнёс он низким хриплым голосом, — я хочу представить вам первого заместителя народного комиссара, командарма третьего ранга товарища Фриновского. Он только что прибыл в наш город с особым поручением лично товарища Ежова. Прошу никаких записей не делать. Письменные инструкции вы получите позже, в индивидуальном порядке. Итак, слово для сообщения исключительной важности предоставляется... — он выразительно глянул на высокого гостя. Тот сдавленно кашлянул и поворотил голову. В руках его показалась бумага. Уткнувшись в неё, он стал читать утробным голосом, словно бы давясь и глотая звуки:

— Я уполномочен зачитать директивное письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР, — короткая пауза, нетерпеливое движение шеей, и далее: — В настоящий момент как никогда необходима бдительность коммунистов на любом участке и в любой обстановке. В условиях обострения классово-борьбы и усиления империалистической агрессии, когда немецкий фашизм вкупе с подонками-троцкистами создаёт в нашей великой стране свою агентурную сеть, доблестные органы НКВД должны кардинально усилить свою бдительность и беспощадно пресекать вражеские вылазки. Товарищ Сталин призывает нас к беспощадной борьбе с врагами социалистической родины, с отщепенцами и предателями всех мастей и оттенков. В наркомате подготовлен циркуляр об усилении оперативной работы по эсеровской линии, также значительно усилена оперативно-агентурная работа по церковникам и сектантам, по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям, панмонгольской шпионской организации, правотроцкистской контрреволюционной организации, белогвардейской шпионской организации, фашистской шпионской организации, церковно-монархической организации. В Западной и Восточной Сибири уже вскрыты и разрабатываются контрреволюционные организации среди высланных кулаков и примкнувших к ним партизан. Враг хитёр и коварен, он не гнушается ничем! — Фриновский поднял голову и впервые посмотрел на притихших чекистов. — Две недели назад в Москве арестован бывший нарком Ягода. Этот двурушник исключён из партии и уже даёт признательные показания. Вместе с ним арестована целая шайка прихвостней, все они готовили покушение на товарища Сталина и членов правительства! — Он снова остановился, чтобы перевести дух, затем продолжил: — В вашем регионе также выявлена глубоко законспирированная сеть вражеских агентов и лазутчиков. Могу сказать, что в настоящее время расследует-



ся дело бывшего начальника УНКВД по Восточно-Сибирскому краю — гражданина Зирниса. Получены доказательства его участия в подготовке террористических актов против органов советской власти. Недавно состоявшийся в Москве пленум ВКП(б) под председательством товарища Сталина заклеил всех этих наймитов и потребовал навести порядок беспощадной рукой революционной законности. Вопрос теперь стоит так: или мы — или они! В преддверии двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мы не можем позволить жестокому врагу отнять у нас всё то, что досталось нам ценой неслыханных жертв и лишений. Наши доблестные товарищи, павшие в боях за советскую власть, не простят нам малодушия и мягкотелости. Мы должны противопоставить врагу нашу твёрдость и непреклонную веру в великие идеалы, завещанные нам Лениным. Наш дорогой товарищ и учитель — Иосиф Виссарионович Сталин — прикладывает титанические усилия на своём посту. Не покладая рук день и ночь он борется за наше с вами счастье, товарищи! И мы должны каждую секунду чувствовать свою ответственность за порученное нам дело, мы должны оправдать оказанное нам высокое доверие. Мы находимся на переднем крае беспощадной борьбы за дело рабочих и крестьян во всём мире. Сегодня, как и двадцать лет назад, снова решается вопрос — быть или не быть первому в мире социалистическому государству. Фашистская Германия, империалистическая Япония, реакционные круги Англии и Франции, Италии и Америки — все они выступают против нас единым фронтом. Но им не удастся поставить нас на колени! Мы противопоставим им железную дисциплину и стальную выдержку — как учит наш дорогой вождь и учитель! Для этого от каждого сотрудника НКВД требуются величайшая собранность и дисциплина. Вы должны помнить во время проведения допросов, что вы имеете дело с контрреволюционерами и матёрыми врагами! Ваша задача состоит в том, чтобы заставить эту всю эту сволочь встать на колени перед Советской властью, разоружиться и раскрыть свою контрреволюционную работу, назвать организацию, всех её участников и просить пощады у Советской власти. Организуйте допрос обвиняемого таким образом, чтобы он был непрерывен, и до тех пор не отпускайте обвиняемого в камеру, пока он не признается в своих преступлениях, даже если на это потребуется день, два, три четыре и больше. Вам разрешается применять меры физического воздействия в отношении особо злостных врагов советской власти. Мы не можем себе позволить мягкотелости ввиду той угрожающей обстановки, что сложилась в международном положении нашей страны...

Фриновский говорил всё громче, голос его возвышался и опадал, словно морской прибой; сам он багровел и туго наливался желчью, лицо делалось мокрым, он рефлекторно вытаскивал нечистый скомканный платок и отирал пот с заплывшей шеи и отёчного лица. Его слушали в мёртвой тишине, слова улетали в гулкую пустоту и делались осязаемыми; сердца каменели, головы наливались металлом, дыхание останавливалось. Сверхалось что-то великое и страшное — все это чувствовали, и все готовы были отдать жизнь в борьбе с ненавистным врагом! Если бы им велели немедленно прыгнуть в окно с четвёртого этажа, они, конечно, сделали бы это, не рассуждая ни секунды. Но если бы им вдруг сказали, что почти все они будут расстреляны как враги народа в ближайшие три года и что шалеющий от избытка чувств высокий гость также будет расстрелян — в феврале 1940-го, тогда же будет расстреляна его ни в чём не повинная жена и даже — его семнадцатилетний сын (несмотря на уверения Сталина о том, что сын за отца не отвечает)... что в один день с Фриновским будет расстрелян всесильный нарком

Ежов, а жена его, красавица Суламифь, поняв в чём дело, покончит жизнь самоубийством, что сорокатрёхлетний брат Ежова также будет расстрелян и два сына брата будут умерщвлены, а ещё один каким-то чудом избежит казни, но получит 8 лет лагерей, и что сидящий рядом с Фриновским товарищ Лупекин не избежит общей участи и будет расстрелян ещё раньше — в марте 1939 года... если бы затянутым в гимнастёрки и хромовые сапоги энкавэдэшникам сказали, что всё это произойдёт в самое ближайшее время, они сочли бы это за чудовищную ложь и поклёп на советскую действительность! Тем не менее, всё случилось именно так. И даже ещё хуже: всё оказалось гораздо подлей, гаже, бесчеловечней! Но человеку не дано знать своё будущее, иные не способны прогнозировать собственные поступки на ближайшую перспективу. А ещё бывает так, что человеку отказывает элементарный здравый смысл. Особенно часто это случается в толпе, под воздействием всеобщего магнетизма (которое проще назвать массовым психозом). Всё это выдаётся за революционный порыв масс и за благородное негодование против империалистов.

А пока что присутствующие напряжённо слушали докладчика, наливаясь злой силой и жуткой непреклонностью, забывая о милосердии и сострадании, о простейших уложениях человеческой жизни; всё это должно было помочь стальной когорте одолеть легионы мифических врагов молодого советского государства. Наказ товарища Сталина будет выполнен! Враг не уйдёт от расплаты! Пощады не будет никому и никогда! Вовеки веков!

Аминь...

\* \* \*

Пётр Поликарпович не слышал этих жутких речей и совершенно не осознавал опасности своего положения. Арест, нелепые обвинения, избивание в кабинете следователя — всё это представлялось ему кошмарной ошибкой, диким недоразумением, которое непременно разрешится в ближайшее дни или даже часы. Он с нетерпением ждал нового допроса в надежде оправдаться силой логики и здравого смысла. Но часы тянулись в мрачном подземелье, день сменялся ночью, приходило утро, за ним другое, и ещё одно, а его всё не вызывали. Соседи его уходили один за другим, неуверенно шагали за порог камеры и исчезали навсегда. Ни с кем из них он больше никогда не встретился. Много позже он узнал о том, что все те, кто тогда признал свою вину и поставил дрожащую подпись под каждым листом протокола допроса (как этого требовали следователи), — все они были переведены в «красный корпус» иркутской тюрьмы, на «пятнадцатый пост», и там же все до единого расстреляны (из немецкого «вальтера» в затылок), после чего под покровом ночи трупы их вывозили на спецполигон НКВД под Иркутском, носивший романтическое название «Дача лунного короля»; там их сваливали кучей в заранее выкопанные гигантские рвы-накопители и слегка присыпали землёй (слоем не более полуметра). Не все умирали сразу — казнимых было слишком много, а палачи торопились. По свидетельствам жителей близлежащего села Пивовариха, видевших издали свежие захоронения, земля на рассвете шевелилась и как бы дышала, словно возмущалась таким зверством человеческих существ, которых она исторгла когда-то из себя. Быть может, земля эта помнила слова Господа, сказанные первому человеку: «Прах ты, и в прах возвратишься!» Но вряд ли Господь предполагал, что возврат этот будет столь стремительным и жутким,

опережающим естественные сроки и минующим все мыслимые и немыслимые заповеди, которые Он заповедал роду человеческому.

Ни те, что заседали наверху в просторном кабинете, ни те, что сидели внизу в промозглых мрачных казематах, — в Бога не верили. Те и другие были безбожники, и немало этим гордились. Что там Бог говорил первому человеку на Земле, их вовсе не интересовало, о заповедях его никто не знал и знать не хотел. Пётр Поликарпович, находясь в тесной сырой камере среди десятка других людей, думал о чём угодно, но только не о Боге. Он тосковал о жене и дочери, видел с закрытыми глазами свой уютный кабинет с высокими потолками и толстыми стенами; он мысленно выходил из него и не спеша шёл на кухню, где уже закипал алюминиевый чайник на газовой плите, а из кастрюли с гречневой кашей клубами поднимался ароматный пар. Тут же, в коридоре, была просторная ванна с горячей водой, с душистым мылом, с висящими на крючочках чистыми полотенцами и махровыми халатами, с бархатными тапочками на кафельном полу. Дома тепло, тихо, уютно! Каменные стены гасят звуки и дарят восхитительное чувство защищённости и покоя. Пётр Поликарпович открывал глаза, и лицо его мрачнело. Вокруг были тёмные бугристые стены, по которым крупными каплями сочилась ледяная вода, с низкого потолка едва светила жёлтая лампочка; в углу возле двери стояла деревянная параша, накрытая круглым щитом, от которой несло жуткой вонью. Теснота, испарения от немытых тел и невозможность вдохнуть полной грудью, расправить плечи, сбросить с себя невидимый груз. Когда-то в молодости Пётр Поликарпович жил в тесных землянках, где условия были ничуть не лучше (только что нужду справляли на улице, а не тут же, у всех на виду). И он верил в душе, что всегда сможет вернуться в такую вот землянку и всё вынести. Но теперь вполне убедился, что это вовсе не так. Всё хорошо в своё время. В молодости можно (и нужно!) рисковать жизнью и терпеть всяческие лишения. Но в зрелые годы человек должен нормально спать и хорошо питаться, и он не должен терпеть побои и оскорбления, тем более, если их не заслужил.

О многом передумал Пётр Поликарпович в эти первые часы заключения. Один час такого размышления, быть может, стоит целой жизни. А о том, что выносит человек в минуты перед казнью, — об этом мы уж никогда не узнаем. Разве, какой-нибудь Достоевский об этом расскажет? Да и то... можно ли об этом правдиво рассказать, даже и пережив предсмертный ужас? Так и мы — никогда не узнаем доподлинно о том, что чувствует человек, безвинно посаженный в тюрьму и лишённый всяких средств к защите. А потому оставим на время Петра Поликарповича наедине со своими мыслями и перенесёмся на волю — в писательский особняк, где тоже творились диковинные дела и решалось многое.

Михаил Михайлович Басов выполнил своё обещание — он написал предельно честную характеристику на своего товарища, которого почитал за глубоко порядочного и благородного человека. На трёх листах машинописного текста он изложил героическую биографию Петра Поликарповича, отметил его безусловную преданность делу революции и особо подчеркнул литературное дарование, которое позволило ему продолжить борьбу за власть Советов, только вместо землянки и окопа у него теперь были кабинет и письменный стол, а винтовку заменила перьевая ручка (которая в умелых руках бывает сильнее целого арсенала оружия). В том же духе высказался тот, кого уже при жизни называли патриархом сибирской литературы — Исаак Григорьевич Гольдберг, чьи литературные заслуги не подвергались ничьёму сомнению, исключая сотруddников Наркомата внутренних

дел, которым некогда было читать умные книжки по причине повсеместного засилья врагов и вредителей. Оба они — Басов и Гольдберг — имели не очень приятную, но всё равно продолжительную беседу с капитаном Рождественским.

Капитан НКВД Илья Алексеевич Рождественский подошёл к делу о контрреволюционном заговоре в писательских рядах со всей ответственностью: он вызывал к себе всех членов писательской организации и с каждым имел продолжительную беседу на предмет сознательности и готовности отдать жизнь в борьбе за правое дело рабочего класса. Все беседы проходили по одному сценарию, как это было, например, с Басовым. Он был вызван одним из первых — всё туда же, в областное управление НКВД на улице Литвинова — в большой серый дом со множеством кабинетов и внутренней тюрьмой, упрятанной глубоко под землю. Михаил Михайлович приехал в это мрачное заведение в понедельник двенадцатого апреля, в девять часов утра. Он имел при себе им же написанную характеристику на Петра Поликарповича и был настроен довольно решительно (потому что был человеком не робкого десятка, а также чувствовал свою правоту).

Басову не пришлось плутать по закоулкам здания НКВД. Для подобных бесед была приготовлена комната, находившаяся тут же, у входа в здание. В эту комнату можно было пройти прямо с улицы, не объясняясь с часовым снаружи и не беспокоя вооружённую охрану внутри. Рождественский провёл Басова коротким коридорчиком, толкнул лёгкую дверь и пригласил жестом войти.

В комнате было два пустых стола, поставленных вагончиком, у стен стояло несколько стульев. Окно на улицу. Больше — ничего.

Сели друг против друга. Рождественский пристально посмотрел на Басова.

— Принесли характеристику?

Тот кивнул.

— Пожалуйста! — и протянул стопку листов, скреплённых подписью и синей печатью.

Рождественский углубился в чтение. Голова склонилась, лицо сделалось суровым.

Басов вдруг почувствовал смутную вину. Как будто он что-то натворил и принёс объяснительную, и вот строгий начальник читает его оправдания, и видно, что он недоволен написанным. Басов стал вспоминать написанное и попытался представить, какое впечатление производят его заключения на этого сурового человека, но мысли путались, и он чувствовал себя всё хуже. Отвернувшись, стал смотреть в окно. А там — ни души. Машины тут не ездят — особо охраняемая зона. И пешеходов не видать — по той же самой причине. Ни деревца, ни травинки, лишь каменный дом на противоположной стороне. Тоже казённое учреждение. Окна зашторены, внутри всё будто умерло.

Басов услышал шорох и обернулся. Следователь складывал листы, на лице его было странное выражение — не то улыбка, не то усмешка.

— Так-так, — протянул он, — оправдываем разоблачённого врага советской власти. Проявляем политическую близорукость. — И твёрдо глянул в глаза Басову. — Нехорошо, товарищ писатель! Очень опасная тенденция. Может плохо для вас кончиться!

Басов на миг перестал дышать. Он словно угодил в безвоздушное пространство, стало вдруг гулко и пусто на душе. Он разом поглупел и умалился. Речь словно бы отнялась. Он чувствовал многое, но не знал, как об этом сказать.

— Товарищ уполномоченный, — пробормотал он, — я вас не понимаю... Вы

просили написать характеристику. Я и написал, как всё было. Я давно знаю Петра Поликарповича, это крепкий писатель и кристально честный человек...

Следователь вдруг поднялся. Лицо его задёргалось.

— Этот ваш кристально честный человек изобличён показаниями его подельников! В течение нескольких лет он осуществлял подрывную деятельность у вас под носом, у него налаженные связи с Красноярском и Москвой. У нас на руках письменные показания десятка человек, близко его знавших. А вы что пишете? Как всё это понимать, гражданин хороший?

Басов тоже поднялся. Слова давались ему с трудом, усилием воли он унял волнение, подавил слабость.

— Но я ничего такого не знаю! — произнёс твёрдо. — Если даже что-то и было, мне-то откуда об этом знать? Я ведь не могу заглянуть ему в душу.

— А надо бы! — сверкнул глазами Рождественский. — Вы там сидите в своём доме и ни черта не видите вокруг. Контрреволюция поднимает голову! Троцкисты и недобитые белогвардейцы готовят вооружённое восстание. А вы там у себя благодушествуете. Но так теперь нельзя. Не то время! — Он подумал секунду, потом взял со стола листы и протянул Басову. — Заберите. Завтра в это же время я жду от вас новую характеристику. И пожалуйста, без сантиментов. Вы должны проявить революционную бдительность. Я на вас очень рассчитываю.

Басов взял листы, помедлил.

— Но я не знаю, что мне писать!

Следователь вскинулся.

— Вот как? Вы — писатель, и не знаете, что вам следует писать? Вы не чувствуете никакой ответственности за судьбу страны, давшей вам всё?

— Я чувствую свою ответственность, и я стараюсь... по мере сил... — неуверенно заговорил Басов. — Но я не знаю ничего такого, о чём вы сейчас сказали! Пётр Поликарпович — мой давний знакомый, мы дружим семьями, на рыбалке вместе бываем.

— Так-так, — подхватил следователь, — и о чём же вы там беседуете? Быть может, гражданин Пеплов делился с вами своими мыслями о политическом моменте?

Басов отстранился.

— Да вы что! Мы о литературе обычно говорили, о наших писательских делах. Политику мы никогда не обсуждали. Зачем нам это?

— Так уж и не обсуждали, — скривился следователь и вдруг заключил, как отрезал: — Ну ничего, скоро мы всё это выясним. — Глянул в глаза Басову и произнёс со значением: — Вы свободны, гражданин Басов. Пока свободны! Идите.

Басов неловко повернулся и пошёл прочь. Вышел в коридор, спустился по ступенькам, ещё один проход и, наконец, оказался на улице. Шёл в каком-то оглушённом состоянии, ничего не видя вокруг. На душе была страшная тяжесть, предчувствие чего-то ужасного. Петра было уже не спасти, это совершенно ясно. Басов узнал недавно от московских знакомых, что в столице арестован Володя Зазубрин, его давний друг, замечательный писатель — человек, лично знавший Дзержинского и пользовавшийся его доверием. Но это значило лишь одно: взять теперь могут любого и в любую секунду. Вот прямо сейчас подойдут среди улицы и возьмут под белые руки! Михаил Михайлович осторожно огляделся. Захотелось вдруг побежать сломя голову, куда-нибудь спрятаться. Раствориться без остатка, исчезнуть из этого мира! Но он знал, что никуда не побежит, примет всё, как оно



есть. Дома его ждала жена и двое дочерей. Были ещё живы родители жены, и множество родственников с обеих сторон — в Иркутске, Красноярске, Тобольске, Новосибирске. Даже если их не тронут — что они будут о нём думать? Как будут расти без него дети? Нет, бежать нельзя. Но и лгать он тоже не станет. Нужно говорить одну лишь правду, не клониться и не поддаваться на угрозы и уговоры следователей. И тогда, быть может, всё и обойдётся. А если и не обойдётся, что ж, тогда он погибнет. Но он умрёт честным человеком. В девятнадцатом году, когда он перешёл от Колчака на сторону красных, он уже сделал этот выбор — между жизнью и смертью, между честью и позором. Что ж теперь? Гражданская война давно закончилась, Колчака спустили под лёд студёной Ангары. Белочехи убрались восвояси, белогвардейцев и семёновцев разметали по белу свету (а большей частью, пустили в расход). Отчего же снова так тревожно бьётся сердце? Откуда этот липкий страх, парализующий волю?

Ничего не видя перед собой, Михаил Михайлович брёл по залитой весенним солнцем улице. Над головой широко раскинулось синее небо, птицы весело щебетали, перелетая с ветки на ветку, ветерок приносил с юга тепло и пряные запахи... — всё это было уже не для него. Жизнь, похоже, катилась к закату. Несколько рановато! Михаилу Михайловичу на тот момент шёл тридцать девятый год.

Предчувствия его не обманули: через три дня Михаил Михайлович Басов был арестован. Его взяли прямо из рабочего кабинета. Посадили в чёрную «эмку» и увезли. Это случилось днём. А ночью взяли Гольдберга и поэта Балина (обоих — из дома). Все трое были доставлены во внутреннюю тюрьму областного НКВД на улицу Литвинова. Их поместили в разные камеры (чтоб не сговорились) и почти сразу стали допрашивать с особым пристрастием, почти с экстазом (выполняя таким образом наказ товарища Фриновского). Обвинения были стандартные: участие в правотроцкистской организации, вредительство, террор, а ещё — шпионаж в пользу Японии и фашистской Германии (до пакта Риббентропа–Молотова было ещё далеко), а кроме этого — участие в эсеровском заговоре. Любого из этих обвинений было достаточно для расстрела (что и случилось в самом недалёком будущем: не выдержав пыток и поверив лживым посылам следователей, Басов, Гольдберг и Балин признали себя виновными во всём, что им инкриминировали, и все трое упокоились в гигантских рвах-накопителях на «Даче лунного короля» возле села Пивовариха в пяти километрах от Иркутска. Таких вот «дач», «урочищ», «полигонов» и «местечек» было много по всей стране. Сотни тысяч советских граждан должны были заполнить своими телами эти чудовищные могильники. Зачем всё это делалось? Ради какой великой цели? Никто тогда этого не знал. Не знает и теперь. Потому что на этот вопрос невозможно дать ответ ещё и потому, что нет в мире такой цели и такого идеала, ради которых нужно массово уничтожать людей.

На первом же допросе Михаилу Михайловичу Басову выбили все передние зубы. Церемониться с ним не стали, да и некогда было шибко рассусоливать! Как только следователь понял, что перед ним крепкий орешек и просто так его не расколоть, так он сразу же перешёл от слов к делу. А дело своё он знал отменно! Здоровые волосатые кулаки и праведный гнев к врагам советской власти придавали непоколебимую уверенность в том, что он делает всё верно, более того, действует единственно правильным способом, а все другие способы ошибочны и порочны. Ведь всё ясно, как день! Басов был изобличён показаниями его подельников (полученными, правда, в других кабинетах и даже в другом городе, но

сути дела это не меняло), следовательно, Басов тоже должен признать свою вину. Недавно полученная из Москвы секретная инструкция ясно указывала на методы ведения следствия. Требовалось лишь одно: чёткое признание подсудимым своей вины. И — собственноручная подпись под протоколом допроса. Об этом писал в своей недавно вышедшей книге «Судоустройство в СССР» генеральный прокурор Вышинский. Чего уж более! Да и в самом деле, ничего лучшего придумать было нельзя! Сбор доказательств, сопоставление фактов, анализ мотивировок, всякая там психология и прочие буржуазные штучки были отброшены за ненадобностью. Чего канючить и переливать из пустого в порожнее? Если следователю ясно, что перед ним закоренелый враг, так зачем же с ним возиться и соблюдать пустые формальности? Вот и получил Михаил Михайлович в зубы волосатым кулаком уже после пятого вопроса. Он сидел на стуле и не ожидал ничего такого. Удар, надо отдать должное спортивной форме дознавателя, был мастерский. Следователь — крепко сбитый крепыш с широкими плечами и длинными руками грузчика — вдруг подшагнул сбоку и нанёс правый хук прямо в зубы подследственному. Если бы Михаил Михайлович как-нибудь приготовился, если бы ожидал этот подлый удар — так не было бы таких страшных последствий. Но он сидел в обычной позе, чуть опустив подбородок, шея была расслаблена, и мышцы скул тоже расслабились — а это опасней всего! Голова его откинулась от удара, губы и язык мгновенно превратились в кровавое месиво, рот наполнился горячей кровью; захлёбываясь, Басов опрокинулся на спину, крепко ударился затылком о цементный пол и завалился на бок. Передних зубов уже не было, они свободно перемещались в кровавом липком месиве. Боли тоже не было — если не считать болью оглушение, жуткий гул в голове; а кровь — что же? — кровь можно и выплюнуть вместе с зубами. Не глотать же её литрами! Да и не проглотить столько.

Следователь, не удержавшись, пару раз пнул лежащего на боку человека — это было так естественно в его положении! Но пинал он уже не по лицу (а ведь мог бы зазвездить по щеке, сломать скулу, к примеру, или выбить глаз), а по груди, по рёбрам. Удары были сильные, с оттяжкой, так что следователь едва не сломал себе пальцы на ногах (сапоги сапогами, но при жёстком ударе выпрямленные пальцы стопы ломаются очень даже легко — случаев таких было предостаточно, некоторые следователи хвастались этим обстоятельством, бравировали своей выдержкой и готовностью пострадать за правое дело). Сохраняя полное самообладание и внутренне любуясь собой, следователь поднял с пола окровавленного, мотающего головой человека и усадил обратно на стул. Подождал, пока подследственный придёт в себя, и лишь тогда задал очередной вопрос:

— Ну что, теперь будем говорить правду?

Михаил Михайлович и хотел что-нибудь сказать, но это у него никак не получалось. Губ своих он не чувствовал, их как бы не было, передние зубы были раскрошены, а язык словно бы отнялся. Что он ощущал, он и сам не мог понять. Какую-то жуть, что-то невыразимое словами. Он замычал и стал качать головой — сверху вниз, сверху вниз, а ещё — глядел на следователя вытаращенными безумными глазами. На нём был гражданский костюм, в котором он ещё этим утром восседал в своём председательском кабинете. Белая рубашка была залита алой кровью. Волосы на голове сбились в густую массу и едва ли не стояли дыбом. Смотреть на него было очень неприятно. И следователь приказал его увести. Он уже знал, что проблем с этим писакой у него больше не будет. Он и не таких обламывал. Завтра же тот даст признательные показания и всё подпишет. Подпи-ишет! Никуда не денется. Всё



выложит, мерзавец! Потому как это последнее дело — гадить родной советской власти — власти, которая дала тебе всё!

Ожидания следователя оправдались: на следующий день Михаил Михайлович Басов признал всё, в чём его обвиняли.

Гольдбергу и Балину повезло чуть больше — их не били с такой сокрушительной мощью. Гольдберг был уже пожилым человеком, держался с достоинством, и его только страшали и запутывали (справедливо решив, что с него будет довольно и этого). Исаак Григорьевич очень дорожил семьёй, и когда вопрос встал о благополучии близких, он сразу же во всём признался, чего и слыхом не слыхивал и чего не мог совершить даже гипотетически. Следователь был страшно доволен.

Поэт Балин также избежал жестоких побоев, но по другой причине. Он производил донельзя странное впечатление — тихий, задумчивый, с отсутствующим выражением лица и весь какой-то несуразный! Бить его было даже как-то и неловко (сомнительно также было его участие в подготовке терактов и многолетнем вредительстве; но ведь в жизни всякое бывает, вот и немецкий философ Гегель в своём учении говорил о единстве и борьбе противоположностей и о разных жизненных парадоксах). Следователь ударил поэта пару раз — не очень сильно и более для острастки, чем для настоящего нажима, но и этого вполне хватило. Несчастный поэт не то испугался, не то помешался в уме, но он стал с готовностью подтверждать всю возводимую на него чушь, так что следователь брезгливо морщился и спешил поскорей закончить это дело. Дал подследственному подписать листы, тот торопливо скрепил их подписью и был отправлен обратно в камеру, где и дожидался реального возмездия за свои мифические дела.

Поэт Александр Балин был расстрелян в декабре 1937-го, руководитель областной писательской организации Михаил Басов — в июне 1938-го, а старейший и виднейший иркутский писатель Исаак Гольдберг получил пулю в затылок в декабре 1939 года. Пётр Поликарпович Пеплов избежал этой участи лишь потому, что не признал участия ни в каких заговорах. Его старались как-нибудь впихнуть в правотроцкистскую контрреволюционную организацию. Не прочь были видеть в рядах эсеровской контрреволюционной организации (за мифическое участие в которой и был расстрелян Гольдберг). Подумывали о панмонгольской диверсионно-шпионской организации, и даже — о заговоре бывших белогвардейцев (тех самых, с которыми Пеплов сражался будучи партизаном). Но последнее обвинение совсем уже было некстати, и на нём особо не настаивали. А вот первые две организации вполне бы сгодились. Но Пеплов никак не хотел признавать своей вины, проявив чудовищное упорство, вовсе не свойственное творческой интеллигенции. Тайный расчёт следователей на интеллигентскую мягкотелость здесь не оправдался. Наверное, потому, что Пётр Поликарпович Пеплов вышел из самой гущи народа, прошёл жестокую закалку в сибирской глуши и повидал на своём веку всякое; его не так-то легко было сломать. Он и не сломался. Хотя, конечно, это был уже далеко не тот Пётр Поликарпович, нежели в момент ареста три недели назад. Эти три недели он провёл в крошечной камере, битком набитой такими же как он несчастными людьми. В баню их не водили, кормили пустой баландой; книги, ручки, зеркальца, расчёски, полотенца, мыло, шахматы, перочинные ножи, любая посуда — ничего этого им не полагалось. Арестанты — обычные горожане, которым и в страшном сне не могли привидеться все эти антиправительственные заговоры и теракты, — содержались так, как держат серийных убийц и отъявленных подонков; к ним не было никакого снисхождения, никакой пощады. И

они, не имея воли к сопротивлению или даже обычной злобы и упорства (своих подлинных заговорщикам и подпольщикам), почти все быстро сникали, зарастали щетиной, покрывались грязью и теряли остатки сил. Очень немногие продолжали упорствовать. Эти были твёрже других, лица их были угрюмы, но во взгляде заметна была непреклонность, граничащая с безумием.

Когда следователь Рождественский встретил взгляд Петра Поликарповича Пеплова (во время очередного допроса), ему, конечно, это не понравилось, и он решил добить его последними новостями с воли.

— А вы знаете о том, что писатели провели внеочередное собрание и исключили вас из своих рядов? — произнёс он со снисходительной улыбкой.

Пеплов ответил не сразу. Подумал несколько секунд, потом молвил со вздохом:

— Что ж... я теперь ничему не удивляюсь.

Хоть он и сказал так, но на самом деле известие это оглушило его. Он хотел крикнуть: неправда, этого не может быть! Меня не могли исключить! Но он уже понял, что не всё следует говорить людям в погонах. Они — не друзья ему. За снисходительным тоном и внимательным взглядом таятся холод и расчёт. Тут нет друзей, нет и не будет ни сочувствия, ни помощи.

Рождественский пока ещё не заметил этого раздвоения. Принял за чистую монету равнодушный вид подследственного.

— Значит, вы были готовы к такому сценарию? — спросил он вкрадчиво. — И вы признаёте, что действительно заслуживаете единодушного осуждения от своих бывших товарищей? Хотите, я зачитаю вам протокол собрания?

Пётр Поликарпович отрицательно покачал головой.

— А зря! — воодушевляясь, вскрикнул следователь. Взял со стола бумагу и стал читать, словно со сцены: — Исключить из рядов Союза советских писателей за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова.

Пётр Поликарпович вскинул голову.

— Как! Гольдберга и Басова тоже исключили? А их-то за что?

Следователь нахмурился.

— Вскрылись факты, стало быть.

— И что, их тоже арестуют? — спросил Пеплов.

— Они уже арестованы, — последовал ответ. — Будут держать ответ по всей строгости социалистической законности!

— Но они ни в чём не виноваты! Я их обоих давно знаю. Это честные люди! Гольдберг ещё при царе ссылку отбывал! Какой же он враг?

— И в партии эсеров состоял, — важно кивнул следователь.

— Да, состоял. Ну и что? Эсеры многое сделали для революции. Особенно левые. Вы, может, по молодости своей, не знаете, что левые эсеры в семнадцатом были заодно с большевиками, вместе брали Зимний дворец, устанавливали власть советов. А правые эсеры боролись с царизмом, когда большевиков ещё не было в помине. Всё крестьянство в семнадцатом году было за эсеров — об этом не надо бы забывать.

— Вон как ты заговорил! — изумлённо выдохнул следователь. — Вот и сказала в тебе кулацкая душонка!

Пеплов вскинул голову.

— Я никогда кулаком не был! Почитайте мою биографию. Сделайте запрос в Канский округ. Там хорошо знают нашу семью. Я с детства работал в поле с

отцом. Даже в школе толком не учился, всего два класса и смог закончить. Нужда проклятая! Семье надо было помогать, работали от темна до темна. Эх, да что вы об этом знаете! — вздохнул и отвернулся.

Следователь с кривоватой ухмылкой на лице взирал на Пеплова. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним сидит отъявленный враг. Сказанные Пепловым слова не произвели в его сознании никакого действия. Рассуждения о правых и левых эсерах (разницы между которыми он не видел и считал их, наряду с меньшевиками и кадетами, опаснейшими и коварнейшими врагами советской власти), заверения в честности того или иного человека, апелляции к героическому прошлому и незапятнанной биографии — всё это не имело ровно никакого значения в его глазах. Значение имел лишь протокол допроса, лежавший на столе. Силу непреложной истины имели многочисленные циркуляры, инструкции, спецуказания и шифровки, которые он ежедневно получал под роспись в первом отделе областного управления НКВД. Вот там были истина и смысл всего, что происходит в мире! Других истин нет и быть не может! Бредни о том о сём, переливание из пустого в порожнее и бесконечные споры и прения — вот это и есть главное зло! Нужно не говорить, а действовать. Нужно быть твёрдым и решительным, как заповедовал товарищ Сталин. А все эти уклоны и шараханья, все эти «аграрные вопросы», интернационалы, нэпы и прочая дребедень только вредят и заводят в тупики.

Рождественский сел за стол и подвинул к себе бумаги.

— Значит, продолжаем упорствовать, — проговорил как бы про себя. — Ну что ж, смотрите, как бы не пожалеть потом. — Он бросил быстрый взгляд поверх бумаг на Пеплова. Тот сидел чуть боком и думал о своём.

— Жена ваша может пострадать, — продолжил следователь. — В настоящее время решается вопрос о выселении её из квартиры.

Он лгал. Жену Пеплова вместе с малолетней дочерью давно уже выгнали из просторной четырёхкомнатной квартиры в центре города. Все эти дни она мыкалась по разным углам, ночевала Христа ради у знакомых (не все пускали). Однажды даже заночевала на берегу Ангары под перевёрнутой лодкой. Шёл холодный апрельский дождь, было мокро и грязно, и очень холодно. Светлана Александровна переживала, конечно, не за себя. Дочь не знала в своей короткой жизни ничего подобного! О ней заботились с пелёнок, покупали игрушки и получали молочные продукты по спецталонам. Была своя комната и тёплая уютная постелька. И вдруг — скитанье по чужим углам, вдруг — здоровенный перевёрнутый баркас, под которым так темно и страшно. Вдруг — нечего есть и нечего даже надеть на себя. Никогда бы Светлана Александровна не поверила, что такое с ней случится при советской власти. Но ей следовало поблагодарить судьбу за то, что саму её не взяли вслед за мужем, а дочь не отдали в детдом, куда передавали всех детей врагов народа (и там уже учили ненавидеть своих родителей и откликаться на новую фамилию). Всё это было очень даже возможно. Но — не случилось. Быть может, потому, что Светлана Александровна прошла наравне с мужем суровую школу партизанской борьбы. Тогда она вела себя до сумасбродства смело. И это сошло ей с рук. Нынче ей опять пригодились и эта решительность, и безрассудная смелость. Сразу после ареста мужа она стала обивать пороги высоких кабинетов. Но очень скоро поняла, что хозяевам этих кабинетов теперь не до неё — у них у всех свои проблемы и свои страхи. Больше других она надеялась на Басова и Гольдберга, это были наиболее уважаемые люди и всем известные литераторы. Но именно их и арестовали в числе первых. Когда это случилось, Светлана Александровна

на какое-то время впала в отчаяние. Всё рушилось, не на что было опереться, и уже не осталось никакой надежды! Когда в Иркутск прибыл член комиссии партийного контроля ВКП(б) тов. Шкирятов, она написала ему слёзное письмо, в котором умоляла спасти мужа. Она писала в письме о героической борьбе мужа в партизанском отряде, перечисляла написанные им книги и процитировала хвалебные отзывы Максима Горького, Вячеслава Шишкова, а также руководителей партизанского движения Восточно-Сибирского края. Почти такие же письма за её подписью ушли в Москву — Калинин и Молотову. Но эти двое были далеко и слишком высоко. А этот — вот он, совсем рядом. Нужно только попасть к нему на приём. Она сможет убедить его, расскажет то, что не поместилось в письме и чего нельзя передать на бумаге! Силу эмоций и трепет раненого сердца — вот что нужно было почувствовать этому человеку, посланному сюда как раз для того, чтобы навести порядок и прекратить дичайший произвол. Она так и написала в конце письма: «Товарищ Шкирятов! Убедительно прошу принять меня лично».

Но таких заявлений на имя высокого гостя в те дни поступало великое множество. Принимать каждого просителя он был не в состоянии, на это у него просто не было времени. Спасибо, что прочитывал все эти послания, отличавшиеся отменной длиной и ненужными подробностями. Да и с какой стати он будет выслушивать многочисленных родственников врагов народа? С ними пусть разбираются те, кому это положено. Твёрдой рукой он вывел резолюцию на письме жены Пеплова: «Товарищу Лупекину. 26 апреля 1937 г.» — И всё! Никаких комментариев и намёков. Словно бездушная машина переместила документ из одного потока в другой, щёлкнуло реле — и документ этот был увлечён, словно осенний лист, бурным потоком из заявлений, писем и просто жалоб, и отнесён куда-то в мрачные закрома, где и пролежал без движения долгие годы. Сыграл ли он какую-то роль в судьбе Петра Поликарповича? Да, сыграл. Товарищ Лупекин отписал это письмо капитану Рождественскому, а тот, бегло прочтя текст и внимательно изучив резолюцию товарища Шкирятова (сделанную красным карандашом), пришёл к очевидному выводу, что за Пеплова никто вступаться не будет — ни в Иркутске, ни в Москве. Если бы товарищ Шкирятов хотел заступиться за писателя-партизана, то он бы сделал какой-нибудь намёк. Написал бы, к примеру: «Прошу ещё раз проверить имеющиеся факты!» Или: «Прошу отнестись предельно внимательно к делу Пеплова П.П.» Или приказал бы этапировать Пеплова в Москву, мол, сами во всём разберёмся. Тогда бы уж, конечно, Рождественский сделал конкретные выводы и предпринял необходимые шаги. А так, что ж... Придётся ему самому решать вопрос с этим Пепловым. И со всеми остальными подследственными — тоже!

Вот он и сказал Пеплову, что, дескать, от него одного зависит участь его несчастной семьи. Арестовывать жену пока что не стали, а вот из дома выгнать — это обязательно будет сделано, если только Пеплов продолжит своё запирательство!

Пётр Поликарпович дрогнул. Это был второй удар за какие-нибудь полчаса. Сначала товарищи его предали. А теперь жена с дочерью гибнут. И получается, что виноват в этом он один! Ему стало трудно дышать, грудь сдавило стальным обручем. Опустив голову, сгорбившись, он сидел на стуле, словно застыл. Жить не хотелось. Но умереть своей волей он не мог. Так что же делать, признать несуществующую вину? Погибнуть самому и тем спасти своих близких? О, это было бы проще всего! Но здравый смысл противился такому исходу. Если он признается, что он шпион и диверсант, подпишет бумаги, что тогда подумает о нём жена? Не он ли учил её твёрдости и высоким принципам? Не он ли хвалил её за смелость и

преданность делу революции? Захочет ли она жить после этого? И что будет знать о нём его дочь, когда вырастет? И не вернее ли тогда будет выгнать жену и дочь из дома, когда точно будет установлено, что он — враг народа и гнусный предатель?

— Ну что, надумали? — словно издали услышал он вопрос следователя. Поднял голову и встретил немигающий взгляд больших тёмных глаз. И по глазам этим он понял, что этих людей ничем не проймёшь. Жалость им неведома. Сострадание для них — пустой звук. А истина вовсе не нужна. И он ответил твёрдо, уже не колеблясь:

— Я уже сказал, что я ни в чём не виноват.

Следователь постучал карандашом по столу.

— Так-так... Ну что ж... — не спеша поднялся и сделал два шага, резко развернулся и в упор посмотрел на Пеплова. — Пеняйте тогда на себя. Вы не хотите помочь следствию в разоблачении врагов советской власти, упорно не желаете саморазоблачиться, тем самым усугубляете свою вину и будете держать ответ по всей строгости закона. — И, повернувшись к стоящему у двери конвоиру, приказал: — Увести!

Пётр Поликарпович медленно выпрямился, словно сбрасывая тяжкий груз. Был пройден некий рубеж. Он устоял, не сломался. А значит, есть ещё надежда на спасение.

Совсем другое настроение было у капитана Рождественского. Он досадовал на себя, что не смог добиться признания от подследственного. Все члены террористической организации бывших партизан уже признали свою вину. В том числе главный заговорщик — Яковенко Василий Григорьевич. О, это крупная шишка, не чета Пеплову! Бывший нарком земледелия, затем — нарком социального обеспечения. Большой человек был — там, в Москве. И всё равно развязали ему язык. Всё выложил, как на блюдечке. И подельники его тоже все уже признались — Першин, Александров, Шолохов, Ефремов, Рудаков, Лобов — всех вместе больше ста человек. В этом деле был замешан Николай Бухарин, любимчик Ленина. Однако же — сидит и он на Лубянке и уже даёт признательные показания. Хотя, чёрт их там знает, сегодня он сидит, а завтра выйдет на свободу и тебя же во всём обвинит.

Что же делать с этим Пепловым? Приписать его к расстрельным спискам или повременить? Жена его, чертовка, пишет всем подряд, в Москву несколько писем отправила. А ну как придёт указание провести дополнительную проверку, досконально во всём разобраться? Было бы на руках признание Пепловым своей вины — тогда не страшно, тут уж никто сомневаться не будет. А так, всяко может случиться. Могут и оправдать Пеплова. Бывали такие случаи. А значит, с Пепловым нужно повременить. Пусть пока посидит в камере, подумает, помучается. Подельников его, понятное дело, пустят в расход. Его тоже можно будет поставить к стенке — в любой момент времени. «И волки сыты, и овцы сыты!» — сказал сам себе Рождественский и сразу почувствовал себя легче. Задача была решена. Он не нарушил инструкции, не утратил бдительности и беспощадности к врагам советской власти, но и не перешёл черту, за которой могла быть пропасть. Расстреляют ли Пеплова сейчас или чуть позже — не суть важно. Главное, он сидит в тюрьме и уже не опасен. Заговор раскрыт и раздавлен тяжёлой дланью. Ха-ра-шо!

Улыбаясь яркому весеннему солнцу, Рождественский шёл упругой походкой по улице. Молодое тренированное тело готово было оторваться от земли, ноги пружинили, грудь вздымалась от холодного чистого воздуха, по жилам бежала горячая революционная кровь, и всё было по силам, всё вокруг было твоё, законное!



Он чувствовал себя победителем, хозяином этой необъятной земли. Революция уверенно шагала по планете, и от её пламенного взора не могла укрыться никакая дрянь и зараза. Всё было ясно и понятно. Ощущение правоты придавало бодрости и удесятеряло силы, он был почти счастлив в эту минуту. Счастье усиливалось, когда он вспоминал свою молодую жену, представлял, как придёт вечером домой и сядет за уставленный судаками и тарелками стол. Налъёт из графина стопку холодной водки и подденет вилкой селёдочный хвост. Жена станет спрашивать его о делах, и он сдержанно расскажет о том, как тяжело ему сегодня было допрашивать очередного врага, как враг изворачивался и никак не хотел признать свою вину, а он приводил всё новые факты, из которых неизбежно следовало... но враг всё равно не признавался, тянул время и нагло смеялся ему в лицо... а он держал себя в руках, как и положено советскому следователю, хотя всё в нём кипело, и хотелось схватить стул и дать этим стулом по голове ненавистному врагу... но этого нельзя, потому что он настоящий чекист и должен держать себя в руках... и вот так каждый день, каждый день, и почти каждую ночь — всё допросы и допросы, всё враги и шпионы, заговоры и сплошная ложь... «Если б ты знала, как мне порой бывает тяжело!...» — так он скажет жене, когда размякнет от водки и разомлеет от закуски. Жена будет смотреть на него преданными глазами, во взгляде её будут мешаться страх и гордость — за своего мужа, такого сильного и мудрого, негибаемого борца с безжалостными врагами революции. «Господи, как же мне повезло, что я встретила его на жизненном пути!» — последнее восклицание Рождественский охотно вложил в уста своей супруги. И, в общем-то, он был недалёк от истины. Жена и в самом деле обожала его. В её глазах он был настоящий герой, неустрашимый и негибаемый борец с мировым злом, за счастье и процветание всех угнетённых и обездоленных людей. Каждый день он идёт на работу как на бой! И домой возвращается предельно усталый, опустошённый. Оно не мудрено — пообщайся-ка со всеми этими троцкистами-вредителями!.. Если бы ей сказали, что муж её хладнокровно пытается ни в чём не повинных людей, заставляет их признаваться в несуществующей вине и тем самым обрекает их на позорную смерть (а семьи их на страшные унижения), она бы этому ни за что не поверила. И уж никак она не могла предположить, что муж её — этот бесстрашный рыцарь без страха и упрёка — сам будет признан врагом народа и будет расстрелян через каких-нибудь два года, её саму также арестуют и отправят в знаменитый «АЛЖИР», где она просидит вплоть до ликвидации лагеря в 1953 году, из которого выйдет уже старухой — беззубой и полусумасшедшей, никому не нужной на этом свете. Всё это ждало её — её и многих, очень многих женщин первой в мире страны Советов. А пока она хлопотала по дому, готовила ужин своему Коленьке и предвкушала оживлённое застолье и не менее оживлённую ночь.

\* \* \*

Петра Поликарповича отконвоировали в его одиночную камеру, в которой к тому времени набилось так много народу, что уже и сесть было негде. Пётр Поликарпович кое-как пристроился на нарах в самом углу, привалился к стенке, закрыл глаза и как бы задремал. Минутный душевный подъём миновал, наступило расслабление, и он ощутил страшную тяжесть во всём теле и в голове. Было такое чувство, будто через голову протягивается медленный поток — тяжкий, тягучий, нескончаемый. И его словно бы уносило этим потоком куда-то вдаль, где нет ни

чувств, ни мыслей, ни боли; при этом он понимал, что он всё там же и он всё тот же — измученный, обессиленный, потерявший всякую надежду человек. Что-то жуткое навалилось на него, и не было сил сбросить эту жуть, расправить плечи и свободно вздохнуть. Вспомнились слова следователя о том, что товарищи единодушно осудили его, исключили из Союза писателей, не сказав ни единого слова в защиту. «Как же они могли?!» — он судорожно стиснул челюсти, так что зубы закрипели. Перед глазами повлеклась вереница лиц: сумрачный, углублённый в себя Гольдберг, невозмутимый, уверенный в себе Басов, вечно чем-то удивлённый Балин, простодушный Волохов, ехидный Лист, вкрадчивый Седов. А это кто такой?... Пётр Поликарпович присмотрелся — да это же Володька Зазубрин из Новосибирска! Бородатый, весёлый, бодрый, энергия так и бьёт ключом, всё ему по плечу, и сам чёрт не брат! Пётр Поликарпович вдруг вспомнил, как в конце зимы Басов сказал ему вполголоса, поймав за руку в коридоре и отведя в сторонку: «А ты знаешь, что Володю Зазубрина в Москве арестовали? Варвару его взяли вместе с ним. Говорят, дела его плохи». Пётр Поликарпович тогда не поверил, слишком это было абсурдно. Но теперь вдруг подумал, что всё это может быть правдой, и Володька Зазубрин теперь тоже сидит в какой-нибудь камере и всё думает, думает о том, что случилось, и — ничего не понимает. Бьётся над этой загадкой и Пётр Поликарпович: за что могли арестовать первого пролетарского писателя, роман которого публично похвалил сам Ленин? Уж не за ту ли повесть, которую Зазубрин давал ему почитать ещё в Ново-Николаевске и которую тогда не принял ни один журнал? Повесть действительно была страшная, так что поверить в написанное было нельзя. Но теперь Пётр Поликарпович понял, что всё изображённое в повести — чистая правда! Ведь Зазубрин описывал лишь то, что видел своими глазами, когда в начале двадцатых служил в ВЧК. Зачем же ему было выдумывать? Зачем клеветать на советскую власть, за которую он жизни не щадил — ни своей, ни тех, кто был против? Воевал-воевал, уничтожал и расстреливал направо и налево, а потом вроде как стыдно стало — уже тогда, в двадцать третьем, когда всё было свежо и близко и когда ещё можно было называть вещи своими именами.

Секунда, и огненные строчки той жуткой повести вспыхнули перед ним:

*...В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:*

*— Святый боже, святой крепкий...*

*Глаза у него лезли из орбит. Он упал на колени:*

*— Братцы, родимые, не погубите...*

*А для Срубова он уже не человек. Четко бросил сквозь зубы:*

*— Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.*

*Его грубая твердость — толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:*

*— Дать ему пинка в корму — замолчит.*

*Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задрезжал стеклом в разошедшей раме:*

*— Святый боже, святой крепкий... Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.*

*Соломин ласков:*

*— В лопотине-то те, дорогой мои, чижеле. Лопотина, она тянет.*

*Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрал на колени полы длинной серой шинели, растягивал у него черный репсовый подрясник.*



У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у циклоток.

— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и стискивая брови, спокойно цурился от дыма.

— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса.

Пятая, женищина, — крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья — дурманный туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Кровью парной, потом едким человеческим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

— Раздевайся, гад!

— Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил.

Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было также жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевков. Срубов ему строго:

— Не нервничать.

И властно и раздраженно:

— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:

— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она говорила совсем детским голосом и немного заикаясь:

— Если бы вы зн-нали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на неё. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической...

Петру Поликарповичу сделалось жутко. Вспомнились слышанные однажды строчки сгинувшей в лагерях поэтессы:

<i>Все вижу призрачный, и душный,</i>	<i>Уходят люди без вопросов</i>
<i>И длинный коридор</i>	<i>В привычный ясный мир,</i>
<i>И ряд винтовок равнодушных,</i>	<i>И разминает папиросу</i>
<i>Направленных в упор...</i>	<i>Спокойный командир.</i>
<i>Команда... Залп... Паденье тела.</i>	<i>Знамена пламенную песню</i>
<i>Рассвета хмурь и муть.</i>	<i>Кидают вверх и вниз,</i>
<i>Обычное простое дело,</i>	<i>А в коридоре душном плесень,</i>
<i>Не страшное ничуть</i>	<i>И пир голодных крыс.</i>

Пётр Поликарпович вздрогнул и словно бы очнулся, посмотрел мутными глазами по сторонам. Вокруг были люди — понурые, притихшие, но всё-таки живые, тёплые, с целыми черепами и с ещё не погасшими надеждами. «А если и их всех — так же вот, в подвале будут стрелять — пускать пулю в податливый мягкий затылок,

а затем цеплять петель за шею и тянуть наверх, в открывшийся люк. А там уже грузовик дрожит от натуги в ожидании очередной партии окровавленных обгаженных тел. Почему бы и нет? Ведь было уже так! В двадцатом году. Сколько десятков тысяч тогда расстреляли по всем подвалам ВЧК? А мы знали и принимали как должное. Читали эту самую повесть, удивлялись, качали головами, даже и задумывались над прочитанным. Но — не ужасались, не цепенели от ужаса, не холодели до кончиков пальцев — как теперь вот! Это потому, что не примеряли всё это на себя. Думали — это всё не про нас, а про других, про гадких и зловредных, про ненужных на этой земле. А вот поди ж ты, теперь, может статься, ты сам никому не нужен, и повесть эта — про тебя!

Сердце сильно билось. Хотелось вскочить, броситься вон из душевой камеры и бежать, бежать без оглядки — в пустые безлюдные пространства, продираться сквозь густые ветки, переплывать холодные реки и всё дальше уходить от этого кошмара, от простреленных черепов и дымящейся крови, от дрожанья рук и судорог души! Не думать, не видеть, не вспоминать. Пётр Поликарпович с силой сдвинул себе виски и согнулся пополам, будто хотел спрятать голову у себя на груди. Так он сидел, мерно раскачиваясь, а рядом теснились люди, и никому не было до него дела, потому что у каждого была своя беда, своя неизбывная боль, свой крест и свой конец — совсем уже близкий.

Пётр Поликарпович рвался на волю, стены давили его. Но про него словно забыли. Других каждую ночь забирали на допросы, а под утро возвращали — избитых, измученных, едва понимавших, что с ними и где они. С ними отваживались, давали пить из мятой алюминиевой кружки, мочили водой тряпочки и прикладывали ко лбу, к разгорячённым глазам, осторожно вытирали сочившуюся кровь, неумело стягивали сломанные кости. Избитые скоро исчезали из камеры. Куда их забирали — никто не знал. Вместо них появлялись другие — в городских костюмах и с растерянными лицами и расширенными зрачками. Их вскоре тоже приходилось перевязывать и отпаивать водой, и они, в свою очередь, исчезали вслед за предшественниками. Всё двигалось и менялось вокруг. Ничего не менялось лишь в положении Петра Поликарповича. Ни вызовов на допросы, никаких угодно вестей — ничего! Он сидел в каменном мешке, где не было даже маленького оконца с дневным светом, зато в углу стояла деревянная ёмкость с дерьмом. Трижды в день арестантов кормили, утром давали кусок чёрного хлеба и кружку кипятку, в обед — миску баланды, вечером — снова кипяток. Пётр Поликарпович пробовал было проситься на прогулку, но конвоир так на него рывкнул, что Пётр Поликарпович молча сел на своё место и больше не задавал вопросов.

Прибывшие с воли приносили дурные вести. Бывший главный врач городской детской больницы Левантовский, с которым Пеплов был немного знаком по прежней жизни, поведал об арестах первых лиц области. Был арестован секретарь краевого оргбюро ЦК ВКБ(б) Леонов. И сразу вслед за ним взяли первого секретаря крайкома Разумова. Его заместитель, первый секретарь крайкома Козлов пошёл вслед за ним. Была арестована Нина Михайловна Горбунова, занимавшая пост второго секретаря Иркутского горкома ВКП(б). Вместе с ней взяли всех секретарей горкома — Шеметова, Сахарова, Жука. Комсомолия тоже понесла серьёзные потери: прямо из кабинетов забрали Захарова, Полину Беспрозванных, Игнатова — секретарей крайкома, обкома и горкома ВЛКСМ. Среди бела дня посадили в чёрный воронок председателя облисполкома Пахомова. А ещё арестовали Важнова, Букатова, Шапиро, Калюжного, Кушановского, Тобиаса, Русакова, Косокова, Ка-

уфана, Гисмана, Ербанова, Данилова, Чимидуна, Барайдина и ещё множество известных всему городу лиц. Все они занимали высокие посты — кто-то руководил научным институтом, кто-то заведовал больницей, кто-то руководил железной дорогой, были тут и профессора, и мастера по шахматам, и даже действительный член американского антропологического общества — Бернард Эдуардович Петри. По мере того как Левантовский называл фамилии своим приглушённым голосом, Пётр Поликарпович деревенел и тупел. И под конец перестал чувствовать что бы то ни было, словно он попал в безвоздушное пространство. Мелькнула мысль, что перед ним провокатор. Или нет, скорее, это сумасшедший. Но и это не так. Это всё похоже на сон, на бред воспалённого ума. Это всё ему лишь кажется — и камера с истерзанными людьми, и этот интеллигентный человек, так спокойно сообщающий ему невероятные вести. Стоит лишь крепко зажмуриться, р-раз! — и всё сгинет, как будто и не было никогда!

— Пётр Поликарпович, что с вами? Вам плохо? — послышался участливый голос.

Пеплов раскрыл глаза и увидел печальные глаза Левантовского. Нет, он не сумасшедший и не провокатор. И всё это происходит в действительности. Но тогда, быть может... Он схватил Левантовского за руку.

— Михаил Юрьевич, а что, если это контрреволюционный переворот? Власть захватили враги советской власти, и теперь они сажают всех преданных партии людей. Ведь это всё объясняет!

Левантовский печально покачал головой, произнёс со слабой улыбкой:

— Если б так! Это было бы проще всего. Но ведь красный флаг всё ещё висит над обкомом. И Сталин сидит в Кремле. Молотов с Ежовым тоже на своих местах. Советская власть сильна, как никогда. Теперь все только и говорят о советской власти и о партии большевиков. Митинги проходят каждый день, Сталина славословят, а врагов ругают, требуют суровой расправы над ними. Это мы с вами враги и контрреволюция. Так-то, дорогой Пётр Поликарпович.

— Я не враг советской власти! — вскинулся Пётр Поликарпович.

Левантовский согласно кивнул.

— Охотно верю. А как насчёт этих? — и он кивнул на соседей по камере.

Пётр Поликарпович скосил глаза, подумал несколько секунд.

— Не знаю. Я ведь с ними не знаком. Мало ли что бывает.

Левантовский опять кивнул.

— То-то и оно. Все теперь так и рассуждают, особенно те, кто на воле. Они ведь не знают, кто и за что арестован. А может, нас всех за дело посадили? Откуда им знать? И вы, Пётр Поликарпович, если были бы теперь на свободе, тоже осуждали бы врагов и вредителей, требовали суровой расправы с негодяями.

— Да вы что? С чего вы взяли? Я бы никогда не осудил невинного человека.

— А врага осудили бы?

Пётр Поликарпович неуверенно кивнул.

— Пожалуй, врага бы я осудил. Если бы точно знал, что он враг.

— Ну вот вам и объяснение! Нас и считают врагами! А как же иначе? Если в газетах пишут, что мы шпионы и диверсанты (а газетам мы привыкли верить), и если следователи добиваются от нас чистосердечных признаний и публичного покаяния, а всякие докладчики и агитаторы без усталости выступают на митингах и собраниях, проклиная подлых вредителей. Как тут не поверишь? Любому дураку ясно: правильно нас взяли! И всем нам прямая дорога — на тот свет. Чтоб

не путались под ногами у нарождающейся смены, не мешали уверенной поступи самого справедливого общества в мире.

Пётр Поликарпович отстранился.

— Погодите. Я лично ни в чём не признался, и признаваться не собираюсь. За что же меня расстреливать?

— На второй день после вашего ареста уже была статья в «Восточно-Сибирской правде», где сообщалось о том, что вы во всём признались, изобличены неопровержимыми уликами и показаниями своих подельников. И я, честно вам скажу, призадумался: а может, чего и было. И все остальные рассуждают точно так же, — Левантовский вздохнул. — Нет, Пётр Поликарпович, советскую власть никто и не думал свергать. И это всё, — он обвёл рукой камеру, — её милые проделки. С воли мы точно помощи не дождёмся. Разве что, от родных. Но они сами теперь в опасности. Жён ведь тоже берут вслед за мужьями. Детей передают в детские дома. А вы разве не знали? — И Левантовский с грустью посмотрел на Пеплова. Тот в первую секунду не знал, что сказать. Поверить в услышанное было слишком страшно, но и не верить он не мог. Зачем Левантовскому обманывать его? Если только... его самого не обманули.

— А у вас есть дети? — быстро спросил Пеплов.

Левантовский кивнул.

— Есть. Дочь работает педиатром в детской больнице. А сын — геолог. На Дальнем Востоке, в Дальстрое. В тридцать первом завербовался. Погнал за длинным рублём. Может так случиться, что скоро мы с ним увидимся.

— Вы думаете, его тоже арестуют?

— Нет, я думаю, произойдёт обратное: меня отправят к нему.

— То есть как? — не понял Пеплов.

— На Дальний Восток, в бассейн Колымы, — чуть усмехнувшись, ответил Левантовский. — Там сейчас активно развивается золотодобыча. Требуются рабочие руки. А кто туда по своей воле поедет? Ну, геологи — это ещё куда ни шло, им за это деньги платят. А вот мёрзлый камень долбить да тачку на себе возить с утра до ночи — на это охотников нет. Вот нас с вами и отправят на Колыму добывать золото для страны. Надо же на что-то покупать американские станки и немецкое вооружение.

— Вы полагаете, что нас могут отправить на Дальний Восток? — спросил Пеплов, ещё не зная, как отнестись к подобной перспективе.

— Это вполне вероятно, — был ответ. — Туда сгоняют заключённых со всего Советского Союза. Везут пароходами из Владивостока, сгружают на голый берег в бухте Нагаево и гонят пешими этапами туда, куда Макар телят не гонял. Сын рассказывал, когда приезжал в отпуск в прошлом году. И знаете, о чём он поведал? — глаза Левантовского неожиданно сверкнули, зрачки на миг расширились и обратились в точки. — Он работает в Дальстрое с тридцать второго, ещё застал Блюхера и его команду. Первую зиму, когда ещё не было заключённых, все они жили в армейских утеплённых палатках, и никто тогда не умер. А через год, осенью, по морю прибыл первый этап — двенадцать тысяч заключённых. Продуктов для них не завезли вовремя. И никаких строений не было приготовлено. Как вы думаете, сколько из них дожили до весны?

Пеплов задумался на секунду, потом ответил:

— Ну, по моему прошлому опыту, думаю, процентов девяносто... или, может, восемьдесят, учитывая тамошний климат.



Левантовский опустил голову и глухо проговорил:

— Все двенадцать тысяч заключённых умерли от голода, никто не пережил ту зиму. Даже охранники погибли. Собак всех поели, кошек ловили, птиц. Раскапывали свежие могилы и отрезали куски мяса от мертвецов. Травились трупным ядом, конечно. Теряли рассудок. Кто-то раньше умер, кто-то чуть позже. Кто от голода, кто от авитаминоза. Кого-то блатные сразу убили, а кто в сопках замёрз. Некоторые пытались бежать. Но куда там побежишь — зимой, в пятидесятиградусный мороз, без одежды, без продуктов. Населённых пунктов в нашем понимании там нет. Поезда туда не ходят, и ещё тысячу лет не будут ходить. Самолёты не летают. Обычных дорог — и тех нет! Бежать там попросту некуда.

Пётр Поликарпович медленно покачал головой.

— Этого не может быть. Я вам не верю. Как же это? Завезли столько людей, а продуктов не предусмотрели? Это что, диверсия? Вредительство? Кто-нибудь наказан за это?

Левантовский пожал плечами.

— Ну да, расстреляли несколько человек для острастки. А на следующий год история повторилась. В ноябре тридцать третьего снова этап — шестнадцать тысяч. И снова — в чистое поле, в мёрзлую землю. На этот раз привезли муку в мешках, какие-то крупы, рваные палатки. Но продукты быстро закончились, а палатки не спасали от лютых морозов. Адаптация на Крайнем Севере — очень непростая штука, даже при хорошем питании и нормальных бытовых условиях. А когда, я извиняюсь, людям жрать нечего, а на ногах резиновые чуни — это в сорокаградусные морозы, — что тогда? И вот итог: из шестнадцати тысяч заключённых до весны дотянули чуть более трёх сотен. Да и тех пришлось срочно вывозить на Большую землю, все получили инвалидность, признаны негодными к труду. Считай, калеки на всю жизнь. Кто без руки, кто без обеих ног. У всех носы отморожены, куриная слепота, пеллагра, дистрофия, глубочайшая душевная травма.

Пётр Поликарпович с беспокойством огляделся. Ему вдруг показалось, что это он оказался на краю земли, в царстве холода и неизбывной тоски. Что такое холод, он знал не понаслышке. Студёную сибирскую зиму девятнадцатого года он провёл в глухой присаянской тайге. Тогда у них, правда, были продукты. Ведь все были местные. Охотились в тайге, таскали рыбу из лунок, жители окрестных деревень им помогали, прятали раненых от колчаковцев, отогревали в лютую стужу.

А если опять доведётся попасть в тайгу, без пищи, без нормальной одежды, да под конвоем?... Пётр Поликарпович передёрнул плечами и подумал: избави бог от такой судьбинushки. Уж лучше сразу умереть.

Он пошевелил губами и произнёс задумчиво:

— Не знаю, Юрий Михайлович. Как-то вы всё видите в мрачном свете. Я лично не собираюсь ехать ни на какой Дальний Восток.

— Ну так вас в Бамлаг отправят — это не намного лучше. Там тоже нужны рабочие руки — рельсы прокладывать сквозь тайгу. От Иркутска не так уж и далеко, всего тысяча километров.

Пеплов нахмурился.

— Туда я тоже не поеду. Я ни в чём не виноват перед родной советской властью, и я собираюсь это доказать.

Левантовский через силу улыбнулся.

— Ну что же, желаю вам успеха...

Пеплову почудилась насмешка в последней реплике. Он хотел ответить ка-



кой-нибудь резкостью, но в последний момент сдержался. Уж очень жалко выглядел его оппонент. Ему тоже должно быть тяжело и больно — гораздо тяжелее, чем Пеплову. Ведь он не верит в благоприятный исход дела, заранее согласен ехать на Колыму. Как же можно с этим жить? Покорно ждать, когда тебя отправят за тридевять земель на верную смерть. Или расстреляют прямо тут, заставив признаться в несуществующей вине. Нет, уж лучше сразу в петлю и — конец всем мучениям!

Пётр Поликарпович обвёл взглядом мрачные стены и убедился, что свести счёты с жизнью здесь нельзя. Нет ни верёвок, никаких ни упоров, ни крючков. Люди сидят так тесно, что любое намерение сразу же открывается. Здесь ты уже не хозяин самому себе. Тут можно лишь терпеть — всё, что ниспошлёт тебе судьба.

Больше они в этот день не говорили. Пётр Поликарпович, кое-как пристроившись между нарами и стеной, задремал. А когда проснулся, увидел, что Левантовского нет в камере.

— Забрали на допрос, — с неохотой сказал, повернувшись, угрюмый старик, когда Пётр Поликарпович спросил его о товарище.

Левантовского приволокли глубокой ночью, втащили в камеру за руки и бросили, словно куль, на цементный пол. Пеплов сразу же подошёл к нему. В тусклом свете едва разглядел разбитое в кровь лицо, слипшиеся от пота и крови волосы, различил прерывистое дыхание.

Левантовский раскрыл веки и, разглядев товарища, едва заметно кивнул.

— Вот видите, а вы мне не верили. Всем нам крышка. Теперь я в этом окончательно убедился. С этими людьми нельзя договориться. Мы для них — скот. Они нас за людей не считают. Но я им тоже кое-что сказал. Пусть не думают, не на того напали.

Пётр Поликарпович помог ему приподняться. Оторвал кусок своей рубахи, намочил водой из кружки и протянул товарищу.

— Спасибо, — сказал тот дрогнувшим голосом. Стал осторожно вытирать лицо, морщась и вздрагивая. — Это ничего, — приговаривал придушенным голосом, — щиплет немного, а так ничего, не очень и больно. Главное, что кости целы.

Пётр Поликарпович молча смотрел на него. Вдруг заметил, что Левантовский улыбается.

— Вы знаете, я сегодня провёл с ними эксперимент. Высказал им всё, что о них думаю. По крайней мере, нам было о чём поговорить. Нельзя же всерьёз обсуждать все эти глупости, в которых нас обвиняют. За это и получил... Впрочем, меня всё равно бы избили. Ведь это у них основной метод поиска истины. С избитым человеком гораздо проще разговаривать. То, что обычному человеку приходится втолковывать по несколько раз, избитый понимает сразу, усваивает на уровне рефлексов. Другое дело — соглашается ли он с услышанным. Я, например, не согласился. Более того, я сам и кое-что объяснил им о том, что они такое, откуда вышли и куда придут. И вот вам результат.

— Что же такого вы им сказали? — спросил Пеплов.

— Да всё то, о чём думал много лет, но не решался никому сказать, даже своим близким. А теперь вдруг подумал: какого чёрта? Всё равно умирать. Пусть услышат хотя бы от меня правду-матку.

— Очень интересно! — подхватил Пётр Поликарпович. — Вы знаете какую-то особенную правду?

— Да, знаю, и это вовсе не секрет для думающих людей. Я им в лицо сказал, что социализм у нас невозможен. По крайней мере, теперь. Лет через тысячу,

пожалуй, он и может наступить. Но не путём революций и расстрелов, а исключительно естественным образом, без всех этих потрясений и убийств. Примерно так, как растёт и развивается любой организм в природе. Вчера это была личинка, сегодня гусеница, а завтра будет бабочка. И всё это постепенно, без резких переходов. Нельзя в одну секунду личинку превратить в бабочку! Так же как нельзя отсталую Россию вдруг сделать социалистическим раем. Общественное благополучие должно вызреть и подготовиться. На это нужны не годы, а века.

Пётр Поликарпович нахмурился.

— Ну, это никакая не новость. Оппортунисты то же самое говорили. А Ленин их разоблачил и дал им принципиальную оценку.

Левантовский резко обернулся.

— Да какая же это оценка? Ленин умел лишь ругаться и навешивать ярлыки. Один у него ренегат, другой — политическая проститутка, третий — недоносок, кругом него сплошь сволочи и ублюдки. Виднейшего социал-демократа Каутского, который редактировал «Капитал» Маркса и состоял в переписке с Энгельсом, он печатно обзывал ренегатом, реакционером, прислужником буржуазии, и только что матом не ругался. И заметьте, прав-то в итоге оказался именно Каутский! Он говорил то, что и все нормальные люди! Ленин даже со своими ближайшими соратниками расплевался, когда они ему пытались объяснить очевидные факты. Боевик и профан Сталин оказался ему ближе интеллигента и умницы Мартова! Вот вам Ленин и вся его наука. Все его статьи и речи — это сплошная демагогия, словесная эквилибристика, подтасовка фактов и безудержный поток оскорблений. Говорили ему и Мартов, и Плеханов, и почти все европейские социал-демократы о том, что революция в России приведёт к массовой резне и деградации, что Россия не готова к социализму, что надо обождать лет двести, по крайней мере. Приводили в пример Францию с её кровавым термидором и полной вакханалией, закончившейся Наполеоном и национальным унижением. Цитировали Маркса, который презирал славян, а все свои теории готовил для просвещённой Европы, вовсе не имея в виду отсталую Россию. Что им на это отвечал Владимир Ильич? Да ничего вразумительного. Истерические лозунги и бесшабашная уверенность в том, что всё как-нибудь само собой наладится. Ничего другого он предложить не мог, потому что сам ничего не знал и не понимал, живя в своей Швейцарии. Ленин совершенно не знал Россию и пробавлялся глупыми фантазиями о сознательном мужике и грамотном рабочем. Верил в пустую теорию, совершенно не понимая практики. За месяц до Февральской революции он публично заявлял, что до революции в России он не доживёт, а вся надежда — на будущие поколения. И вдруг свершилась Февральская революция, притом, совершенно без участия большевиков! Тут они все и нагрянули — кто из-за границы, а кто-то из ссылки примчался на всех парах, ведь их всех выпустили тогда стараниями тех же эсеров и кадетов, которых большевики впоследствии объявили вне закона и стали безжалостно истреблять. А что они осенью семнадцатого устроили — об этом вы и сами знаете. Разогнали законно избранное Учредительное собрание, захватили власть и стали управлять. Что же мы имеем теперь, двадцать лет спустя?

Пётр Поликарпович промолчал.

— Сначала была кровавая Гражданская война, уничтожение ближайших политических союзников и целых сословий, истребление лучших умов во всех сферах деятельности. В результате промышленность остановилась, продуктов не стало вовсе, наступил всеобщий хаос. Тогда большевики начали отбирать всё ценное у

населения, называя это экспроприацией. А в деревне устроили форменный грабёж под видом продразвёрстки. За всю тысячелетнюю историю Руси не было ничего подобного! Даже татары так страшно не грабили русских крестьян, как это делали большевики в течение трёх лет. Вполне закономерно начались восстания. В двадцатом году тамбовская губерния поднялась против большевиков. Целый год Тухачевский со всей своей армией не мог справиться с неграмотными крестьянами. Пришлось применять против них артиллерию и химическое оружие, выжигать целые сёла, сгонять пленных в концлагеря и массово брать заложников. А на следующий год случился неслыханный голод в Поволжье — с миллионными жертвами, с людоедством. Пять миллионов умерло от этого голода — можете вы представить эту цифру? В городах была полная разруха и дезорганизация. Ведь нельзя же всё время воевать и убивать, надо же что-то и производить! А об этом никто и не подумал. Ведь что произошло? До семнадцатого года почти полвека только и делали, что ругали царизм и капитализм. Уж так всё плохо было, что хоть в петлю лезь! И весь этот революционный энтузиазм на этом и держался — на ненависти к собственной стране, к её тысячелетней истории. При этом большевики обещали всем немедленное счастье — этакий социалистический рай, который наступит сразу после свержения царизма и утверждения Советской власти. Но рай, как вы, наверное, знаете, не наступил, и не мог наступить. Надежды на сознательность рабочих масс и крестьянства не оправдались. Нужно было работать, а не митинговать. Каждый работник должен быть заинтересован в своём труде, только тогда труд будет высокопроизводителен (о чём так беспокоился Ленин). Но этого-то интереса большевики и лишили всех поголовно — и рабочих на фабриках, и тем более — крестьян в деревнях. Ну зачем крестьянину пахать и сеять, если урожай у него всё равно отберут? А рабочему зачем целый день стоять за станком, если на его нищенскую зарплату нельзя ничего купить? Вот и не стало в стране ничего — ни хлеба, ни металла, ни, извините, штанов. Вышло так, что правы оказались эсеры, а не большевики. Правы оказались европейские демократы во главе с Каутским! Но Ленин был неглупый человек. После тамбовского мятежа он наконец-то понял, что нужно что-то кардинально менять в экономическом укладе. Он объявил нэп и фактически признал правоту всех тех, кто говорил о невозможности немедленного социализма в России. Отменили продразвёрстку, дали свободу мелким кооператорам, разрешили крестьянам продавать излишки хлеба и овощей. Лишь тогда народ немного перевёл дух. Деревня стала оживать, в городе появились продукты, кровавые бунты прекратились. И так бы всё и наладилось постепенно. Но в двадцать девятом Сталин неожиданно свернул нэп, разогнал кооперативы и стал грубо насаждать колхозы. Вот тогда-то и случился ещё один страшный голод, от которого умерло уже не пять, а пятнадцать миллионов человек! И опять начался террор в деревне, затем сфабриковали процесс над промпартией и шахтинское дело, стали искать вредителей среди технической интеллигенции; потом, вы знаете, было, убийство Кирова и самоубийство Орджоникидзе. Начались аресты и казни ближайших соратников Ленина, и, наконец, добрались до нас с вами. Иначе и быть не могло! Всё это предвидели умные люди задолго до семнадцатого года. Да только их никто не слушал.

Произнеся столь длинную тираду, Левантовский уронил голову на грудь. Пётр Поликарпович молчал, поражённый услышанным. Не думал он, что здесь, в тюрьме, услышит подобные речи. Он и хотел что-нибудь возразить, но стал припоминать и вспомнил, что уже слышал в разные годы и от разных людей схожие

высказывания. И о невозможности революции в отсталой России. И о разоре деревни (это он и сам видел в своём селе). Знал и про страшный голод, выкосивший целые регионы. И про все эти странные процессы над старыми большевиками, соратниками Ленина, — с удивлением читал в газетах. Ходили упорные слухи о последних письмах Ленина, в которых он требовал смещения Сталина с поста генсека, говорил о его грубости, нетерпимости к иному мнению. Но об этих письмах говорить было опасно. В какой-то момент все это поняли и — замолчали. Стало вдруг невозможным говорить то, что думаешь. И все стали повторять лишь то, что требовалось в данную минуту. В двадцать восьмом, когда боролись с левым уклоном, — ругали всех тех, кто требовал сворачивания нэпа и немедленной индустриализации. А уже через два года стали ругать правый уклон — за то, что не верили в быструю индустриализацию и предлагали пожалеть мужика (так что даже появился нелепый термин: «левацко-правый уклон», пустил в оборот его сам Сталин (бездарно подражая Ленину), и все с готовностью согласились, что это и своевременно, и очень мудро). Так происходило каждый раз: надо было соглашаться с генеральной линией партии, даже если ты беспартийный и если ты думаешь по-другому. А иначе — плохо будет тебе. Это поняли ещё до всяких процессов. Оно как-то само почувствовалось, будто в воздухе появилась некая примесь — и всё вокруг стало иным.

В эту ночь Пётр Поликарпович больше так и не уснул.

А утром Левантовского опять вызвали на допрос. Уходя, Левантовский приостановился, посмотрел на Пеплова.

— Помните о том, что я вам сказал, — произнёс он и вышел.

Больше Пётр Поликарпович никогда его не видел.

Юрий Михайлович Левантовский, врач-невропатолог первой городской детской больницы, был расстрелян в декабре тридцать седьмого года. Сына его также расстреляли, годом позже, но уже в Магадане. Он был прихвачен делом Берзина, признан участником «колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации» (как было сказано в приговоре). По этому выдуманному делу были расстреляны тысячи невинных людей. Но всё это было впереди, и всё это было очень далеко — за тридевять земель, куда Пётр Поликарпович никак не чаял попасть.

\* \* \*

Потянулись дни и недели жаркого лета тридцать седьмого года. Аресты шли плотной чередой, без продыху. И люди-то какие! Никак нельзя было предположить в них террористов и вредителей. Ну зачем, спрашивается, первому секретарю областного комитета партии, у которого вся власть в руках и куча привилегий, плести какие-то заговоры, вредить родному государству и свергать советскую власть? Ту самую власть, которая так много ему дала, подняла на самый верх служебной лестницы! Это был полный абсурд, невероятная чепуха. И зачем террористам устраивать ещё и экономические диверсии? Ведь если они замыслили убить товарища Сталина и устроить государственный переворот, так зачем тратить силы на дезорганизацию работы какой-нибудь чаеразвесочной фабрики или взрывать угольную шахту где-нибудь в Кузбассе? Во всей мировой истории такого не было. Уж что-нибудь одно — или кровавый террор, или экономический саботаж. Не могут одни и те же люди быть одновременно отъявленными убийцами

и мелкими пакостниками! Это противоречило обычному здравому смыслу. Но с конца прошлого года в обиход вошло это страшное слово — «вредитель»! Признать человека вредителем означало подписать ему смертный приговор. И людей стреляли — сотнями и тысячами — по всей стране. Центральные и местные газеты каждый день печатали разоблачительные статьи, клеймили «подлых врагов народа», призывали «доблестные органы НКВД» «выжечь заразу калёным железом».

Пётр Поликарпович все летние месяцы тридцать седьмого безвылазно сидел в своей камере. На допросы его не вызывали и ровно ничего не сообщали — ни хорошего, ни дурного. Он радовался этому, в душе понимая, что может не выдерживать допросов «с пристрастием», результаты которых он видел воочию каждый день. Но порой у него вспыхивала безумная надежда, что всё ещё образуется, а правда восторжествует, его выпустят на волю и всё будет как прежде. Вот только соседи у него на глазах превращались в инвалидов, души их были искалечены, воля сломлена, разум подавлен страшной действительностью. Большинство их подписало признательные показания (признавались не столько от кровавых избиений, но в неминуемой уверенности в том, что арестуют их близких — в эти угрозы следователей верили безоговорочно). Все признавшиеся подлежали немедленному расстрелу — большинство расстреливали здесь же, в специальном бункере внутренней тюрьмы УНКВД, остальных увозили в городскую тюрьму на улицу Баррикад, где точно так же стреляли из «вальтеров» в затылок и под покровом ночи увозили на грузовиках за город, на «Дачу лунного короля», в живописное местечко, откуда открывался роскошный вид на синеющую вдаль Ангару и на вековой лес. Пётр Поликарпович смутно догадывался о происходящем. Его догадки неожиданно подтвердил охранник — молодой красноармеец, раздававший по утрам миски с баландой. Однажды он тронул Петра Поликарповича за плечо, когда тот поставил пустую миску на железный поднос и уже повернулся уходить.

Пётр Поликарпович оглянулся. На него пристально смотрел высокий белобрысый парень. Лицо его казалось знакомым.

— Вы меня не помните? — спросил тот.

Пётр Поликарпович отрицательно качнул головой.

— Я Лёшка, сын Николай Ивановича, — вполголоса сообщил тот и быстро окинул камеру цепким взглядом. Убедившись, что никто не слышит, сказал приглушённо: — Постарайтесь тут подольше задержаться. Не подписывайте ничего! Всех подписавших признание переводят на пятнадцатый пост и там расстреливают. А могут и здесь шлёпнуть. Камеры переполнены, вот и стараются. Я-то знаю, что вы ни в чём не виноваты, мне отец про вас рассказывал. Только не говорите об этом никому, а то мне попадёт. — И, не дождавшись ответа, громко закричал: — Давай пошевеливайся. Не задерживай миски, соседние камеры тоже хотят жрать... — и вышел, захлопнув железную дверь.

Пётр Поликарпович некоторое время продолжал стоять не оборачиваясь. Сзади копошились сокамерники, о которых он почти ничего не знал. Сказать им о том, что все они скоро умрут, он не решился. Им бы это не помогло. И нельзя было подводить этого парня. Трудно было понять, зачем он рассказал всё это Петру Поликарповичу. Видно, осталось в душе его сострадание. Хотя, что толку от его сострадания, если он послушно исполнял свою роль и ничему не противился.

Но иногда случались и «откровения» совсем иного свойства. Однажды Пётр Поликарпович разговорился с молодым мужчиной, бывшим бухгалтером Иркутского дрожжевого завода. Это был очень спокойный человек с тонкими чертами лица и



мечтательными глазами. Он говорил тихим голосом, глядя в сторону и как бы размышляя про себя. Как и все тут, он был ни в чём не виновен, но сразу подписал протокол с признанием своей вины — ради молодой жены и двенадцатилетнего сына. В прошлом году сильно простудился и умер от пневмонии другой его сын — младшенький. Они тогда пережили с женой такое горе, какого не выразить в словах. Он и помыслить не мог о том, чтобы его второй сын остался сиротой, а ещё не отошедшая от горя жена вдруг оказалась в тюрьме и с ней стали бы делать то же самое, что и с ним, а может, чего и похуже (на что с ухмылкой намекал следователь). Пусть уж умрёт он один. «Так будет лучше, — несколько раз повторил он, пристально глядя в угол камеры и едва заметно покачиваясь. — Мне уже тридцать девять лет. Я достаточно пожил, ну и довольно!»

Когда Пётр Поликарпович поинтересовался, за что его арестовали, тот ответил с милой улыбкой, что он японский шпион.

— Вот как? — удивился Пеплов. — Значит, вы добывали сведения для японских самураев? Что же их заинтересовало в нашем краю?

— Я так полагаю, они хотели устроить диверсию на нашем дрожжевом заводе. А я собирал для них информацию, только вот ещё не придумал, какую. Я ведь плохо знаю технологию производства. Так, в самых общих чертах. Моё дело — учёт и нормирование сырья, расчёт себестоимости конечной продукции, подготовка ведомостей на выплату зарплаты.

— А с японцами о чём говорили? — спросил Пётр Поликарпович.

Мужчина повернул голову, в первую секунду не поняв вопроса. Потом ответил:

— Вот это самое слабое место в моих показаниях. Ведь я не видел за всю свою жизнь ни одного японца, никогда не был в Японии, не знаю ни одного японского слова. И, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в Японии знают, что такое русские дрожжи. Хотя, может быть, и знают. Они ведь из чего-то пекут там у себя свой хлеб, или как он там у них называется?

Пётр Поликарпович слушал и не верил. Какая-то нелепица. Перед ним сидел умный интеллигентный человек в дешёвеньком костюме и рассказывал про себя небылицы, которым мог поверить разве что семилетний ребёнок. Однако судьба его уже была решена. Вину свою он признал, дни его были сочтены. Мысленно он уже простился со своим двенадцатилетним сыном и двадцатидевятилетней женой. Сыну предстояло пополнить ряды «безотцовщины» и прожить всю жизнь с клеймом сына врага народа. А жена его так больше никогда не вышла замуж, потому что ей (как и всем другим жёнам) не сказали, что мужа её расстреляли через четыре месяца после ареста. Вместо этого ей выдали справку о том, что муж её осуждён на десять лет без права переписки. И она ждала его все эти десять лет, и потом ещё много лет ждала, пока не выяснилось, что всё это обман, а мужья и братья давно уже лежат в могиле — тут же, сразу за городом, на «Даче лунного короля». Но всё это было впереди. А пока что молодой, полный сил мужчина, рисовавший на досуге недурные акварели и боготворивший Тютчева, сидел, сгорбившись в переполненной камере и ждал, когда его поведут на расстрел. В такую-то минуту кто-то произнёс из угла грубым голосом:

— Вот из-за таких Иван Ивановичей мы тут и сидим! Фашисты проклятые! Давить вас всех надо!

Пётр Поликарпович сначала не понял, что всё это относится к нему и его собеседнику.

— Что вы сказали? — произнёс, обернувшись.



— А что слышал! Гады вы все, давить вас надо. Из-за вас и мы тут сидим. Ну ничего, скоро во всём разберутся, получите по заслугам!

— Почему это вы сидите из-за нас? — стараясь сохранить спокойствие, спросил Пеплов. Собеседник его тоже обернулся и с любопытством смотрел в угол, где ворочался здоровенный парень с круглым и злым лицом. Видно было, что парень «из простых», может даже из деревни. Хотя, это вряд ли. Деревенский не стал бы качать права. Значит, местный, из какого-нибудь депо. Этакая дубина стоеросовая, великовозрастный болван, так ничего и не успевший понять.

Но Пётр Поликарпович не угадал. Парень был обычным уголовником. Взяли его на краже и вменяли теперь пятьдесят восьмую статью — саботаж. Такой расклад его никак не устраивал. Сидеть в тесной камере в компании с «контриками» он не хотел. Вот и не выдержал.

— Вот погодите, — грозил он. — Попадёте в лагерь, там вас научат жизни. Будете ходить по струнке, научитесь любить советскую власть!

Бухгалтер перевёл взгляд на Пеплова и улыбнулся. Судьбу свою он знал, никакой лагерь уже не мог его напугать. Ему хватило ума понять бесполезность спора с таким болваном. Но Пётр Поликарпович принял всё это близко к сердцу. На беду свою (или к счастью?), он никогда не имел дела с уголовниками. По крайней мере, в такой вот обстановке. Попадись ему этот субъект в партизанском отряде, он бы его хвалил за смелость и решительность в бою. И такие типы там были. Но вот ситуация изменилась, и смелый решительный боец вдруг обратился в тупого озлобленного детину, от которого можно ждать любой мерзости.

— Простите, а вы за что сюда попали? — проговорил Пётр Поликарпович с достоинством.

— Не твоё дело! — огрызнулся детина. — Сиди там, пока я тебя в парашу головой не засунул.

Пётр Поликарпович решительно поднялся. Но его опередили. Произошло какое-то движение, глухой удар, судорожный всхлип, и детина вдруг захрипел, повалился на пол. Он извивался, сился протолкнуть в себя воздух и крепко держа себя за горло. Было такое впечатление, что он сам себя душит, извиваясь и утробно рыча. Над ним неподвижно стоял, скрестив руки на груди, коротко стриженный мужчина. На лице его было написано презрение; глаза словно бы застыли. От всего его вида веяло силой и непреклонностью, хотя он был обычной комплекции и среднего роста.

— Вот так, — проговорил он с удовлетворением. — Будет знать своё место.

Пётр Поликарпович кивнул на детину.

— Это вы его ударили? Ловко. Сразу видно человека бывалого.

— Не будет языком трепать почём зря, — не поворачивая головы, ответил мужчина. Помолчал немного и добавил: — Дай ему волю, он бы всех нас отправил на тот свет. Точно такая же падаля сидит теперь там, в кабинетах, и решает нашу судьбу! — Он выразительно кивнул на потолок. — Я лично не жду для себя ничего хорошего. Пощады нам не будет. Но и спуску я никому не дам! — сказав это, он шагнул обратно в угол, сел на нары и замолчал. А поверженного парня через некоторое время уволокли под руки из камеры. Что там было с ним дальше, никто не знал. Да это никого и не интересовало. В этот же день, вечером, увели на допрос и мужчину, учинившего столь молниеносную расправу. Он вышел молча, ни с кем не попрощавшись, даже не кивнув. Видно было, что к сантиментам он не склонен и готов ко всему. Пётр Поликарпович жалел, что не спросил, кто он и

как сюда попал. Он так и не узнал, что сидел в одной камере с бывшим колчаковским офицером — Лесковым Виктором Ивановичем. В девятнадцатом году Пётр Поликарпович, будучи в партизанском отряде, воевал против Виктора Ивановича, сначала убегал от него, а затем гонялся по тайге за отступающими белогвардейцами. Если бы Пеплов попался Лескову в руки, то, скорее всего, был бы расстрелян. А если бы Виктор Иванович попался в руки партизан, так тут и гадать не надо — его бы точно уколошили. Да, жестокое это было время! Но вот теперь бывшие враги оказались в одинаковом положении, в одной камере, без различия боевых заслуг, социального происхождения, образования и каких угодно соображений. Оно и хорошо, что Пётр Поликарпович не узнал в этом человеке своего бывшего врага. Оптимизма бы ему это знание не прибавило.

Через эту одиночную камеру проходили самые разные люди. Были тут бородастые колхозники с двумя классами образования, смотревшие настороженно, с тупым выражением на одутловатых лицах. Были рабочие в мятых тужурках и в сапогах. Были железнодорожники, державшиеся независимо, особняком. Были речники, также чувствовавшие тайное превосходство над всеми остальными. Попадались люди с высшим образованием, интеллигенты и эстеты, а были вовсе безграмотные, не способные даже понять, в чём их обвиняют, путавшие эсеров с меньшевиками, троцкистов с кадетами, монархистов с интернационалистами, и по темноте своей считавшие тех же троцкистов едва ли не оборотнями, вампирами, кровопийцами и людоедами, в самом прямом смысле этих слов; а когда следователь предлагал им назвать пятьдесят членов троцкистской террористической организации, образовавшейся в их колхозе (посёлке, на полевом стане), они лишь пучили глаза и отвечали невпопад, почти как чеховский злоумышленник, никак не желавший понять, в чём его обвиняют. Следователи очень не любили такой контингент — всё за них приходилось делать самому: выдумывать несуществующие преступления, сочинять целый детектив со множеством участников, да чтобы всё это имело хоть какое-то подобие правды.

А однажды в камеру втолкнули священника в чёрной рясе и с белой окладистой бородой. И почти сразу за ним — бурятского ламу, тоже с бородой и в чалме. Пётр Поликарпович смотрел на них с изумлением, как бы не веря, что он, советский писатель и ярый безбожник, сидит теперь в одной камере с такими необыкновенными людьми. Хоть он и не верил в Бога, а над верующими открыто смеялся, но теперь, увидев так близко вполне реальных служителей таинственного культа, был потрясён. Он не мог поверить, что эти загадочные люди будут спать на грязных нарах, будут хлебать мутную баланду из салых мисок и пользоваться стоящей здесь же парашей — прямо у всех на виду. Сами священники казались совершенно равнодушными к происходящему. Один всё время что-то бормотал, едва шевеля губами и глядя прямо перед собой. Другой сидел неподвижно, уставившись в пустоту, в то время как руки его перебирали чётки из потемневшего дерева — очень медленно, словно бы нехотя, независимо от сознания. К ним никто не подошёл, не задал обычных вопросов. За всё время пребывания в камере оба священника не произнесли ни единого слова. На третий день обоих увели, одного за другим. И, как всегда, никто ничего о них так и не узнал.

Особенно Петру Поликарповичу запомнился один насмерть перепуганный парень. Белокурый, с приятным округлым лицом, он смотрел чересчур пристально, испытующе. Во взгляде его было что-то неприятное. Он всё молчал, а однажды подсел к Петру Поликарповичу и произнёс громким шёпотом:

— Мы должны покаяться перед советской властью!

Пётр Поликарпович отстранился, с недоумением глянул в лицо парню. Тот был серьёзен, смотрел прямо, не мигая. Пётр Поликарпович сразу заподозрил душевное расстройство, но виду не подал.

— Мне не в чем каяться, — примиряющим тоном произнёс он и отвернулся.

Парень вдруг приблизил лицо, глаза его расширились.

— Я знаю многих заговорщиков, они вокруг! Я должен рассказать следовательно! Мы не должны тут сидеть. Я очень хочу есть. Дайте мне что-нибудь поесть.

Пётр Поликарпович дёрнулся было встать, но вспомнил, что пойти тут некуда. Пожал плечами и ответил:

— У меня нет ничего. Скоро ужин, принесут что-нибудь.

— Как вы думаете, нас отпустят? — снова заговорил парень.

— Не знаю.

— Меня обязательно должны отпустить. Я им всё расскажу, и меня отпустят. Ведь я ни в чём не виноват.

Пётр Поликарпович невольно улыбнулся. Он уже знал, что перед советской властью все виновны — до последнего старика. Весь вопрос лишь в том, кого потянут к ответу. Всех ведь нельзя посадить. Кто-то должен оставаться и на воле.

— Меня нельзя бить! — произнёс парень с нажимом.

— А будут! — послышалось сбоку.

— Этого нельзя! — повторил парень, машинально оглянувшись на голос. — Я болен. Зачем вы меня пугаете?

— Это не мы тебя пугаем. Пугать тебя будут там, наверху, когда вызовут. Тогда и расскажешь про свою болезнь.

Парень вдруг страшно побледнел, весь вытянулся, затрясся, длинные костлявые пальцы судорожно схватились за грудь, лицо перекошилось; издав жуткий, нечеловеческий вопль, он повалился на пол; страшные конвульсии сотрясли тело, голова с силой забилась о каменный пол, на губах показалась розовая пена. Пётр Поликарпович сидел как громом поражённый. Он никогда не видел припадка падучей. Первый же опыт потряс его. Это и в самом деле было жуткое зрелище.

Кто-то бросился к двери, забарабанил кулаком. Окошечко открылось.

— Чего орёте? — рявкнул охранник.

— Тут у нас припадок у одного, его нужно скорей в лазарет. Голову себе расшибёт!

Окошечко захлопнулось. А через минуту в камеру вошли сразу трое.

— У кого припадок? — шагнули к распростёртому телу. — А ну-ка! — двое взяли за руки, а один за ноги и понесли вон. Дверь с грохотом захлопнулась, и сразу вслед за этим из коридора послышался глухой звук брошенного на пол тела, особенно гулко ударились голова о железный пол. Послышался слабый всхлип, какое-то кряхтенье, а затем посыпались вразнобой отвратительные чавкающие звуки. Все в камере догадались, что тут же, в нескольких шагах, конвоиры пинают коваными сапогами беспомощного человека. Тот сперва издавал какие-то хрюкающие звуки, но почти сразу затих, и последние удары казались особенно жуткими — в полной тишине, под сопенье и комментарии конвоиров. Все в камере оцепенели. Подобная жестокость не укладывалась в сознании. Но дальше последовало что-то совсем уже несуразное. Дверь вдруг распахнулась, и конвоиры с размаху бросили на пол окровавленное тело.

— Вот так, — произнёс один. — Мы его подлечили малость. Больше не будет

бузить. А если у кого-то ещё случится припадок, так мы тут, рядом, зовите! — И, довольно ухмыльнувшись, захлопнул дверь.

В первую секунду все растерялись. Потом один шагнул к парню, склонился.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — произнёс с расстановкой. — А говорил, что его бить нельзя... Ещё как можно. Вон как отделали!

Парень был совершенно без чувств. Лицо в кровавой пене, запрокинутая голова на глазах распухла, лиловела и чернела. Руки неестественно заломлены, а всё тело выглядело так, будто его сломали, превратили в тряпичную куклу и так бросили.

Парня осторожно подняли, уложили на нары. Мочили лоб мокрой тряпкой, лили воду на распухшие губы...

Всё было тщетно. К утру парень умер, так и не рассказав следователю о заговорщиках, не покавшись перед советской властью.

На него ещё успели получить утреннюю пайку, но находиться целый день в душной камере рядом с трупом никто не хотел. Как только пайка была поделена и съедена, так сразу дали знать конвоирам. Думали, что за трупом придут те же, что были накануне. Но явились другие. С полным равнодушием подняли уже окоченевшее тело и понесли вон, сопровождая действия циничными комментариями. Никому из заключённых не пришло в голову заявить решительный протест, потребовать разбирательств. Если охранники на виду у всех бьют смертным боем арестанта, значит, они имеют на это полное право, то есть совсем ничего не боятся. И ещё это значит, что все арестанты для них хуже скота. Ведь даже скотину на улице нельзя просто так убить — на то нужно спросить разрешение у хозяина. А кто был хозяином всех этих людей? Кто нёс за них хоть какую-то ответственность? По всему выходило, что никто. Государству все они были нужны разве что в виде дармовой рабочей силы или в виде кровавой жертвы неведомому и жестокому божеству.

Впоследствии Пётр Поликарпович много раз лицезрел подобные избиения. Видел, как человеку с хрустом ломают позвоночник или резким тычком остро отточенного ножа выкалывают глаза, отрубают тяжёлым безобразным топором конечности и отпиливают двуручной пилой голову у ещё живого, залитого кровью человека. Всё это ему ещё предстояло увидеть. Но тот первый пример бессмысленной жестокости потряс его особенно. Быть может, потому, что он не был приготовлен к такой развязке, всё ещё оставался в плену иллюзий, держал в голове некий кодекс чести. Даже Гражданская война с её жестокостями не могла его подготовить ко всем этим зверствам, к этому абсурду сталинских застенков. Там, на войне, они понимали, что воюют со своими соотечественниками, такими же, как и они людьми. Помнили, что есть некие границы, которые переступать нельзя. Но теперь так странно получалось, что война давно закончилась, а нравственных границ не стало вовсе. Делай с ближним всё, что хочешь, — ничего тебе за это не будет ни на этом свете, ни на том. Хотя, за тот свет нельзя было поручиться. Но об этом вовсе не думали в стране победившего атеизма.

Осознать всё это было нелегко. Принять — невозможно. Если такое принять, то сам сделаешься зверем в человеческом обличье. Подобные метаморфозы не совершаются по велению разума. Тут в дело вступает внутренняя суть человека, его сокровенная природа. Если это природа садиста и зверя, то метаморфоза совершается легко и просто, а лучше сказать — естественно, будто человек вернулся в родную стихию, в первозданный хаос (и таких людей, как выясняется, очень

много среди нас). Но если только человек имеет внутри себя нравственный стержень, если он хотя бы чуть-чуть пропитан состраданием к ближнему, если жестокость ему противна, тогда ему легче умереть, чем принять облик зверя. Потому что нельзя нормальному человеку жить среди зверей и по законам зверя. Не для того он совершал своё трудное восхождение к вершинам цивилизации, истончал чувства, пестовал мораль и стремился к звёздам. Природа отомстит ему за отступничество. Ему и детям его — вплоть до седьмого колена.

Невозможно пересказать всё то, что видел и слышал Пётр Поликарпович, пока сидел в подвалах областного УНКВД. Он удачно миновал две волны допросов: в апреле–мае и в сентябре–октябре 1937 года (то есть не был расстрелян или покалечен и не сошёл с ума). Третий раз его взяли в оборот уже в феврале 1939 года — через полтора года после второй серии допросов. Объяснить подобные перерывы в лихорадочной деятельности советского репрессивного аппарата довольно трудно. Но так уж случилось, что Пётр Поликарпович полтора года безвылазно просидел в своей тесной камере, в то время как кровавый молох всё никак не мог насытиться, всё собирал свою обильную жатву по всей стране. В октябре тридцать седьмого был арестован Василий Преловский, с которым Пётр Поликарпович когда-то создавал знаменитую «Барку поэтов». Через неделю другое известие — взяли профессора Полтораднева, известного этнографа, заведомо краеведческого музея, человека глубоко чуждого политике. В эти же недели брали во множестве железнодорожников, доцентов и профессоров институтов, священников (во главе с протоиреем Фёдором Верномудровым). Шестого декабря в подвалах НКВД был расстрелян поэт Балин. День этот ничем не отличался от других. Так же разносили утром баланду и давали по куску чёрного спёкшегося хлеба. О том, что тут же в подвале расстреливают людей, знали все арестанты (дурные вести разносятся невероятно быстро). Но, конечно, никто им не докладывал, кого и в какой день поставят к стенке. Не только приговорённые к смерти, но и все остальные подследственные могли ожидать казни в любой день. Бывало, что смертный приговор объявлялся непосредственно перед расстрелом, когда человек стоял уже возле бетонной стены и мог видеть на ней отметины от пуль.

Так шли дни за днями, тянулись недели, и целые месяцы уходили в прошлое, становясь вехами и метками на историческом пути. Огромная страна жила в подавляющем душу страхе, пребывала в полуобморочном состоянии. Нигде нельзя было укрыться от смертельной опасности. Да никто и не пытался спрятаться или убежать, ведь никто не знал за собой никакой вины! С какой стати обыкновенному человеку вдруг срываться с годами насиженного места, бросать свой дом, семью и бежать очертя голову за тридевять земель? Если бы он точно знал, что его арестуют, даже и тогда он бы десять раз подумал, прежде чем решиться на побег. Ведь тогда арестуют его близких, а это ещё страшней. Бежать вместе с семьёй было невозможно. Внутри государства спрятаться было негде (разве что, в глухой тайге, на какой-нибудь заимке у старообрядцев-раскольников; но попробуй, найди их среди тысячевёрстной тайги!). А за попытку незаконного пересечения государственной границы очень просто давали расстрел (по недавнему постановлению ВЦИК, приравнявшему такую попытку к полновесной измене родине; да и как же иначе? Те же иезуиты давно открыли эту удивительную по своей глубине истину: кто не с нами, тот против нас! — а значит, стреляй любого, кто хочет покинуть любимую социалистическую родину). Жители деревень, у которых не было даже обычного паспорта (с таким пафосом воспетого Маяковским), вовсе



были бесправны, не могли выехать без разрешения сельсовета даже за пределы своего района. Вот и шли на заклатие целые сословия (и целые народы!) самого передового советского социалистического общества. Без всякого сопротивления, оглушённые несчастьем люди садились в зловещие «воронки» (и в наспех оборудованные вагоны) и уезжали в неведомые дали, чтобы больше уже никогда не вернуться, не увидеть родных глаз, не вдохнуть аромат земли, по которой сделал первые шаги и впервые произнёс слово «мама». Ни те, кого забирали, ни те, что оставались дома, не верили, что всё это навсегда. Думали, всё выяснится на следующий день, мужей и сыновей отпустят, они вернутся в семьи и снова будут работать, воспитывать детей, верить в светлое будущее и бодро распевать вместе с советской кинодивой Любовью Орловой:

*Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.*

Ах, как хотелось верить, что всё и на самом деле хорошо, что всем людям живётся весело и дышится привольно, что каждый человек безмерно дорог родному государству и что он не винтик, не тварь дрожащая, но право имеет, хотя бы на то, чтобы его не отнимали среди ночи от семьи, не обрекали на позорную смерть и забвение, не бросали под покровом ночи в тридцатиметровый ров, в гигантскую кучу из окровавленных тел с простреленными головами и проткнутыми трёхгранными штыками телами. Но веры было всё меньше. Веру заменял всепроникающий страх. На страхе держалось буквально всё в советском государстве. Кто этого ещё не понял, тому предстояло понять. А кто понял и успел приспособиться — такому было счастье, до известной поры. Потому что полностью приспособиться было невозможно. От смерти не был застрахован никто. Это и было тем единственным откровением, которое явило изумлённому миру государство рабочих и крестьян.

Лишённый всякой осмысленной деятельности, не имевший ни книг и ни клочка бумаги, полностью предоставленный своим мыслям, Пётр Поликарпович всё чаще вспоминал свою молодость, пытаясь понять, что он сделал не так и почему оказался в тюрьме с клеймом врага народа. С детства он видел беспросветную нужду и тяжкий крестьянский труд. Пётр помогал отцу с матерью, с утра до поздней ночи работал — то в поле, то на дворе. Учиться было некогда, а надо было трудиться весь день не разгибая спины. Потом жажнула Первая мировая. Всех парней из деревни забрали. Взяли и Петра. Четыре года он жил в окопах. Кормил вшей летом, а зимой замерзал в снегу. Его травили газом, кололи австрийским штыком, стреляли шрапнелью. Но он не погиб, всё превозмог и дождался-таки светлого мига: случилась революция! Царя скинули, буржуев погнали вон, а власть в свои руки взяли рабочие и крестьяне (как им всем казалось). Это был грандиозный праздник, что-то небывалое, почти волшебное. Смертельно усталые люди словно бы восстали из мёртвых, воспрянули духом, поверили в лучшую долю. В души миллионов забытых людей хлынул ослепительный свет, и души затрепетали в едином порыве. Вселенная словно распахнулась и стала безграничной, наполненной светом и радостью. Всё стало возможным, всё было по плечу. Буйный вихрь захватил Петра, бросил в самую гущу событий. Выходец из деревенской бедноты, вчерашний солдат, полуграмотный парень, он был избран товарищами в городской совет рабочих и крестьянских депутатов. Участвовал в работе Всесибирско-



го съезда Советов, стал членом ЦИК Центросибири! Это был фантастический, головокружительный взлёт. И он был не случаен. Так из самой гущи толпы, из бешено несущейся кавалькады вдруг вырывается какой-нибудь смельчак и увлекает за собой обезумевшую массу. Смельчак действует словно по наитию, подчиняясь неведомой силе. И он спасает не только себя, но и всю эту массу ошалевших людей. Так формируются настоящие лидеры и подлинные герои, рождённые самой обстановкой, героической и неповторимой.

За этот период своей жизни Пётр Поликарпович был спокоен (и даже немножко гордился). Тут всё было ясно, как божий день, придаться не к чему. Но вот война закончилась, настало время для мирного созидательного труда. Молодое советское государство остро нуждалось в грамотных специалистах (старых-то почти всех постреляли, ежли кто не успел вовремя убраться). И Пётр Поликарпович пошёл учиться. Закончил институт народного образования, научился грамотно излагать свои мысли, и вдруг написал целую поэму о партизанах. Придумывать ему ничего не пришлось, писалось легко, свободно; ведь он писал о себе и о своих товарищах! Поэма имела шумный успех. Главными оценщиками стали его товарищи по оружию. Они признали и авторский талант, и верный глаз, и справедливость суждений.

Успех этот вдохновил Петра Поликарповича. Он засел за работу. Появился один роман, затем второй, а после ещё два (повести и рассказы не считал). Собрались в Новосибирске писатели со всей Сибири на учредительный съезд — как было не поехать? И он поехал, и даже произнёс пламенную речь о том, как нужно жить и работать в столь ответственное время, в уникальную эпоху небывалого строительства самого передового социалистического общества. Потом был первый съезд советских писателей в Москве, была вдохновляющая речь Горького и был всеобщий подъём духа. Первый пролетарский писатель ознакомился с творениями Пеплова и дал им высокую оценку, способствовал изданию его книг не только в Москве, но и за границей. А в Иркутске начали издавать литературный журнал «Будущая Сибирь», организовался литературный актив — и везде на первых ролях был Пётр Поликарпович. Его жизненный опыт, умение противостоять трудностям, его честность, мужество и принципиальность снискали ему заслуженное уважение со стороны всех, с кем его сводила судьба. К нему шли молодые авторы за советом. Обращались и партийные работники за помощью, когда нужно было выступить на каком-нибудь юбилейном митинге, сказать вдохновляющую речь, придать пафос вполне заурядному собранию. Пётр Поликарпович никому не отказывал. Ездил на съезды и симпозиумы, выступал на многочисленных собраниях, читал во множестве рукописи, а главное, сам без устали работал над новыми книгами. Единственным упущением (как ему теперь казалось) был его отказ вступить в партию большевиков. Но членство в партии он почитал пустой формальностью. Он боролся за власть советов ещё тогда, когда эта власть едва-едва просматривалась. Он делом доказал свою преданность, когда в декабре 1917 года защищал от колчаковцев иркутский Белый дом — главный оплот большевиков в Восточной Сибири. Его чудом тогда не убили (почти все его товарищи погибли). Потом он два года партизанил в глухих сибирских лесах, не щадил своей жизни, и врагов тоже не щадил. Ему ли теперь доказывать свою преданность советской власти? Ему ли клясться в верности? Да и чего стоили все эти клятвы, когда любой проходимец мог произнести пламенную речь, бия себя кулаком в грудь, уверяя всех в безграничной преданности товарищу Сталину и требуя немедленного

расстрела для его многочисленных врагов? Чем глупее был оратор, тем громогласнее и неистовей была его речь. Судили и рядили, как правило, те, кто не нюхал пороху. А были среди ораторов и такие, кто прямо выступал против большевиков (как, например, главный сталинский прокурор-обвинитель, бывший меньшевик Вышинский, который в феврале 1917 года, будучи комиссаром милиции Якиманского района Москвы, подписал распоряжение «о скорейшем розыске, аресте и предании суду, как немецкого шпиона, Ульянова-Ленина»; зато в 1920 году, когда с белыми было покончено, этот деятель счёл необходимым вступить в партию большевиков и умудрился сделать головокружительную карьеру среди бывших врагов). Такие вот люди судили Бухарина и Рыкова, Зиновьева и Каменева, Тухачевского и Блюхера. С 1923 года Вышинский выступал главным обвинителем на всех политических процессах. Пример с него брали сотни и тысячи обвинителей по всей стране (не только работники «органов» — любой оратор бездумно шпарил цитатами из обвинительных речей главного прокурора Советского Союза — успех ему был обеспечен! Беспощадно-обвинительный уклон речей Вышинского стал отличным примером для подражания, идеальным трафаретом, над которым нечего и раздумывать). Таких маленьких «вышинских» было на местах великое множество. Соревноваться с ними в псевдореволюционной риторике Пётр Поликарпович не хотел. Это было не то, чтобы противно, а как бы и не нужно. Так он ошибочно полагал. За что и поплатился. Хотя, сомнительно и это. Ведь брали и членов партии — большевиков с дореволюционным стажем — вот что было удивительно! И Пётр Поликарпович всё думал, всё ломал голову, пытаясь решить загадку, которая не имела разумного объяснения.

\* \* \*

«Особое совещание» в Москве своим решением от 17 апреля 1940 года осудило Петра Поликарповича на восемь лет лагерей по пятьдесят восьмой статье «за принадлежность к контрреволюционной правотроцкистской организации». Пётр Поликарпович не только не присутствовал на этом суде, но даже и не знал о том, что его судят. Семнадцатое апреля для него ничем не отличалось от всех остальных дней апреля, марта и февраля. Всё та же камера, та же баланда утром и в обед, та же тяжесть на душе, то же нежелание жить. По странному совпадению в эти же дни городской исполком принял решение об установке огромного десятиметрового памятника сибирским партизанам, отдавшим свою жизнь за советскую власть (многих из них Пётр Поликарпович отлично помнил и считал лучшими людьми из тех, кто встретился ему на жизненном пути). Памятник этот решили установить у входа на центральное городское кладбище, которое, в свою очередь, решили перепрофилировать в парк культуры и отдыха, а сто тысяч могил сравнять с землёй, будто их тут и не было (впрочем, гробы никто и не думал выкапывать, все мертвецы остались на своих местах). В те же дни в городских театрах проходят премьеры спектаклей, начинается строительство трамвайного сообщения, закладывается огромный ботанический сад в живописной сосновой роще; писатели, один за другим, делают творческие отчёты перед общественностью, читают стихи и отрывки из своих произведений, обсуждают новые книги и активно выступают в аудиториях города; футболисты с азартом гоняют мяч по футбольному полю, а музыканты дают концерт, посвящённый столетию со дня рождения Чайковского. Открывается авиасообщение между Иркутском и Москвой, и одновременно закрываются мечеть, синагога и очередная православная церковь на улице Омулевского. Чет-

вёртого февраля решением горсовета были разом переименованы полсотни городских улиц. Была улица Кладбищенская, а стала — Парковая. Мыльниковская обратилась в Чкаловскую, а улица с ничего не значащим названием Зиминская стала гордо именоваться улицей героя Гражданской войны Николая Щорса (убитого в девятнадцатом году выстрелом в затылок кем-то из своих во время жаркого боя, но об этом пока никто не знает). Город живёт активной жизнью — точно такой же, как и все другие города Советского Союза. Никто ничему не удивляется, принимая за норму любое событие, если только оно объявлено Советской властью и проводится в жизнь энергично и с видом полной уверенности в своей правоте.

Всё это скользило мимо Петра Поликарповича и его товарищей по камере. Для них не было ни весны и ни солнца, ни концертов, ни футбольных матчей, ни самолётов, ни памятников, ни напряжённых рабочих будней, ни тихих семейных радостей. Жёны и матери их были рядом, ходили мимо их казематов, дышали тем же самым воздухом. Полноводная Ангара вольно несла в далёкий океан свои студёные воды всего лишь в пятистах метрах от мрачного застенка. Самолёт, взявший курс на Москву, пролетал прямо у них над головой. Но всё это ровно ничего не значило. Запоры были крепки, а охранники неумолимы. Скорее Ангара потекла бы вспять, чем отпустили бы всех этих страдальцев на волю — к семьям и привычной мирной жизни. Приготовлялось им совсем другое — дорога дальняя в необжитый край и тяжкий труд до смертного пота.

Уже через два дня после вынесения приговора в Москве об этом стало известно в Иркутске — телеграф работал исправно. Пункты статей и назначенные сроки были получены в Управлении НКВД шифrogramмами, и, стремительно набирая обороты, закрутилась адская машина. Утром девятнадцатого апреля Петра Поликарповича вывели из камеры. Ничего не объясняя, повели по коридору. Но не вверх, в кабинет следователя, а куда-то вдаль, длинным проходом мимо одинаковых дверей и массивных железных решёток. Пётр Поликарпович чувствовал что-то необычное. Охранник был не такой, как всегда. Когда Пеплова водили на допрос, у охранников были лениво-презрительные лица, а движения как бы замедленные. Теперь же охранник был напряжён и серьёзен, словно чем-то опечален. Пётр Поликарпович пытался понять причину такой перемены. Мелькала даже мысль о расстреле (от Советской власти всего можно было ожидать!). Но, поразмыслив, решил, что днём не должны бы расстреливать. Подумав так, он немного успокоился. Однако сомнения остались. Что-то готовилось, и конечно же, готовилось неприятное, плохое.

\* \* \*

Петра Поликарповича ввели в небольшую комнатку, в которой сидел за столом военный в начищенных до блеска хромовых сапогах. Перед ним был отпечатанный на машинке список из нескольких десятков фамилий, справа и слева находились две стопки грязно-жёлтых бланков в половину листа.

Подняв голову, военный посмотрел на вошедшего.

— Фамилия? — спросил без всякого выражения.

— Пеплов, — ответил Пётр Поликарпович, отчего-то робея. И добавил: — Пётр Поликарпович.

Военный перевернул пальцем пару листов и коротко кивнул. Взял ручку и, обмакнув в чернильницу, сделал в списке пометку. Потом осторожно вытащил из левой стопки четвертинку жёлтой бумаги и положил на стол.

— Ознакомьтесь, — кивнул подбородком.

Помедлив, Пётр Поликарпович взял бумагу и стал читать плохо пропечатанный текст:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА — стояло сверху.

Под ним строчка:

«от 17 апреля 1940 г.»

Ещё ниже была таблица из двух колонок. Слева стоял заголовок: «СЛУШАЛИ», а под ним текст: «Дело № 5400/УНКВД по Ирк. обл. по обвинению Пеплова Петра Поликарповича, 1892 г. р., ур. с. Перовское Канского уезда Красн. губ., литератора, гр. СССР. Обв. по ст. ст. 58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР».

В правой колонке сверху значилось: «ПОСТАНОВИЛИ». А внизу: «Пеплова Петра Поликарповича за участие в антисоветской организации правых — заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая срок с 9 апреля 1937 г.»

И неразборчивая подпись внизу после слов: «Копия верна. Отв. Секретарь Особого совещания». Круглая синяя печать посередине.

Пётр Поликарпович читал это всё, чувствуя нарастающий шум в голове. Он вдруг перестал чувствовать тело, словно попал в невесомость, голова закружилась, он машинально опёрся рукой о стол, чтобы не упасть. Военный поднял голову, строго посмотрел.

— Вам всё понятно?

Пётр Поликарпович сделал глубокий вдох, стараясь прогнать слабость. Рука, держащая выписку, дрожала. Он положил бумагу на стол и спросил, стараясь говорить твёрдо:

— Я хотел бы увидеть своего следователя, лейтенанта Котина.

Военный задумался на секунду, потом произнёс:

— В этом нет необходимости. Следствие по вашему делу закончено. Вам вынесен приговор Особым совещанием в Москве, с которым вы только что ознакомились. Теперь вы должны расписаться в ознакомлении. Вот здесь, на обороте, — и он перевернул лист с выпиской. — Напишите своей рукой: с приговором ознакомлен и поставьте подпись и число.

— Но я не согласен с этим приговором! Я уже говорил следователю, что я ни в чём не виновен! За что мне дали восемь лет? Я бывший партизан, я за Советскую власть кровь проливал. Какое вы имеете право судить меня?

— Вы можете написать обжалование приговора, — флегматично ответил военный, — но только после подписи об ознакомлении. Приговор уже вступил в законную силу. Если вы сейчас не подпишете, я сделаю отметку об отказе. И будет всё то же самое. Лучше уж подпишите. Таков порядок.

Пётр Поликарпович задумался. Он видел, что военный его не обманывает. Он говорил об этом деле равнодушно, как о чём-то вполне обыденном и уже надоевшем. Видно, у него каждый день происходят подобные сцены. Вот и стопка банков лежит справа. Это уже подписанные. Что же делать?

Военный обмакнул в чернильницу ручку и подал ему.

— Подписывайте, Пётр Поликарпович. Завтра вы пойдёте на этап. Если сейчас не подпишете, рискуете попасть в штрафной лагерь. Это запросто, — и, сделав паузу, добавил уже другим голосом: — Не упрямитесь. Это не в ваших интересах. Подпись не означает согласие, а лишь то, что вы ознакомлены с приговором. Это стандартная процедура. Срок у вас не такой уж и большой, тем

более, что три года вы уже отсидели. Вам всего пять лет и осталось. На свежем воздухе теперь будете. Окрепнете, искупите вину, а потом вернётесь обратно. Если будете хорошо работать, могут и раньше отпустить. На Беломорканале многих отпускали по зачётам. И вас отпустят, если сделаете правильные выводы. Нужно твёрдо встать на путь к исправлению. А если вы начнёте сразу ото всего отказываться, то я вам не завидую. Ведь вы же писатель, бывший партизан. Должны понимать.

Пётр Поликарпович со смешанным чувством выслушал эту речь. Он видел, что военный говорит искренне и, кажется, в самом деле сочувствует. В то же время он уже начинал догадываться, что все эти уговоры и напутствия ничего не значат. Сначала его следователь уговаривал признать свою вину, потом другой чин советует не ерепениться и обещает лёгкую жизнь и скорое освобождение. А решаться всё будет где-нибудь за тысячу километров — совсем в другой обстановке, другими людьми и по иным законам. Всё это Пётр Поликарпович смутно предчувствовал, но не мог не откликнуться на такую душевность — чтобы человек в погоне и при оружии так запросто говорил с ним. Ему вспомнились старые времена, когда он сам мог на улице заговорить с незнакомым человеком в военной форме, и они сразу чувствовали себя так, будто давно знакомы, всё им было понятно и близко, словно они братья.

— Где я должен расписаться? — произнёс Пётр Поликарпович устало и взял ручку.

Военный подвинул ему бланк. Пётр Поликарпович прижал листок ладонью и размашисто сделал на обороте требуемую запись. Положил рядом ручку и выпрямился.

— Куда мне теперь?

— Обратно в камеру, — был ответ. Военный испытующе глянул на него. — Заявление писать будете?

— Нет. Ничего не надо.

Пётр Поликарпович уже понял, что всё это бесполезно. Ничего он не изменит заявлениями и заверениями в своей честности. Всё нужно принять так, как есть. За три года заключения и несправедного следствия он вполне в этом убедился.

Военный задумался на секунду, потом согласно кивнул, словно одобряя эти невысказанные мысли.

— Вот это правильно. Люблю сообразительных, — и, повернув голову к двери, крикнул: — Давай следующего!

Петра Поликарповича вывели через другую дверь. Кто там был за ним и кто был перед, он так и не узнал. Да это было и неважно.

В камере бессонной ночью Пётр Поликарпович написал последнее своё письмо домой. Оно начиналось стихами:

*Как бездны глубь, мрачна моя темница.  
Я искалечен телом и душой,  
Лишь по ночам твой образ светлицей,  
Как светоч жизни, блещет предо мной.*

И далее короткое послание:

*Родные Светлана и Ланочка! Я жив пока. И помните, что я ни в чем не виноват. Ложь, подлость, клевета хотят сделать меня врагом. Но я умру чест-*



*но... Береги себя и Ланусю. Помните, что больше вас я ничего в жизни не любил. Пусть Лануся гордится своим отцом. Пётр. 19.04.1940 г.*

Письмо он оставил сокамерникам в надежде, что те найдут способ переправить его на волю. Все уже знали о приговоре и об этапе. Никто не был удивлён. Напротив, все находили случившееся вполне логичным, а столь стремительную отправку в лагерь — естественной. Гадали насчёт конечного пункта. Но и этот вопрос быстро разрешился. По внутренней тюремной связи (перестукиванием через стенку) было сообщено, что этап отправляется во Владивосток и далее — в Магадан. Собственно, пути из Иркутска было лишь два: на запад и на восток. Других направлений не было. Построенный Александром III Транссиб проходил через Иркутск, находившийся почти на середине десяти тысячекилометровой магистрали. Пассажирские поезда и товарные составы следовали через Иркутск или строго на восток, или строго на запад. Но что касается спецэшелонов с заключёнными, то все они шли только на восток — очень дальний и очень страшный восток! Стране требовалось золото, и оно у страны было в достаточном количестве. Взять его из неподатливой земли было неимоверно трудно. Суровые необжитые места, вечная мерзлота, шестидесятиградусные морозы, полное бездорожье и безлюдье на тысячи километров вокруг — в таких-то местах таились несметные сокровища Восточной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Чукотки и Заполярья. Ехать по своей воле в такую глушь соглашались немногие (и лишь за большие деньги и спецпайки). Но рабочей силы требовалось побольше и — подешевле. А лучше и вовсе бесплатно, и чтобы никто через пару месяцев не просился обратно домой. Да чтоб работали как черти — по шестнадцать часов в сутки, да без выходных, да на пустой баланде без жиров и витаминов. Да чтобы спали вповалку на голых досках, да жили в брезентовых палатках, да не просились бы в больницу, да чтоб золота б побольше...

Всё это очень скоро предстояло узнать Петру Поликарповичу. Хоть он и пытался успокаивать себя небольшим сроком, но никак не мог представить, что он проведёт где-то в чужом краю, с незнакомыми людьми пять долгих лет. Не зная ещё всех ужасов Колымы, он содрогался и леденел. Всё-таки он был уже не молод. Силы не те. И здоровье далеко не то. Три года заточения в тесной камере, три года невыносимых душевных мучений — вытянули из него все соки, вконец обессилили. Что-то будет дальше, когда он попадёт на каторгу?

Раз за разом задавал Пётр Поликарпович себе этот вопрос и не находил ответа. Камера теперь казалась ему вполне сносной, он согласен был провести в ней остаток срока. Но это было невозможно. Его словно бы несло на утлой лодке по медленной полноводной реке, всё ближе к грохочущему водопаду. Грохот слышался издалека, поначалу казался очень далёким, но мало-помалу приблизился, и вот пучина совсем рядом. Завтра он канет в эту бездну. Что его ждёт? Смерть или спасение? Муки или избавление от мук? Он готов был молиться, готов был поверить в Бога, если бы только Бог подал ему знак. Но знака не было. А была мрачная ночь, и было жуткое ожидание серого апрельского утра. Секундная стрелка совершала свой бег, минуты падали в вечность, планета медленно проворачивалась вокруг своей оси навстречу восходящему солнцу. Огромная страна неудержимо врывалась в новый день. Пётр Поликарпович ворочался на своём жёстком ложе и всё никак не мог заснуть. В висках стучала густеющая кровь, и в такт ей пульсировали и бились жуткие слова:



*Клочья мяса, пропитанные грязью,  
В гнусных ямах топтала нога.  
Чем вы были? Красотой? Безобразием?  
Сердцем друга? Сердцем врага?*

*Перекошено, огненно, злобно  
Небо падает в темный наш мир.  
Не случилось вам видеть подобного,  
Ясный Пушкин, великий Шекспир?*

*Да, вы были бы так же разорваны  
На клочки и втоптаны в грязь,  
Стая злых металлических воронов  
И над вами бы так же вилась.*

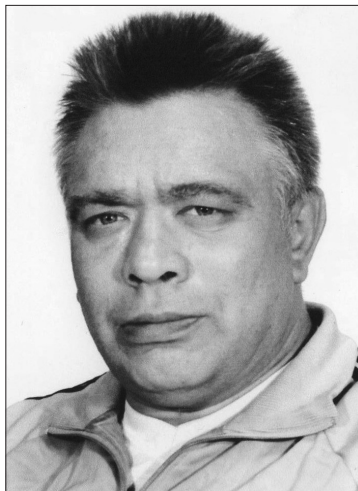
*Иль спаслись бы, спрятавшись с дрожью,  
По-мышинному, в норку, в чулан,  
Лепеча беспомощно: низких истин дороже  
Возвышающий нас обман.*

*Примечание.* В тексте использованы отрывки из произведений Петра Поликарповича Петрова, Владимира Зазубрина, Анны Барковой.

# ПОЭЗИЯ



ВАДИМ ЯРЦЕВ



## А Русь, будто Феникс из пепла...

\* \* \*

Меж нами нет чёткой границы.  
Бог весть, что мы завтра найдём.  
Мы как перелётные птицы —  
Кочуем и ночью, и днём.

Ах, как задышалось и пело,  
Чужое отринув враньё,  
Шальное бездумное тело,  
Весёлое тело моё.

Свобода! И мы замираем  
В прощальном крутом вираже.  
И то, что нам кажется раем,  
Назавтра приестся уже.

Мелодией бредя весенней,  
Мы пели всю ночь напролёт.  
И нам улыбалось везенье —  
Никто уже так не споёт.

Спасибо за то, что любила,  
Что так малодушно лгала,  
За то, что меня отпустила,  
За то, что обратно ждала.

За вечные эти минуты,  
Уйдя в предрассветную тьму,  
Кивну благодарно кому-то,  
Да так и не вспомню, кому...

1987 г.

---

ЯРЦЕВ Вадим Аркадьевич (1967–2012) — сибирский российский поэт. Родился в деревне Пашино под Новосибирском, с пяти лет жил в Усть-Куте. Работал грузчиком, диспетчером, начальником смены, мастером по отгрузке леса, сторожем, учителем истории. В числе местных авторов, членов литературного клуба «Причал», изредка печатался в районной газете. С публикациями в других изданиях все эти годы не получалось: совестливая поэзия Вадима Ярцева оказалась невостребованной в демократической России. И лишь за год до смерти поэта в иркутском альманахе «Сибирь» вышла первая большая самостоятельная подборка. Автор книг *«И всё же несколько минут я был свободен!»* (2010) и *«Марш славянки»* (2013). Похоронен на городском кладбище в Усть-Куте.

\* \* \*

Ах, оставь его в покое, Захмелевший инвалид. Лейтенанту снятся кони, У него душа болит. Он — службист, а не Есенин. Только нету снов страшней, Как в России днём весенним Перебили всех коней. Он прикрыл глаза ладонью — То ли плачет, то ли спит. И, чтоб реже снились кони, Медицинский глушит спирт. Он мечтает о покое, Но всё так же, день за днём	Обезумевшие кони Ржут и прядут под огнём. Пацану с глазами старца Жизнь наставила рога. Всё же нет страшнее танца, Чем под пулями врага. Как апостол на иконе, Лейтенант подпивший свят. Где его гнедые кони? Под какой обстрел летят? Он рыдает от бессилья. За окном свистит зима. Иль с ума сошла Россия, Или он сошёл с ума...
---	---

1989 г.

### Чужой

Он вернулся в Россию в начале весны,  
В край голодный и злой, как во время блокады.  
«Наши дали — видны, наши цели — ясны!» —  
Сообщали плакаты.

В этом городе нет ни друзей, ни родни.  
И, червонец отдав алкашам суетливым,  
Он курил у пивточки, подняв воротник,  
В ожидании пива.

Впрочем, нет. Здесь когда-то подруга жила  
(Ах, студентка-заочница, Верочка-Вера.  
А ведь тоже любила, ночами ждала...) —  
Вышла за офицера.

Его братьев везёт по этапу конвой,  
А он сам никому и ничем не обязан.  
С этой слякотной и неудобной страной  
Он надёжно повязан.

Хорошо, что не ждут и к столу не зовут.  
И что некому бросить: «Ну, ладно, прощайте».  
Хорошо, если твой долгожданный уют —  
Чья-то койка в общежитии...

1989 г.

## Прощание с Союзом

Не с двушкой, затёртой и ржавой, —  
Прощаюсь с великой державой.

«Родопи» из куртки достану  
И спичек у друга стрельну.  
Оплакивать больше не стану  
Пропавшую эту страну.

Мы сами свободу глотали  
К исходу суровой зимы.  
Империю мы промотали,  
Пропили Отечество мы.

Теперь ничего не исправить,  
Былого назад не вернуть.  
Империи — вечная память,  
А нам — неприкаянный путь.

Держава отчаянных Ванек,  
Как птица, подстрелена влёт.  
Как будто огромный «Титаник»,  
Отчизна уходит под лёд.

Советский по крови и плоти,  
Я слёзы сглотнул — и молчу.  
Вы этой тоски не поймёте,  
А я объяснять не хочу.

1991 г.

## Одиночка

Мы видим впервые друг друга.  
Метель меня сбила с пути.  
Из этого чёртова круга  
Почти невозможно уйти.

Пацан осмотрел мои лыжи.  
Хозяйка — с испугом — меня.  
Не бойтесь, я вас не обижу.  
Погреюсь часок у огня.

Сегодня особенно зябко,  
И хочется выпить с тоски.  
Заштопай мне куртку, хозяйка,  
И дай потеплее носки.

Хозяйка бутылку достанет,  
Закуску поставит на стол

И рюмки из шкафа расставит,  
Чтоб я, не дай Бог, не ушёл.

Пораньше сынишку уложит.  
Когда тот закроет глаза,  
Она себя взглядом предложит —  
И я не смогу отказать.

Не то, чтобы очень в охотку,  
Но рядом никто не живёт,  
И тянет четвёртую ходку  
Весёлый ее муженёк.

Мне жалко её, одиночку.  
Я знаю, как холодно ей.  
Пусть этой завьюженной ночью  
Ей будет немного теплей...

1994 г.

## Смутное время

Зловещие слухи ползли по Руси,  
Как тучи в ненастье по мутному небу.  
Надвинулся голод — хоть землю грызи.  
Сгорел урожай — и ни зёрнышка нету.

По-чёрному пьёт государь-император,  
И с ним за компанию глупенький зять.  
Царь лыка не вяжет — и этому рада  
Придворная челядь. Что с пьяного взять?

Господь отказался хранить и беречь нас.  
Вот-вот над страной разразится гроза.  
Хихикает нечисть, куражится нечисть,  
Гримасы нам корчит, смеётся в глаза.

В Казани видали, как плачет икона.  
Безверье своё мы ещё проклянём.  
Россия сгорит. Будет дымно и голо —  
И ночь, что наступит, не сменится днём.

Телёнка видали о двух головах.  
Младенца беспалого где-то видали...  
И слухи скрипели на жёлтых зубах  
И в наших нетрезвых умах оседали.

В том памятном, хоть и далёком, году  
Негромко, с оглядкой, старухи-кликуши  
Вещали нам гибель, огонь и беду —  
И мы подставляли заросшие уши.

Смутьянов хватали, сжигали в кострах,  
Ссылали на Север, в церквях проклинали,  
Но помню, что нас обволакивал страх,  
И в эту годину он властвовал нами...

*1995 г.*

## Вспоминая октябрь 1993 года

Меня, как гайку, завернули.  
Отсиживаясь у родни,  
Я не пошёл под ваши пули  
В те знаменательные дни.

Я — не статист в плохом спектакле.  
Мне дела нет до остальных,

Наивно веривших не в танки,  
А в Конституцию страны.

Уж эти мне идеалисты —  
Лишь им и верить сгоряча,  
Красивым, выпреним и чистым  
Демократическим речам.

Когда вся ваша камарилья  
За власть боролась без стыда,  
Вы многого наговорили —  
И вам поверили тогда.

Меня, по счастью, не задело  
Победы вашей торжество.  
Я за словами видел дело  
И исполнителей его.

Ни новоявленных купчишек,  
Ни доморощенную шваль —  
Сметённых залпами мальчишек  
По-человечески мне жаль.

ОМОН расстреливал и грабил  
Под чьё-то бодрое: «Даёшь!»

1995 г.

В игру без выхода и правил  
Ввязалась эта молодёжь.

Мальчишки, глупые, куда вы?  
Какие бесы вас зовут?  
Вас демократы-волкодавы  
Без сожаленья разорвут!

Но закрутилась ахинея —  
Не повернуть назад уже.  
И что с того, что я хитрее?  
Горчит осадок на душе.

Сплетенный властью крепкий узел  
Я в эти дни не разрубил.  
Я отсиделся. Сдался. Струсил.  
Я сам себя перехитрил...

## Новый Рим

Короток день, и час неровен,  
И жизнь подобна миражу.  
У дымом пахнущих жаровен  
С кривой усмешкою сию.

С утра курнув немного «плана»,  
Довольный линией судьбы,  
Смотрю, как жирного барана  
Ведут счастливые рабы.

Он упирается и блеет,  
И чёрный с головы до пят,  
Нубиец-повар воду греет.  
В конюшне лошади храпят.

Я заглянул к вам по соседству,  
Не из-за трёх приплыл морей.  
Мне никуда теперь не деться  
От горькой Родины моей.

Привет, любимая держава,  
Страна родная! Ты меня  
Смиряла и в узде держала,  
Как всадник — дикого коня.

Я не привык плясать под плетью.  
Обида душу мне саднит.

1995 г.

Меня ты вспомнишь в лихолетье,  
Забудешь в радостные дни.

Обида есть, а злости нету.  
Я присмирел и полинял,  
И неразменную монету  
Давно на мелочь разменял.

Жую прожаренное мясо,  
Чужое слушаю враньё.  
Какими узами я связан  
С тобой, Отечество моё?

Я щебечу с утра по-птичьи,  
А по ночам — скулю, как пёс.  
Твоё имперское величье  
Мне опостылело до слёз.

Ты кровью нас и грязью мажешь,  
Ты учишь нас молчать и врать.  
Но если ты опять прикажешь —  
Мы снова будем умирать.

Твой голос, хриплый и гортанный,  
Взлетит над радостной толпой,  
И мы, как глупые бараны,  
Пойдём, заблеяв, на убой...



## Жажда реванша

Война проиграна. Почти.  
Народ поставлен на колени.  
Ещё иные дурачки  
Его зовут к сопротивлению.

Но всё давно предreshено.  
Жизнь продолжается. На рынке  
Торгуют водкой и пшеном  
Неугомонные барыги.

Вокзал отмыт до белизны.  
Садятся школьники за парты.  
И щедро хлебом привозным  
Нас наделяют оккупанты.

Хотя незримая беда  
Не отошла, а где-то рядом,  
Но входит в наши города  
Забытый ранее порядок.

Пускай в оборванных бомжей  
Патруль стреляет, будто в стадо,  
Зато не стало крыс и вшей.  
Зато гораздо чище стало.

Зато по улицам ночным  
Не бродят хлопчики с ножами.

1995 г.

С таким народом сволочным  
Нельзя иначе. Горожане

Повеселели. Пьют коньяк.  
Гуляют в парках. Ходят в бары...  
Лишь в опустевших деревнях  
По убиенным стонут бабы,

По не вернувшимся с войны,  
По сыновьям, мужьям и братьям.  
Обрезы прячут пацаны,  
Чтоб было из чего стрелять им.

Деревне нужен хлыст и кнут.  
Они добра не понимают.  
Они пока что спины гнут  
И шапки грязные снимают.

Но не извечный рабский страх,  
А настороженная, злая  
Таится ненависть в глазах,  
Себя особо не скрывая.

Нет, здесь не будет мировой.  
От оккупантов пахнет псиной.  
Ещё посмотрим — кто кого,  
Ещё померяемся силой.

## Военная фантасмагория

Я ходил в рядовых, я не рвался в начальство.  
Всё начальство в бою полегло в одночасье.

Всё начальство скосило свинцовым огнём.  
Мы играли той осенью с гибелью в прятки.  
Где таких офицеров ещё мы найдём?  
Не получится. Вряд ли.

Впрочем, мне с какой стати о них горевать?  
Свято место, я знаю, пустым не бывает.  
Ничего не напишешь. В бою, что скрывать,  
Иногда убивают.

Снайпер пулю вобьёт в твой сократовский лоб.  
Мародёры обчистят тебя и вороны.

Будь ты трижды полковник, коль ты остолоп —  
Не помогут погоны.

Отступаем по пояс в осенней грязи.  
Материм от души интенданта-еврея.  
Нехорошее время сейчас на Руси,  
Невесёлое время.

Здесь, в российском котле, дьявол их разберёт,  
Что мудрят наверху. И не стоит пытаться.  
Дан приказ отступить — мы выходим вперёд.  
Дан приказ отходить — мы решаем остаться.

Наша Господом Богом забытая часть  
Третий год так воюет. И ходит в героях.  
Я не знаю, кто главный при штабе сейчас,  
Разбери геморрой их.

Может, лишь потому до сих пор и живой,  
До сих пор не зарыт в придорожную глину.  
Мы — пехота. Мы — смертники. Нам не впервой  
Нарушать дисциплину.

Зацепило. Как пёс, отползаю, скуля.  
Верно режет пословица: «Бог шельму метит».  
Если даже и сдохну Отечества для —  
Вряд ли кто-то заметит.

Не считая тех крыс, что пригрелись в штабах,  
Мы ступили за грань, за которой не страшно.  
Все мы — смертники. Наши делишки — табак.  
Впрочем, это неважно...

1998 г.

\* \* \*

Обжигались довольно часто.  
Я и сам обжигался, но  
Все приятели по несчастью  
Вечным сном спят давным-давно.

А вот я почему-то выжил.  
Видно, вовремя смазывал лыжи.  
Как шпион, заметал следы,  
Уходил от шальной беды.

Не скажу, что жилось легко мне.  
Было трудно. Не в этом суть.

Ни в одну кровавую бойню  
Не сумели меня втянуть.

В эти игры, что вы играли,  
Я, по счастью, не угодил.  
Никогда не ходил по краю,  
Посерёдке всегда ходил.

И мне жаль друзей бестолковых,  
Жадно слушавших чью-то ложь,  
Разгибавших на спор подковы, —  
Не за медный пропали грош.

Кто-то в Боснии сдуру сгинул.  
Кто в Чечне напоролся на залп...  
Бог меня из колоды вынул.  
«Пригодится ещё», — сказал.

Вот такие, браток, делишки.  
Кому — пуля, кому — тюрьма.  
Было храбрости в вас с излишком.  
Не хватало чуть-чуть ума.

Что ж вы сделали, чёртовы дети,  
И зачем взяли этот разбег?

2002 г.

Я остался один на свете  
Коротать свой никчёмный век.

Я-то знал, что меня не тронут,  
Был я сам по себе. Ничей.  
Затянул меня кухонный омут,  
Царство вилок, кастрюль и ключей.

Никуда я уже не отчаю,  
Слишком дорог мне этот уют.  
Но друзья, что стоят за плечами,  
По ночам мне уснуть не дают...

### Бессмысленный и беспощадный

В России — бунт. Топор и плаха.  
В затылок — пуля. И петля.  
И буржуи, трясясь от страха,  
Бегут как крысы с корабля.

Забыв про яхты и отели,  
Они уходят кто куда...  
Вы сами этого хотели,  
Так получите, господа!

Россия ждёт небесной манны.  
Ей кровь людская нипочём.  
Ей по душе пришёлся пьяный  
Казак Емелька Пугачёв.

Налево глянешь иль направо —  
Одни горелые дома.  
Под свист разбойничьей оравы  
Сошло Отечество с ума.

А мне-то, мне куда деваться?!  
Как утаиться от беды?  
Ведь мне — за сорок, а не двадцать,  
И со здоровьем нелады.

Куда прикажешь смазать лыжи?  
Когда-то — был, да вышел весь.  
Меня никто не ждёт в Париже.  
Мой выбор прост. Останусь здесь.

2010 г.

Конечно, выбор не из лучших.  
Но что поделать? Ничего.  
«Господь, — скажу на всякий случай, —  
Раба помилуй своего».

В стране проклятой несвободы  
Да будут дни мои тихи!  
Я буду делать переводы,  
А по ночам писать стихи.

Пройдёт гроза, утихнут бури,  
Шторма закончатся — и вот  
Мы будем приобщать к культуре  
Остервеневший свой народ.

Сосед доносит на соседа,  
Жена — на мужа, сын — на мать.  
Течёт сердечная беседа  
В подвалах тюрем. Скоро брат

Кого-то будет трудновато.  
Здесь — ни одной живой души.  
Ведь если брат стучит на брата —  
Дела не очень хороши.

А если Несторы и Стеньки  
Меня решат поставить к стенке,  
Что мне сказать им у стены?  
Скажу: «Ну что, залили zenки?  
Стреляйте, сукины сыны!»

## Смута (1612 год)

Окончено страшное действо.  
Настала пора оглядеться.  
Участники длительной драмы,  
Сняв шапки, мы входим во храмы.

Молебен отслужим во имя  
Побед над врагами своими.  
Закончена страшная Смута.  
Невесело нам почему-то.

И в самом-то деле — на тысячи вёрст  
Одна лишь пустыня, разор и погост.  
Ни градов, ни весей, ни пашен,  
И лик человеческий страшен.

И только гуляет разбойничий люд,  
И кровь православную весело пьют,  
Покинув поганые норы,  
Бандиты, жиганы да воры.

Им Смута не Смута, война не война.  
Им сладко живётся во все времена.  
Вино и людская кровища —  
Их самая главная пища.

От голода, холода и нищеты  
Народ отупел. Мы дошли до черты,  
За коей — гниенье распада.  
И нечисть гниению рада.

И всё-таки так наступает предел  
Людскому страданию. Народ оскудел,  
Но, выжав последние силы,  
Поляков изгнал из России.

Довольно хозяйничать шляхте в Кремле,  
Довольно гулять по Российской земле.  
Всех тех, что бежать не успели,  
Поглотят снега да метели.

А нам выбирать молодого царя,  
Чтоб русская кровь не лилась больше зря.  
А нам к ремеслу возвращаться,  
С которым пришлось распрощаться.

Менялись эпохи, слетали цари,  
Снаружи нас грызли, терзали внутри —  
А Русь, будто Феникс из пепла,  
Опять оживала и крепла.

*После 2010 г.*

## ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



### Золотые свечи сентября

#### Память сердца

Свято чту я память о деревне:  
Там из синих заводей река,  
Храм на взгорке — каменный и древний, —  
Устремлённый куполом в века...

Крест над ним связует души с Богом,  
С горним светом, с верой в благодать.  
...Память это — связь с родным порогом,  
С отчим домом, где отец и мать.

...Память наша — солнечное детство,  
Будний труд и праздники семьи.  
Это Русь, мне давшая в наследство  
Родовые ценности свои.

---

КОРНИЛОВ Владимир Васильевич родился в 1947 г. в Октябрьском районе Челябинской области. Служил в армии. После службы приехал в Братск, работал токарем, сборщиком котлов, конструктором в объединении «Сибтепломаш». Закончил Литературный институт им. Горького. Публиковался в журналах «Сибирь», «Студенческий меридиан», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Всерусский собор», «Наше поколение» (Молдова, г. Кишинев), «Простор» (Казахстан, г. Алматы), в альманахах «Истоки», «Поэзия», «Созвучье муз» (Германия), «Содружество» (Болгария), «Свой вариант» (Украина) и мн. др. Автор книг: *«Верю, боль моя в храмы войдет»*, *«Вдали от богемы»*, *«Не живут здесь без веры в Православную Русь»* (Германия), *«Исповедь»*, *«Память сердца»*, *«Бабушкины сказки»*, *«Хрупкий мир»*, *«Внуками трижды богат»*, *«Благовест»* (Германия). Лауреат многих международных поэтических конкурсов. Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

## Сила слова

*Александру Дмитриевичу Ткаченко*

Спасенье души — самородное русское слово,  
Несущее силу святой родниковой воды.  
...Когда твоё сердце от горя взорваться готово,  
То словом тебя ободрят и спасут от беды...

И хмурь на лице озарится улыбкой приветной.  
И край, где родился, вдруг станет до боли родным...  
И отчий наказ — жить в согласии с верой заветной, —  
Тебе он не даст поклоняться законам иным.

...Но если душа растеряет с годами святое,  
Ты к божьему слову, к святыням его обратишь —  
И снова, как в детстве, вернётся понятие простое,  
И душу очистит, и смыслом наполнится жизнь.

## В августе

*Светлой памяти поэта*

*Ростислава Филиппова*

Какое согласие в Природе —  
Умиротворения дух?!  
Недаром у нас в огороде  
Расцвёл в эту пору лопух.

И эту улыбку Природы  
Случайно увидел поэт,  
В заросшем углу огорода  
Заметив лазоревый цвет.

Но он, словно гость нежеланный  
Для ярких нарядных цветов,  
Небесной не ведая манны,  
Ютился меж сорных кустов.

И он восхитился растеньем,  
Хоть с виду лопух неказист,  
Но нежное в бликах цветенье  
Стихами просилось на лист.

...Отшельник, отвергнутый всеми,  
Познал он и тяпку, и плуг...  
Но в августе гордое семя  
Лазоревым вспыхнуло вдруг.

...И пасынок жизни суровой,  
Земли горемычная соль,  
Восславлен был праведным словом  
За все его муки и боль.

\* \* \*

Небо бездонно от просини.  
Смехом искрится река.  
...Барышня, нам не до осени —  
Мы Вас не ждали пока.

Что же Вы лету перечите,  
Если ещё зелёны  
Сопки на всём междуречии,  
Женщины счастьем пьяны,



Если блестящими нитями  
Марево веет с полей?  
...Барышня, Вам по на́итию  
Чудится крик журавлей.

Зреет их грусть над болотами  
В зареве солнечных выюг.  
Ими еще не налётаны  
Первые стёжки на юг.

Это приснился Вам давнишний  
В золоте весь окоём.  
...Осень, откуда Вы, барышня,  
В ярком наряде своём?

## Иркутская осень

*Памяти Анатолия Горбунова*

Не встречал я осенью нигде  
Красочней и трепетней картин.  
Лучезарен каждый божий день  
С серебристой дрожью паутин.

Золотые свечи сентября  
Придают торжественность лесам.  
Всякий миг боготворя,  
Свой восторг дарил я небесам.

...Храм осенний светел и велик —  
Благодатью Вышней сотворён.  
Как прекрасен он и огнелик,  
Солнцем осиян со всех сторон!..

Чуть поодаль купола церквей  
В ярко-жёлтом пламени берёз —  
Это образ Родины моей  
Дорог мне и памятен до слёз.

\* \* \*

Днём еще тепло стоит, как летом,  
Солнце льёт на землю благодать.  
Но уже по собственным приметам  
Осень нам не трудно угадать.

Серебристы утренники стали,  
Вновь страда бессонницей в село.  
Стайки птиц повсюду сбились в стаи —  
До отлёта пробуют крыло.

Воздух аж звенит от паутины,  
Женщины безумно хороши!

Эти ежегодные картины —  
Трогательный праздник для души.

Посмотри, как высветила осень  
Дальние отсюда берега!  
Сквозь её пронзительную просинь  
Подступила к берегу тайга.

Всё в природе близко и знакомо,  
За версту дотянешься рукой  
До тайги, охваченной истомой,  
До звезды над утренней рекой.

\* \* \*

Осень с багряным золотом  
Лёгкой пришла поступью.  
Ночи дышали холодом.  
Зори вставали россыпью.

Дни становились пасмурней,  
Воды в озёрах синими.

Гасли закаты красными.  
Утро рождалось в инее.

...Словно художник красками —  
Дивной поре в угодую —  
Яркой осенней сказкою  
Нарисовал Природу.

## Грустные стихи

Душа томила у меня,  
Рвалась наружу:  
Ей скучны скорбный морок дня,  
Седые лужи.

Как будто кто-то на Руси  
Вдруг умер тихо.

Всё утро дождик моросил —  
Без передыха...

На небе сером, как зола,  
Померкли краски.  
...Душа же с трепетом ждала  
Осенней сказки.

\* \* \*

Ночь ли это?.. Сумрак ли сгустился?  
Только стало жутко и темно.  
Говорят, в колодце месяц утопился —  
Пил над срубом и упал на дно.

Потому и люди приутихли.  
Не скрипит журавль пустым ведром.

Златокрылый месяц, не для них ли  
Санный путь ты выстилал пером?..

Даже птицам нынче не поётся.  
Льют дожди... И в траурном платке  
Ночь-вдова склонилась у колодца  
Над утопшим месяцем в тоске.

## В зимовье

Дождь до нитки промок,  
В зимовье постучался сердито:  
«Вот почуял дымок  
Над тайгой необжитой!..»

— Заходи, не гоню.  
Что? И ты на погоду серчаешь?  
Придвигайся к огню,  
Отогрейся немного за чаем.

Пей крутой кипяток,  
Выбирай, что по вкусу из снеди.  
Пообсохнешь, браток,  
Потолкуем о будущем снеге...

Дождь с неделю тогда  
Слёзы лил на притихшую сушу.  
Помрачнела тайга,  
Да и мне он всю вымотал душу.

...Как-то вечером враз  
У дождя полегчало на сердце —  
В непролазную грязь  
Он ушёл — только скрипнула дверца...

И ко мне на порог,  
Словно лайка привычно и мудро,  
Иней лёг... Он продрог  
В то студёное утро...

Налетели ветра —	— Вон, браток, сапоги!
Дню осеннему некуда деться.	Простывать на охоте негоже.
И уже по утрам	До весенней шуги
Заползает морозец погреться.	Ты в тайге, поди, тоже?

## Месяц

Спят деревеньки в таёжной тиши.  
Зимние тропы глухи.  
Месяц в сторожке огонь потушил,  
Иней осыпал с ольхи...

Словно стрелец, заступивший в дозор,  
Молча обходит тайгу,  
Ярко горит его острый топор —  
Отблеск на стылом снегу.

...Ну а когда прокричат петухи,  
Высветят зори узор,  
Месяц в сугробе под сенью ольхи  
Спрячет до ночи топор.

## Весенние мелодии

Весна хмельной неожиданной страстью  
Вдруг ворвалась в людскую кровь —  
И стала бедствием, напастью  
Нас опьянившая любовь...

Мальчишки, ошалеv от счастья,  
Пускают в небо голубей.  
И даже частые ненастья  
Не портят радости моей...

С зарёй проснувшись, жаворонок  
Весенней радостной порой  
Зальётся песнею спросонок  
Над лучезарной Ангарой.

Его подхватят птичьи трели,  
Нарушив будничный уют.  
...Нам вновь, как звонкие свирели,  
Ручьи до полночи поют.



ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО



## Мой светлый горячий Донбасс

Часть 1. Луганск

### 1. Там, где вьётся Лугань

Луганск — очень светлый город с просторными улицами и площадями. Я приезжаю сюда на автобусе из Ростова-на-Дону, преодолевая две границы: Российскую и ЛНР. Автобус на границах задерживается, медленно движется по убитым дорогам, прибывает на два часа позже, и всё это время мой коллега Андрей Чернов, секретарь правления Союза писателей ЛНР, заместитель главного редактора альманаха «Крылья», литературный критик, журналист, автор журнала «Берега», ждал меня. Из России я дозвонилась до него, а в ЛНР в телефоне мне отвечал голос на украинском языке, что неверно «набран нумар». Гостиница «Луганск» почти пустует, к сожалению, немногие люди, склонные к путешествиям, знают

---

ДОВЫДЕНКО Лидия Владимировна — писатель, публицист, краевед, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега», автор 19 художественных, историко-краеведческих, публицистических книг, ряда телевизионных фильмов, около тысячи теле- и радиопередач, журналистских статей. Победитель в конкурсе журналистского мастерства «Слава России», лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», победитель Международной литературной премии «Серебряное перо Руси» — за «Высокое художественное мастерство», первое место в номинации «Познавая союзное государство» конкурса журналистских работ «Беларусь-Россия. Шаг в будущее». Диплом и нагрудный знак «Трудовая доблесть России» — «За труд во славу России», лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ «Патриот России»-2016, «Золотое перо Руси»-2016, медаль имени поэта Николая Рубцова.

о том, что это культурная столица Донбасса, здесь много достопримечательностей, и линия огня за тридцать километров. Мой номер за символическую сумму очень хороший, есть горячая вода, хотя я опасалась, что будут перебои со светом и водой. Луганск — это как Санкт-Петербург в России, очень интеллигентный, а Донецк — как Москва, деловитый. Но главное ощущение: люди живут, а не просто выживают.

Мы с Андреем идём по улице Советской, разделительная полоса по центру дороги — это до самого горизонта тянущиеся ухоженные кусты роз. По дороге Андрей рассказывает о страшном дне 2 июня 2014 года, когда два украинских самолёта на бреющем полёте, желая оказать моральное давление на луганчан, сбрасывают авиационные ракеты на здание администрации, и пролилась первая кровь невинных людей. Произошло беспрецедентное по своей жестокости преступление. Позже таксист Вячеслав, вёзший меня в церковь Святых Петра и Павла, где я поклонилась иконе Луганской Божьей Матери, рассказал, как торопился он к месту бомбёжки, ведь в администрации работала его дочь, чудом уцелевшая. И как ощущал он удушливый запах дуста, увидел, как всё больше прибывало жителей города с желанием оказать возможную помощь.

Я хотела сфотографировать это уже отремонтированное здание, но увидела, как ко мне торопится вооружённый солдат, предупреждая о запрете на снимки. Я не успела сфотографировать это здание и понимаю осторожность защитников Луганской народной республики, ведь к маленькому Донбассу официальная Украина испытывает такую же ненависть, как и к большой России.

Наш путь лежит в Правительство ЛНР, в Министерство культуры, где нас встречает Первый заместитель Министра культуры, спорта и молодёжи Сергей Назаревич. Узнав от Андрея о восстановлении объектов культуры, которые подверглись обстрелу, я выражаю радость по поводу отремонтированной республиканской научной библиотеки. А Сергей Станиславович рассказывает: «Мы реально ощущаем атаку как в физическом плане, так и в моральном на русскую культуру, на нашу историю, а история такова, что в течение веков мы стояли на защите рубежей России. События 2014–2016 годов показали, что в Луганске пострадали больше всего объекты культуры. Украинская армия целенаправленно била по областной библиотеке, по цирку, по театру, историческому музею, по краеведческому музею. Культура — это основа смысла существования народа и отдельного человека, поэтому били по объектам культуры.

С августа 2015 года до праздника Нового года шло восстановление здания цирка. Глава республики Игорь Плотницкий поставил задачу — порадовать детей Луганска к новому 2016 году. И за менее чем полгода цирк был восстановлен. Россия помогала материалами, подрядными организациями, специалистами. В простых работах участвовали жители города, студенты. Люди подходили и спрашивали, чем они могут помочь.

И теперь уже восстановлены все объекты культуры в Луганске, но на территории республики находится 200 учреждений культуры, которые нуждаются в наполнении внутреннего пространства, а 67 объектов находятся в аварийном состоянии, и требуется их срочное восстановление, иначе они будут утеряны: это сельские клубы и библиотеки.

По программе «Интеграция» к нам приезжают многие коллективы культурных учреждений из России: из Брянска, из Ханты-Мансийска, из Свердловской области, и мы тоже выезжаем в Россию, получая возможность общения с народом Рос-

сии, несмотря на жёсткую экономию средств. У нас активная молодёжь. Мы еле успеваем рассматривать их предложения, которые идут постоянно. Мы построили памятник защитникам ЛНР, работаем над памятником погибшим детям Луганска, у нас есть их список из 33 человек, открытие планируем на 22 июня 2017 года.

Мы работаем по проекту «Большие просторы» с Министерством культуры России, которое совместно с Союзом писателей России помогло в сборе книг, и мы распределяем их по всей территории ЛНР.

Возвращаясь к тяжелейшему 2014 году, когда не было воды и электричества, хочу рассказать о нашей филармонии. Коллектив собирался, открывал окна, люди слышали звуки музыки и подтягивались, заполняя зал, укрепляя душу и дух, слушая произведения великих композиторов. Театр кукол выходил на ступеньки своего здания и начинал спектакли бесплатно, приглашая детей и взрослых, демонстрируя бессмертность искусства.

Мы очень надеемся, очень рассчитываем, что станем частью большого Русского мира, частью родной культуры России. У нас достойный профессиональный уровень коллективов наших театров и музеев, стоящих на русских традициях».

## 2. Забыть невозможно

Единственный человек из Донбасса, кого я знала лично до поездки, это поэт Елена Заславская, с которой мы познакомились в Москве в Центральном Доме журналиста во время презентации журнала «Берега». Елена мне очень симпатична своим талантом, непринуждённостью общения, открытостью и искренностью. Она организовала встречу со студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Елена родилась в Лисичанске, колыбели шахтёрского дела, где была открыта первая шахта. Окончив гимназию гуманитарно-эстетического профиля, литературную студию, в которой учили не только рифмовать строчки, но и равнодушно отзываться словом на проявления жизни, она поступила на математический факультет Луганского университета. Но всё же жажда творчества пересилила — Елена редактор газеты академии «Камертон», и пишет стихи:

*Эти русские мальчики не меняются:  
Война, революция, «русская рулетка».  
Умереть, пока не успел состариться,  
В девятнадцатом, двадцатом,  
Двадцать первом веке.  
Эти русские девочки не меняются:  
Жена декабриста, сестра милосердия.  
Любить и спасать,  
Пока сердце в груди трепыхается,  
В девятнадцатом, двадцатом,  
Двадцать первом веке.  
Ты же мой русский мальчик:  
Война, ополчение, умереть за Отечество.*

*Ничего не меняется,  
Ничего не меняется.  
Бесы скачут,  
А ангелы ждут на пороге вечности.  
Я твоя русская девочка:  
Красный Крест, белый бинт, чистый спирт.  
В мясорубке расчеловечивания  
Будет щит тебе  
Из моих молитв.  
А весна наступает. Цветущие яблони  
Поют о жизни, презревшей тлен,  
Так, будто они — православные,  
Русские и после молитвы встанут с колен.*

Войдя в аудиторию, где ждали нас с Еленой студенты, я увидела прекрасные, озарённые улыбками, светлые лица молодых людей, в основном, девушек. Восхищение читала в их глазах, но больше всего вдохновило ощущение родственности,



духовной близости и взаимопонимания. И я откликаюсь, понимаю, что невозможно забыть эту доброту и душевность, которые создавали атмосферу встречи. Её расцветило появление Глеба Боброва, писателя, драматурга и журналиста, председателя писательской организации ЛНР, который охарактеризовал «Берега Новороссии» как живое наполнение Русского мира — публикация авторов из Луганска и Донецка в журнале «Берега», и поделился радостной новостью — выходом уже второго сборника 60 авторов из Донбасса и из разных городов России под названием «Выбор Донбасса». Это издание появилось на свет благодаря содействию писателя, ветерана войны в Афганистане, телеведущего 1-го канала Артёма Шейнина, Государственного информационного агентства «Луганский информационный центр», сайта современной военной литературы *okopka.ru*

22 и 23 мая презентации этого сборника прошли в Луганске и Донецке. На эти литературные события приехали желанные гости: Николай Иванов, сопредседатель Правления Союза писателей России, автор сборника «Выбор Донбасса», один из лучших прозаиков нашего времени, и Юрий Юрченко, журналист, который, как известно, прошёл все круги ада, оказавшись в украинском плену. С благодарностью и гордостью за причастность к событию приняла в подарок эту книгу. Как написал автор нашего журнала «Берега» Дмитрий Филиппов, «время загоняет людей в тупик, и в поисках выхода из него рождается литература. Все очень просто: это клей, который на нравственном, на трансцендентном уровне скрепляет отношения общества и государственных институтов. Не оправдывает, нет, но вычерчивает иную реальность, которую можно будет принять за образец. И в этой связи можно смело говорить о таком феномене, как «литература Донбасса».

Было интересно беседовать с Натальей Кимовной Литвиненко, кандидатом педагогических наук, доцентом Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Угощая меня чаем, она рассказала, что жизнь луганчан разделилась на две половины: до войны и теперь, о периоде, когда не было света, газа, воды, как жили семь месяцев без выплаты зарплат, как приходили в академию преподаватели, пренебрегая обстрелами, а некоторые поселились в академии. Многие уезжали из Луганска, особенно те, у кого маленькие дети. Оказались брошенными породистые и обычные собаки и кошки. Оставшиеся в Луганске люди делились с ними последним куском хлеба и водой, за которой стояли в очереди у скважины или ходили к колодцу в частном секторе. Построили для них временные убежища и до сих пор продолжают их подкармливать. Нередко можно увидеть такую, например, надпись: «Помогите Кузе, он пережил войну».

К беседе прибщается Елена Заславская:

— Прошло время бомбежек и обстрелов, город возвращается к мирной жизни. Но следы войны можно увидеть не только в виде разрушенных зданий, но и, например, в следах скотча на окнах, которые заклеивались крест на крест, чтобы стёкла не разлетались, а падали. Идёшь через чистый двор среди пятиэтажек и видишь аккуратную горку сухих сучьев. Кто не видел войны, тот не поймёт, что это запас дров на всякий случай, если снова не будет электричества. Очень многие дома с электрическими плитами, и люди объединялись, чтобы варить на общем костре общую еду из того, что удавалось собрать сообща. Эти так называемые полевые кухни у подъезда сплотили людей, подружили навсегда. Это невозможно забыть тем, кто смотрел в лицо смерти. Война проявляет человека очень ярко и в сжатые сроки. Если до войны бывал человек не замечен, то, проведя, например, уроки под бомбёжками, не получая зарплаты, он всё же учит детей — это земной

подвиг. А если взять врачей, которые шли на работу в больницу, находящуюся на окраине города, при отсутствии общественного транспорта, приходили и помогали раненым, больным, носили их на руках. Сейчас готовится памятная доска в честь тех, кто под огнём восстанавливал электричество ценой собственной жизни. Есть герои на передовой, а есть в гражданской жизни, поэтому в литературе, созданной под огнём, по зову души, и запечатлелись подвиги русских людей.

— Когда в городе не стало света, — вспоминает Лидия Глушенко, — было очень тревожно на душе. И люди устремились в библиотеку, брали книги, начали читать, погружаясь в мир героев, переключаясь на светлые чувства, отвлекаясь и перенаправляя мысли, настраиваясь на победу, на оптимизм, на веру в новую мирную жизнь.

### 3. Здесь наш берег, здесь наша Родина

Тепло простившись с моими замечательными собеседницами в академии культуры искусств, в беседе с которыми мы не раз замолкали, чтобы взять себя в руки и не заплакать, я отправилась в республиканскую научную библиотеку имени М. Горького, где уже ждала меня яркая, прекрасная, большая умница директор библиотеки Наталья Антоновна Расторгуева.

— Все события 2014 и 2015 годов были для нас шоком, — говорит Наталья Антоновна. — Главная библиотека республики попала под обстрел артиллерии в 2014 году. Фотографии с дырой в стене библиотеки облетели весь мир. Они говорят о том, что в советские времена умели строить хорошо. Снаряд пробил стену, посыпались стекла, но само здание стояло как ни в чём не бывало. Оно было построено в 1965 году, стены толщиной в четыре кирпича. Ничего не загорелось, нас хранит Господь. Библиотека стояла раскрытой, и никто ничего не взял, не вынес, не стащил, такое было уважение к библиотеке. Такой пиетет. Это одна из старейших библиотек республики, осенью нам будет 120 лет. Переведа дух, работники коллектива шли через весь город на работу, несли в бутылках воду, чтобы сохранить наш Зимний сад, цветы по разным залам. Это люди с луганским характером. Они сохранили библиотеку и дух стойкости перед преградами. Обстрел произошёл в конце июля. Сквозная дыра. Но мы патриоты своей библиотеки, своего города, начали закрывать целлофаном окна, убирать грязь, надо было сохранить фонд редких книг, мы не могли допустить, чтобы он пострадал. Ведь наш берег здесь, это наша земля и эта наша боль. Семь месяцев без зарплаты. Люди проявили удивительное братство, приходили в библиотеку за книгами. Это был бум, всплеск читательского интереса, особенно была востребована классика. Люди читали и находили в ней что-то спасительное для себя. Остались здесь те, кто не мог бросить Родину. И мы проводили и сейчас проводим выставки, конференции, конкурсы, литературные состязания. Стену заделали, многие залы библиотеки отремонтировали, покрасили фасад. Вокруг библиотеки объединились люди, жаждущие духовного смысла жизни, священники, прихожане, многие люди приезжают из отдалённых районов республики. Прямо-таки взорвались творчеством луганчане, появились очень хорошие поэты. Война идёт три года, никто не ожидал, что наши братья украинцы устроят нам блокаду, сознательно отрежут воду и электричество. С этим примириться невозможно. И сейчас идёт мороз по коже, когда вспомнишь горящие хлебные поля под Луганском. Совсем как в фильмах о Великой Отечественной войне. Но люди объединялись, готовили совместно

пищу на кострах, делились заготовками, тем, что хранили в подвалах. Работало много волонтеров. Ведь сколько в городе оставалось инвалидов, диабетиков, оказавшихся без инсулина, слабых стариков. Мы не были готовы к тому, что это нам устроили свои, братья, начавшие нас убивать. Я не могу без содрогания вспомнить первую ракету, сброшенную украинским самолётом в центре города, вой сирен, свист снарядов и мин. Со временем по звуку мы научились различать, кто стреляет, наши или вражеская сторона. Война — это проверка на прочность, на человечность. Когда линия фронта откатилась, я пришла в ветлечебницу со своим котом и познакомилась с женщиной, державшей на руках бульдога. Собака приползла к ним, попав под обстрел. У неё перебиты задние лапы, нет одного глаза, и весь живот был стёрт до крови. Муж этой женщины сделал собаке возок, на котором лежат задние лапы, а передними она передвигается. Собака жалобно смотрит людям в глаза — только бы не бросили. Не бросили.

#### 4. Встречи в республиканской библиотеке имени М. Горького

У входа в библиотеку происходит первая встреча — с памятником автору «Слова о полку Игореве». В 15–25 километрах отсюда проходит линия фронта, что обостряет эмоциональное восприятие исторических и современных событий. Ведь автор «Слова...» был обеспокоен судьбой Русской земли, истинный герой его произведения — русский народ. Именно любовь к русским людям обострила его поэтический слух, зрение, воображение. Любовь к родине вдохновила и определила выбор художественных средств, усилив наблюдательность автора, вдохнув воодушевление. Как пишет Андрей Чернов, «сейчас Донбасс — болевая точка русской цивилизации. Не единственная, но, пожалуй, одна из самых близких к сердцу России — Москве. Может быть, именно поэтому всё происходящее здесь ощущается больнее и сильнее. И потому эстетическое, этическое и идеологическое осмысление всего здесь происходящего свидетельствует о важном значении событий народно-освободительной войны в Донбассе для всей русской цивилизации». Восстановление Луганска говорит о непреодолимой жажде жизни, о непобедимом чувстве единения с Россией. И не зря здесь говорят: все будет Донбасс! То есть так победим!

В Русском центре собрались луганские и краснодонские авторы и читатели. Огромное спасибо Андрею Чернову, ведущему встречи, и Наталье Расторгуевой за то, что они подготовились к нашему литературному братанию, выпустили буклет с логотипом Союза писателей ЛНР, литературно-художественного альманаха «Крылья» и журнала «Берега» с выдержками из моего интервью portalу Луганск 1, с репликой писателя, поэта, критика Григория Блехмана о «нравственном шаге редакции — прописать на страницах «Берегов» «Берега Новороссии». Наталья Антоновна выступила с приветственным словом, высоко оценив качество произведений авторов журнала «Берега», публикацию луганских писателей и поэтов — «нашего национального достояния». «Берега памяти, Берега любознательности, Берега Новороссии — добрая ностальгия по созвучию душ, которое было у нас в советские времена. Чем ещё хорош журнал для меня как читателя?... здесь то, что на генном уровне объединяет наши народы, несмотря на разделённость границами, мы одна большая Русская цивилизация. Берега — это мостик между нами, русски-

ми людьми. Произведения авторов журнала нам близки, мы узнаём наши общие чувства. Вот, например, стихи Анатолия Аврутина: «...Я вас люблю родные старики, родные краснодонцы...» В последние годы нам повезло увидеть приехавших к нам больших российских литераторов, прозаиков, поэтов, публицистов. Среди них Николай Иванов, новеллу которого «Свете тихий» мы видим в новом номере, интервью с ним Андрея Чернова в предыдущем журнале. Мы благодарны этому замечательному человеку, который много сделал для нас, помогал нам во всех наших акциях, встречал, передавал наши документы в Москву, несколько раз сам ездил в фонд «Русский мир». Это яркая личность. Он участник войн в Афганистане, Чечне, многое испытал в своей жизни, и мы высоко ценим и благодарны ему за помощь.

Я поклонилась жителям Донбасса «за жертвенное стояние», за мужество, достоинство и высокий дух благородства, желание поддержать и установить навсегда литературное братство, духовное единение с луганчанами. Я родилась в маленькой белорусской деревне и с детства слышала слово Луганск, потому что многие молодые люди уезжали «на шахты», отправляясь в забой, а потом они приезжали в отпуск домой, рассказывали об увиденном. Мой неуёмный характер часто заставлял моих друзей давать мне определение «стахановка». И снова мои мысли обращались к Луганской области, к Стахановскому движению. И вот пути Господни привели меня к людям, о которых я бы сказала, что лучше не бывает.

## 5. Подарки из Луганской народной республики

На встрече в Республиканской библиотеке имени М. Горького Андрей Чернов подарил мне альманах «Крылья», взмах десятый, издание Союза писателей ЛНР, куда вошли как «мирные» материалы, так и «опалённые войной». Среди авторов писатели Донбасса, Крыма, России, Сербии, Германии. В нём приятно было увидеть уже знакомые и родные имена: Людмила Гонтарева, Елена Настоящая, Елена Заславская, оба Александра Сигиды (старший и младший), Светлана Сеничкина, Ирина Горбань, Глеб Бобров, Николай Иванов, Лидия Сычёва, Андрей Чернов, Сергей Прасолов.

Андрей Чернов посвятил статью «Вне забвения» известному поэту Донбасса Павлу Беспощадному, автору легендарных строк:

*Донбасс никто не ставил на колени,  
И никому поставить не дано.*

Павел Григорьевич Иванов ещё в советский период жизни страны взял себе псевдоним Беспощадный. Он был шахтёром, и как пишет Андрей Чернов, «горняки (как в старом Донбассе называли шахтёров) как никто другой тянулись к жизни и ценили её. Никто другой так не поспешит на помощь человеку, как шахтёр. А своеобразное шахтёрское братство сродни братствам однополчан». Павел Беспощадный, умерший в 1968 году, оставил после себя пронзительные строчки, которые так созвучны сегодняшнему времени:

*Я умру на донецкой земле,  
Когда вечность сотрёт терриконы...*

Он сказал о себе и о тех, кто сражается за Новороссию.

И как созвучна содержанию альманаха замечательная, завершающая статья Галины Чудиновой о сборнике прозы «Я дрался в Новороссии». Лейтмотивом

альманаха является мысль, что Донбасс в своей народно-освободительной войне встал на защиту не только своей независимости, но на защиту человеческого в человеке, православного христианства, против неонацизма.

«Мы из Молодогвардейска» — так называется сборник авторов творческого объединения «Лугоречь», живущих в Молодогвардейске. А Людмила Гонтарева подарила мне сборник стихов «По ту сторону тишины». Вот стихотворение, особо впечатлившее меня.

<i>Разморозь меня, Господи. Разморозь окаянную, В состоянии осени, во хмелю, да не пьяную.</i>	<i>...Разморозь меня снежную, скрой от глаз нелюбови. От молчания нежная я дождусь нелюбого.</i>
<i>Разморозь меня сильною быть навек обречённую, так ненужно красивую птицу неприручённую...</i>	<i>Мне б доплакать, доплыть... И надежду примерить: о прощанье забыть и в прощенье поверить.</i>

Поэзия Людмилы Гонтаревой — это чаще всего молитва в стихах русской многострадальной женщины, она русский национальный поэт, выражающий своё родовое начало через православное нравственное чувство:

*Прости мне, Господи, мою окаменелость.  
Внутри болит — а я уже не плачу.  
С улыбкой вверх подбрасываю мячик.  
Сжимаясь, жду, чтоб стихло, притерпелось...  
...Всё. Круг так узок. Клетка мирозданья  
размером с дом, корабль или планету.  
...Внутри болит, а слёз — как прежде — нету,  
и даже дождь приходит с опозданием.*

*Прости мне, Господи, что в чувствах усомнилась,  
что сердца стук не приняла всерьёз.  
Дай, Боже, слёз — обычных бабьих слёз,  
и чтоб луна с небес в ладонь скатилась...*

Автор стихов обладает точным образным видением, глубокой и искренней верой, поэтической интуицией, «скитаясь вновь по венам бездорожья», «в поисках секрета бытия», находит нечто кардинальное, духовно трезвое. Живая сила любви, волшебство метафоры, тонкий лиризм, метафизика искренности Людмилы Гонтаревой говорят о том, что в мир пришла большая поэзия большого женского сердца.

## 6. Остаться живыми

Встреча с луганскими писателями и поэтами в республиканской библиотеке имени М. Горького живёт в моей памяти. Я думаю о том, что Донбасс и Луганск — это территория, которая веками принадлежала Донскому казачьему войску. После революции 1917 года к Украине отнесли русский город Харьков, основанный царём Алексеем Михайловичем; Донецк, основанный императором Александром II; Николаев, Днепропетровск и Одессу, которые основаны императрицей Екатериной II. Жители этих областей до сих пор сохранили дух нации, православные традиции.

И если Донецкая и Луганская народные республики выбрали путь дальнейшей своей жизни с Россией, а новые хозяева Украины — с Европой, так гордящейся своей толерантностью, то почему же нет толерантности, нет терпимости? Украина каждый день убивает тех, кто выбрал принадлежность к русской цивилизации. Это понимают тайные хозяева Украины — США, и они будут воевать с русской цивилизацией, руководствующейся не потребительством, а высшими, духовными смыслами, до последнего украинца.

Но на Донбассе крепка вера в Победу. «Всё будет Донбасс!» — говорят здесь, веря в то, что здесь их дом, их земля, их русские корни. Поэтому особенно проникновенно звучит стихотворение Светланы Сеничкиной:

*Нас гонят из дома —  
Ракетами, минами,  
Блокадой, разрухой,  
Наветами, «сливами».  
Кричат, чтоб бежали,  
Скорей, что есть силы:  
«Хотели в Россию?  
Валите в Россию!»  
А уезжать не хочется — до слёз.  
Умом-то понимаешь: всё всерьёз.  
Умом-то понимаешь: всё надолго.  
И, может быть, там лучше будет, только  
Как, если корни вырвешь из земли,  
Живым остаться?*

Здесь мои литературные собратья мечтают о конце войны, о мирной жизни, о любви, семье, как написала Елена Настоящая:

*Свой берег обрела родной,  
Жизнь, полную любви и света.*

А Елена Заславская произнесла: «Через все трудные моменты жизни, преодолевая чувство, что все крылья перебиты, через все пропасти мы наводим культурные мосты, сохраняем надежду, подвижничество, оптимизм». А в стихах Марка Некрасовского из подаренного мне сборника «Танго смерти» встают картины военного Луганска. «Краматорские тетради» Александр Сурнина. Читая, погружаешься в трагические события в течение 2014 года в Краматорске. Автор избрал такое построение книги: публикация сообщения в СМИ, а затем его комментарии. Александр Сурнин говорит о том, что Донбасс сумел защитить себя, несмотря на агрессию и предательство в виде навязанных со стороны договоров, не подписанных правительством ДНР, о прекращении огня, а в результате потеря Славянска и Краматорска. А второе прекращение огня остановило армию ДНР в двух шагах от Мариуполя, когда на деле оставалось всего ничего — брать лежащий перед тобой город и гнать карателей хоть до Киева. Вместо этого Донбассу подсунули Минские соглашения.

Писатель уверенно заявляет от имени жителей независимых республик: «Неважно, с Россией или без оной, Донбасс победит, потому что не отдаст захватчикам свой дом, не простит невинно убиенных стариков и детей». Александр Сурнин приводит слова поэта Владимира Скобцова: «Бывший друг, красноречиво утверждавший, что не всё так однозначно, ты молчал, когда украинские солдаты убивали наших женщин, — они ведь вата, ты молчал, когда украинские солдаты



убивали наших стариков, — они ведь колорады, ты молчал, когда украинские солдаты убивали наших детей, — они ведь не твои дети. И когда в твой дом придёт беда, постарайся встретить её с достоинством, как её встретили мы, и не спрашивай, по ком звонит колокол, — он звонит по тебе».

Многие люди не только на Донбассе, но в России разделяют уверенность писателей в победе Донбасса. И тогда откроются многим горизонты духовные и горизонты географические, откроются туристические маршруты Луганщины, её музеи и театры, филармония, не прекращавшие свою работу даже под бомбёжкой, памятники Карлу Гаскойну, основавшему литейный завод, А.И. Молойчому, командиру эскадрильи, бомбившей Берлин в 1945 году, памятник известному поэту-песеннику Михаилу Матусовскому. А сколько святынь Православия на земле луганской: Свято-Владимирский кафедральный собор, храм Святой Татьяны, храм в честь Иконы Божьей Матери «Умиление», Свято-Николо-Преображенский собор, Свято-Петропавловский кафедральный собор, Свято-Вознесенский храм, храм в честь Всех Святых и часовня диакона Филиппа, которому дано было свыше трижды явление Божьей Матери, монастырский комплекс «Прославление страстей Господних». За красоту природы Боково-Платово называют Донской Швейцарией, а если отправиться по маршруту «Королевские скалы Провальской степи», вы побываете в природном заповеднике в Свердловском районе, узнаете историю Провальского войскового конного завода, в храме во имя Святителя Николая Чудотворца.

Луганчане гордятся своим земляком Владимиром Ивановичем Далем. Здесь установлен ему памятник, создан музей, а университет носит его имя.

Книга о В.И. Дале — подарок от республиканской библиотеки имени М. Горького — «Дорогами судьбы В.И. Даля». Авторы-составители: Л.П. Соколова, Л.И. Кульбацкая, А.А. Безуровная, ответственная за выпуск — О.В. Приколота. Издана в Луганске в 2016 году. Коллективный труд научных сотрудников Литературного музея В.И. Даля, музея, прошедшего долгий путь к становлению и открытию.

Выдающийся лингвист, учёный, В.И. Даль прожил в своей судьбе несколько жизней: морская служба, медицинская деятельность, государственная служба, создание словаря, литературная деятельность, которая сверкает особой гранью — дружбой с А.П. Пушкиным. И эта многогранность деятельности, огромный человеческий потенциал даны были ему Луганской землёй, где родился этот великий человек, подписывавшийся под своими первыми произведениями Казак Владимир Луганский. Луганчане, создав музей, заложили фундамент памяти о нём, или построили мост между предшествующими поколениями и будущими, по крупицам собирая материалы об учёном, писателе, лексикографе, этнографе, фольклористе, лингвисте, хирурге, естествоиспытателе, философе и моряке, общественном деятеле и дважды академике.

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в семье доктора Луганского литейного завода. Он прожил 71 год, и из этих лет работал над Толковым Словарем живого великорусского языка 53 года, параллельно с другими видами его занятий. Создание Толкового словаря живого великорусского языка и сборника «Пословицы русского народа» сделало его имя бессмертным. Скромность и деликатность великого человека не позволили ему оставить подробных биографических сведений, но кропотливый труд коллектива музея бережно оформил собранную информацию, за что огромная благодарность этим истинным подвижникам, сотрудникам музея В.И. Даля, за научно выверенные знания, за уникальное собрание книг, документов, предметов эпохи.

## 7. Птица Феникс

Продвигаясь в автобусе из Ростова-на-Дону к Луганску, преодолев границы, я внимательно рассматривала засеянные поля и неудобья, вглядывалась в далёкие горизонты, и нигде не было ни людей, ни деревень, ни встречного транспорта. Пассажиры сидели тихо, не разговаривали друг с другом, только одна женщина тихо крестилась, стараясь делать это незаметно. А потом автобус нырнул по просёлочной узкой дороге в туннель лесопосадки, и вдруг впереди с правой стороны от автобуса я увидела яркую большую птицу с золотым и оранжевым оперением, сидящую на низкой ветке дерева. Услышав приближение автобуса, чудесная птица мгновенно исчезла в густой зелени ветвей. «Кто это? Что за красавица?» — взволнованно спросила я у ехавшего рядом через проход замкнутого мужчины с дочерью лет пятнадцати, очень красивой девочкой, но грустной. Мужчина не очень охотно, но ответил, что это фазан, что их теперь развелось очень много, потому что никто не охотится, не ходит по посадкам, боясь мины или встречи с недобрыми людьми.

Мне вспомнилось, что согласно мифологии, фазан — это же наша легендарная птица Феникс, сгорающая в огне и вновь воскресающая, что для христиан Феникс — это символ бессмертия духа, божественной любви и благословения, Бога-Сына, воскресшего на третий день после распятия. Так вот что предвещает возникающая в пути птица: возрождение Донбасса, возрождение из огня, из страданий и мук.

И все мои встречи, особенно в республиканской библиотеке имени М. Горького, личность Натальи Расторгуевой, её рассказы, восстановление объектов культуры в Луганске, встреча с ополченцем с позывным «Золотой» — всё мне напоминало о птице — символе возрождения.

Человек с позывным «Золотой» сегодня седой. Ещё с 2012 года он осознал, что надо защищать Украину от Майдана, неоднократно участвовал в антимайданных мероприятиях, работал в Партии регионов, организовывал только мирные акции, а в ответ его единомышленников забрасывали коктейлями Молотова. Съезд в Харькове 21 февраля 2014 года был разгромлен зомбированными людьми с молотками в руках. Когда он вернулся в Луганск, уже стояли палатки ополченцев возле областного Дома Советов. Он был в Европе, он видел двойную мораль и вырождение в виде однополых браков, поэтому, когда Крым провёл референдум, сказав: «Мы идём к России», на Донбассе тоже сделали свой выбор, приняв на себя удар всех русофобов, всех противников русской цивилизации, неофашистов. К ним поехали ополченцы из разных городов России, из славянских стран, потому что осознали угрозу для славянского мира. Сергей часто вспоминает этот рубеж, когда в Луганск ворвалась война, когда площадь около здания администрации в результате бомбардировки была залита кровью: «Я подъехал к зданию, а мне на встречу несут в одеялах куски тел». А по телефону сестра из Киева говорила: «Это ваши боевики выстрелили».

«Мы будем в ополчении, пока не победим», — решил Сергей. Не все могут быть бойцами, для этого требуется физическая и психологическая выдержка, устойчивость. У Сергея они есть, и доказательством тому три государственных награды на его груди: «За боевые заслуги», «За мужество и доблесть», «За верность долгу».

После встречи с Сергеем мы идём с Марком Некрасовским и Андреем Черновым к памятнику защитникам ДНР, туда, где формировалась её будущая армия, где стояли палатки первых защитников Русского мира.

«Говорили, что здесь находились плохие люди. Это неправда, я тут был и стоял, — рассказывает поэт Марк Некрасовский. — Было холодно, но горожане подерживали и приносили горячий чай, картошку, бутерброды». Напротив памятника через дорогу идёт восстановление девятиэтажного здания, которое спасло многих людей, участников ополчения, потому что принимало на себя удары украинских войск, бивших из Каменного Брода. Летели мины и снаряды, и не всегда эта девятиэтажка могла защитить. Марк Некрасовский написал стихотворение о том, как один мужчина закрыл своим телом ребёнка:

*День был такой погожий —  
Не умирать бы, а жить.  
Телом своим прохожий  
Младенца успел закрыть.*

Стоя у памятника защитникам Луганска, мы смотрим на героев: ополченец, молодая мама с ребёнком, донской казак. Ненавистники ЛНР совершили теракт и подорвали памятник, казаку в бронзе оторвало ногу, но памятник вновь восстановлен.

Вода, как её не хватало летом 2014 года! За водой ходили в частный сектор, где были колодцы. Как-то появился на улице человек, который громко всем кричал, что завтра сюда привезут цистерну воды, приходите завтра сюда. И люди пришли, многие в последний раз. Ненавидящий русских бандеровец обрушил на них смертельный огонь.

Я достаю из сумочки маленькие кусочки янтаря, и мы с луганскими авторами молча опускаем их в воды фонтана, в знак нашего литературного братания, духовного единства, общей судьбы, в знак торжества жизни, в знак того, что художественный мир луганских авторов оказался способным удерживать в себе живое, вписанное в мир и наивной красоты, и незащитности, и доверчивости, и в нравственный выбор, за которым чистота и свет, мужество и Победа, возрождение из огня.

## Часть 2. ДОНЕЦК

### 1. Война и мир

Ранним утром 18 мая 2017 года я выехала на рейсовом автобусе из Луганска в Донецк. Пассажиров мало, и они понемногу выходили, прежде чем мы достигли границы между республиками ЛНР и ДНР. Водитель бывалый, он каждый день рискует, потому что есть места, где автобус могут обстрелять ВСУ. Немного отъехав от Луганска, увидев мелькнувшую за окном огромную надпись на траве «Мир Луганщине», мы свернули на просёлочную дорогу. Водитель вёл автобус сквозь зелёный туннель, и ветки деревьев скользили по стеклам. Встречные машины попадались очень редко, и трудно было понять, как же они разъехались бы в случае встречи. Но иногда дорога расширялась, встретили военную машину, иногда попадались старые легковые автомобили. У водителя автобуса на стекле висит множество иконок, а выше над головой — по краю лобового стекла — крупными буквами лозунг: «Всё то, что ты желаешь мне, Бог отдаст тебе вдвойне». Перед границей каждый вносит свои данные в список, предложенный нашим вождём — водителем автобуса. Он немногословен, речь отрывиста, и все понимают, что мы

от него зависим. Ручка оказалась только у двух человек: у меня и у полноватой, но симпатичной девушки, которая ведёт себя увереннее всех. Она уже не раз ездила по этому маршруту, охотно объясняет женщине в чёрной кружевной косынке, горестно сообщившей, что едет на кладбище, где лежит её дочь, но в прошлый раз её везли, а теперь она едет сама — одна, и не уверена, где выйти. Остальные четыре пассажира изо всех старались быть незаметными, и у них получалось.

Проезжаем блок-пост Дебальцево. Тревожно, холодно на улице, кто-то из бойцов греет руки над огнём, горящим в металлической бочке. Вид разрушенных домов заставляет сжиматься сердце. Но вот мы едем дальше по улицам Дебальцева, и здесь пугают пустынные улицы, хотя дома целые, но людей не видно.

Чем ближе к Макеевке, тем окрестности веселее. В деревнях видны православные храмы, у домов цветут кусты сирени и ярко-синие ирисы, мужчины косят косой, не бензиновой косилкой, траву у домов. Эти мирные картины как-то успокаивают, и я уже настраиваюсь на встречу с донецкими авторами. В «Берегах Новороссии» журнала «Берега» опубликованы были лишь три автора из Донецка, которых не видела в жизни, но ведь они мои друзья в фейсбуке: Владимир Скобцов, Ирина Горбань и Владислав Русанов, встречавший меня на автовокзале. Ему надо спешить на лекцию в технический университет, и он знакомит меня с Валентином Пехтеровым, везущим меня в гостиницу.

## 2. Раны большого города

Валентин — он же писатель Иван Донецкий — работает в психиатрической больнице. Это талантливый прозаик, глубоко интеллигентный человек, внимательный и предупредительный, открывший мне Донецк. Ещё раз переспросив, действительно ли я хочу поехать в опасную зону, он направил машину к Киевскому проспекту, в район Путиловки. Очень признательна, что благодаря ему мне открылся прекрасный, ухоженный Донецк, и я увидела стены жилых домов, побитых осколками, дома без крыш с пустыми проёмами окон, искорёженные металлические изгороди и калитки, раненные снарядами деревья. Он показывает мне музей, где видна величина заделанной свежим кирпичом дыры в стене от снаряда. Мы въезжаем на Киевский проспект, отсюда раньше начиналась трасса на Киев. Но вдали виднеется взорванный мост над путями железной дороги, а проспект перегорожен лежащими огромными бетонными столбами. Сюда не ходит общественный транспорт. Окна забиты, но люди живут; те, кто решил оставаться в своём городе, даже рискуя жизнью.

«Люди устали от войны», — говорит Валентин. Он рассказывает о приходивших на работу в его больницу женщинах с трясущимися руками, о психологической помощи контуженым и раненым, ополченцам и гражданским людям, женщинам, потерявшим своих детей, наблюдавшим разрушение зданий, пережившим отсутствие воды и электричества. За ветками цветущих каштанов Валентин показывает мне свежий прилёт карательского снаряда, от февраля 2017 года — чёрным пятном выглядывающую выгоревшую квартиру. И снова мы проезжаем по улицам с выбитыми окнами домов, хотя, как замечает Валентин, здесь ополченцы не стояли. «Со временем, — замечает мой брат по перу, — люди будут стесняться украинской национальности, когда откроются все крайне постыдные вещи. Зачем уничтожать Донбасс? Зачем уничтожать Россию?»

### 3. Аллея Ангелов

Мы едем с Валентином к Аллее Ангелов, памятнику погибшим детям ДНР. Их два: в детском секторе парка, где стоит монумент в честь защитников Донецка в период Великой Отечественной войне, и в сквере у Дома детского творчества.

В ДНР за время ведения боевых действий от обстрелов украинских карателей по состоянию на конец августа 2015 года погибло около 70 детей. Сейчас их число перевалило за 150. В память об этих безвинных жертвах фашистской агрессии появилась Аллея Ангелов.

Металлическая арка украшена розами и голубями, высота — 2,5 м, ширина — 2 м. Присмотревшись, ты видишь, что между розами гильзы от крупнокалиберного пулемёта. Четыре голубя — символы мира, ожидаемого на территории многострадального Донбасса.

На каменном прямоугольнике в алфавитном порядке высечены имена погибших в этой войне детей Донбасса, указан их возраст. Два ребёнка, ставших маленькими жертвами, возраста одного годика.

Ещё раньше я слышала имя кузнеца Виктора Михалёва, автора этого памятника. Его замысел потрясает: на середине арки висит символический колокол — гильза от 152-миллиметрового снаряда.

Памятник погибшим детям и мемориальные доски установлены в разных городах ДНР: в Горловке, в Дебальцево, в Кировском и во многих других.

Писатель и поэт Ирина Горбань, которая ведет со своими коллегами проект «Украина убивает нас» (<http://crimes.dnr-online.ru/?cat=30>) рассказывает на страницах рубрики истории семей погибших детей с фотографиями, с датой смерти и причиной гибели: везде — в результате обстрела ВСУ.

Есть специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе. Одна из членов этой комиссии Элеонора Федренко на открытии мемориальной доски в память о погибших детях в Кировском произнесла: «Люди, помните, что мы были не согласны с киевской хунтой. У нас своё мнение. Они решили подавить наше стремление к свободе, за которую мы платим такой дорогой ценой».

Ирина Горбань рассказала о матери, готовой растерзать пленных украинских солдат, когда их вели по городу и мыли за ними улицу. Её держали за руки, но она вырывалась с плачем, пока не упала в обморок. Боль и горечь родных и близких не поддаётся никакому измерению, описанию. Очень страшно, что эта война нужна Порошенко и кучке его подчинённых, а украинский народ молчит. Они убивают жителей Донбасса, убивают детей, женщин и пожилых людей. Председатель ОО «Молодая Республика» Никита Киосев обратился к жителям нашей планеты со словами: «Первого июня, в Международный день защиты детей, мы запускаем акцию под названием «Ангелы», которая призвана привлечь внимание мировой общественности к гибели невинных детей Донбасса».

Что-то мировая общественность не очень-то активничает! Ау, планета Земля, ты услышала?

### 4. «Трибунал» и «Белые журавли»

На сайте ДНР есть рубрика «Белые журавли». Она ведёт счёт погибшим в Донбассе с фотографиями и историями их жизни и смерти. Вторая рубрика «Три-



буна» рассказывает о военных преступлениях ВСУ, рассказы очевидцев. Характерна запись британца Кейрана Эшли Уолша, который в декабре 2016 года выразил впечатления от «командировки» на Украину: «Я расскажу вам про Украину и про проклятый Донбасс. Я был в Афганистане и Ираке и точно скажу, что здесь намного хуже.

Украинские солдаты — ленивые ублюдки, хуже чем афганская армия и иракская полиция. Схема „ты учишь их, и они становятся нормальными солдатами“ — не работает. Большинство из них — просто пьяные панки, абсолютно неконтролируемые. Работают, только пока за ними следишь. Оставь своё снаряжение на 5 минут — они украдут его. Они крадут всё, что могут: боеприпасы, оружие, снаряжение, еду, даже бензин и аккумуляторы, — рассказывает шокированный британец. — Я думал, хуже не бывает, но потом я попал в Зайцево — маленькую деревню, которую эти болваны вот уже два года не могут захватить. Местные ненавидят военных, называют их „укронаци“. Украинцы же относятся к местным хуже, чем афганские полевые командиры, — заявляет наёмник, который, очевидно, приехал воевать за Украину без идеологической подоплеки, исключительно за деньги. — Пьяные украинские артиллеристы из тяжёлого вооружения стреляют так, будто они слепые. Они попадают во всё, кроме позиций противника. Безопаснее работать самому, чем с украинцами. Так тебя хотя бы не накроют свои же миномёты. Это буквально худшее место, где я бывал, и я не хотел бы туда вернуться», — завершает свой рассказ счастливчик, которому удалось бок о бок поработать с «сильнейшей армией Европы».

## 5. Искусство — за мир

Виктор Михалёв — уникальный художник, перековывающий гильзы и осколки снарядов и мин в розы. Он не хочет войны, а Донецк всегда был городом роз и им остаётся. Действительно, эта традиция выращивания и посадки роз сохраняется, несмотря на войну. Из осколков смертоносного оружия Виктор Михалёв выковал корону Российской империи, желая поднести в подарок В.В. Путину. Его выставка кованых роз с успехом проходила в Москве. Валентин Пехтеров ведёт меня в Парк кованых фигур. Множество всевозможных фигур, скамеек, воображаемых зеркал с реальными рамами. Кованое дерево с золотыми яблоками, животные, бог Гефест, кующий победу Донбассу. Кованое дерево с цветами и голубями с иконой Божьей Матери в середине. И везде кованые розы из осколочного металла. Красота, мастерство, изящество, уникальность идеи, сверхгениальное средство борьбы за мирную жизнь. Парк был открыт в 2001 году, когда здесь было установлено десять фигур. С тех пор ежегодно он пополняется новыми и новыми фигурами и предметами. Беседка для влюблённых, Аллея знаков зодиака, Аллея сказок, Аллея арок, Аллея любимому городу, Аллея мастеров.

Событием стал фестиваль кузнечного искусства в 2014 году, когда в Донбассе шли боевые действия и Донецк подвергался обстрелам. Но хотя бы на один день фестиваль состоялся. Темой его стал — «Голубь Мира». Поступили работы мастеров Австрии, Германии, Голландии, Израиля, Норвегии; городов России: Белгорода, Калининграда, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Ульяновска и других. Гильдия кузнецов Донбасса учредила специальную награду — медаль «Кованый Голубь Мира», которую получили тринадцать участников (авторы эскиза Виктор Бурдук и Евгений Лавриненко). В парке гуляют люди разных возрастов: и для



детей, и для пенсионеров, и для влюбленных — всем найдутся здесь прекрасные уголки для укрепления духа и души.

Рядом с кованными фигурами находится Царь-пушка — копия московского оригинала, которая появилась в Донецке в 2001 году. Царь-пушку изготовили на заводе Ижевска, ствол её выполнен из чугуна, а не из бронзы, и короче на 6 см, согласно распоряжению дирекции Музея-заповедника «Московский Кремль». Царь-пушка связана с историей кузнечного искусства. Она подарена Донецку в ответ на пальму Мерцалова, которая является символом Донецка, изображена на гербе Донецкой области. Но не надо путать с гербом ДНР, который представляет собой серебряного двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья. На груди орла — в червлёном щите Святой Архистратиг Михаил в серебряном одеянии и вооружении и чёрной приволоке (мантии), с лазоревым мечом и серебряным с золотыми краями щитом с золотым крестом.

Пальма Мерцалова (высота 3,5 метра) была выкована из рельса в те времена, когда нынешний Донбасс был Новороссией и относился к России, в 1895 году, — кузнецом Алексеем Мерцаловым, награждённым премией Гран-при на Парижской промышленной и международной выставке 1900 года. Выкована она на металлургическом заводе, который назывался тогда «Новороссийским обществом каменноугольного рельсового и железного производства». Копия пальмы Мерцалова расположена возле здания областного краеведческого музея, а оригинал пальмы хранится в Санкт-Петербурге в музее Горного института. Эта пальма из стали уникальна, создана без каких-либо соединений и сварки. Вес 325 кг, а диаметр листьев — 2, 5 метра, всего 10 листьев. На создание её Мерцалову, который никогда не видел настоящих пальм, а смотрел на открытку, понадобилось три недели.

## 6. «Золотые страницы истории»

В Донецке меня ожидала встреча с журналистом и поэтом Мариной Бережной, которая подарила сборник «ДНР. Хроника событий». Эта книга — хроника первого года ДНР в фактах, фотографиях, цифрах, интервью, издана в Донецке в 2015 году. Описанные события охватывают временной промежуток с 5 апреля 2014 года по 11 мая 2015 года месяц за месяцем, выделяя самые страшные и значительные победные дни. Это бои между ополченцами ДНР и ВСУ, обстрелы города авиацией ВСУ, гибель и взрослых, и детей, мирных жителей, повреждение электроподстанций, обстрел больниц и детских садов, повреждение водоснабжения, победные движения ополченцев, остановленные «минскими соглашениями», прибытие гуманитарных конвоев из России, открытие бизнес-форума, открытие театрального сезона, акция «День белых журавлей» в честь павших героев Донбасса, инаугурация Александра Захарченко, особенно жестокие обстрелы ВСУ в январе 2015 года, Минск-2, презентация первого сборника поэзии ДНР «Мой город охрип от молитв», парад в честь первой годовщины ДНР и множество других событий. Вторую часть книги составляют интервью как с первыми лицами ДНР, так и с ополченцами.

Марина Бережная, сменившая на посту министра информации ДНР Елену Никитину во время реабилитации после тяжёлого ранения, рассказывает о происходившем на Майдане как о работе профессионалов революций, как срежиссированное и управляемое действие, чтобы сломать Украину, совершившую непоправимую ошибку. «Мы, Донбасс, немного другие — говорит Марина. — Мы

не готовы покоряться тем людям, которые перечёркивают наше наследие, наше прошлое. Самые маргинальные элементы украинского общества сейчас получили почти абсолютную власть, вседозволенность. Люди впустили в свои дома безнаказанность и цинизм. Мы показали всему миру, что мы готовы решать все вопросы законно. Мы противопоставили скачкам и хулиганским действиям легитимную власть. Второго мая в Одессе показали откровенно фашистскую, садистскую сущность того, что называется сегодня украинской властью. Шутки о «жареных колорадах» всё о ней сказали. Эта власть сама рухнет под собственной тяжестью». Владимир Скобцов — поэт и бард, один из создателей Союза писателей ДНР, музыкально-поэтического фестиваля «Большой Донбасс», — назвал стояние Донбасса золотыми страницами истории человечества, истории Русского мира.

## 7. Союз писателей ДНР

Не знала, что приедет в Донецк, отвлёкшись от ратного дела, председатель Союза писателей ДНР, но рада познакомиться с Фёдором Дмитриевичем Березиным. Он родился в 1960 году в Сталино, тесно связан с новейшей историей Донбасса. Он был помощником коменданта города, заместителем министра обороны ДНР по промышленности в период И. Стрелкова, работал с Бородаем, был депутатом Парламента Новороссии. Он профессиональный военный, окончил Энгельское высшее зенитное ракетное командное училище в 1981 году. До сих пор в рядах армии ДНР — замполит в танковом полку. Его позывной — «Чапай»; думаю, что не только из-за усов, а из-за его стремления к лидерству. Мне было удивительно, когда на улице Донецка к нему обратились два подростка с просьбой пожать руку. Он молча её протянул и ничего не сказал на благодарность двух мальчишек лет пятнадцати.

Меня пригласили на заседание клуба писателей-фантастов «Странник» в Донецке. Фёдор Дмитриевич стартовал в качестве писателя-фантаста в 1998 году. И хотя я далека от такой литературы, меня убедили на заседании клуба, что без фантастики у нас нет будущего. Фёдор Дмитриевич рассказал о тех трудностях, какие испытывали ополченцы с оружием в 2014 году, о его опыте самостоятельного изготовления пушек, о том, как удалось завести машины, которые по 30 лет стояли, что несмотря на массированное применение авиации и крупнокалиберной артиллерии ВСУ, он уверен: «Мы ведём национально-освободительную войну, мы победим».

Союз писателей ДНР был образован в ноябре 2014 года, в самое тревожное время. «Пушки не молчали, и музы — тоже, — рассказывает член СП ДНР Георгий Савицкий. — В зале Союза писателей собирались люди, читали стихи, посвящённые войне и тому, что пережили. А в это время гас свет, как на подводной лодке. Раздавались взрывы мин и снарядов украинской артиллерии. Обстреливали центр города. К весне ВСУ были отеснены. Но даже сейчас сохраняется опасность атак правосеков, чтобы уничтожить ДНР. Ведь мы — угроза существованию самой украинской власти, потому что мы являемся альтернативой порочного развития общества, как на Украине. Россия помогает нам в реализации культурных проектов. Сборник авторов Донбасса «Час мужества» был представлен в Государственной Думе РФ. Потом в издательстве «Яуза» в Москве был напечатан сборник «Я дрался в Новороссии». Нам помогают различные гуманитарные организации, предоставляют нашим авторам площадку, чтобы они рассказали, что

Донбасс жив, что он сражается и живёт полноценной творческой и культурной жизнью».

У Союза писателей ЛНР есть свой сайт, он выпускает литературные листовки: «Слово поэта — победе», где представлены стихи поэтов Донбасса, Крыма, начиная со школьников и заканчивая маститыми поэтами. Вспоминается стихотворение Юрия Макусинского (Санкт-Петербург) из сборника «Выбор Донбасса»:

<i>Знаю — слёзы, долги, пелёнки,</i>	<i>Взгляд пленительный, голос звонкий,</i>
<i>Муж, воюющий спозаранку,</i>	<i>Гибкий стан, шёлк волос — славянки!</i>
<i>Не котлеты на завтрак — пиёнка,</i>	<i>До чего же милы девчонки,</i>
<i>Не хоромы порой — землянка.</i>	<i>Наши верные однополчанки!</i>

И вновь в Донецке мы скрепили литературное братство, мы опустили в донецкие воды городского фонтана маленькие кусочки янтаря, рождённого солнцем в Балтийском море, отдавая себе отчёт в том, что мы одной судьбы, что сила нашего братания велика, что мы принадлежим к одному народу, к одной русской цивилизации и священно верны ей.

## 8. Мы есть друг у друга

При огромной поддержке России по разным программам в ДНР сейчас происходят глобальные процессы по строительству нового государства, которое социально ориентировано. Развиваются все аспекты общественной жизни, культура, спорт. Многие спортсмены, творческие коллективы ездят в Россию и завоёвывают призы, награды. Это объединяющие факторы русских людей и жителей Донбасса.

За три года здесь произошли колоссальные перемены, в частности, в экономике, в промышленности: в тяжёлой металлургии, в горно-рудной промышленности, на шахтах, в тяжёлом машиностроении. Продукция ДНР востребована. Украинские СМИ внушали мысль, что Донбасс — убыточный регион, но это не так. Продукция тяжёлого машиностроения — это высочайшее качество, признанное во всём мире. Месяц назад Александр Захарченко участвовал в открытии национализированного предприятия — сталеканатного завода, который известен тем, что выпускал канаты для Останкинской телебашни. Продукция его известна во всём мире. Она используется для подъёмно-транспортного оборудования различного назначения. Раньше, при украинской власти, этот сталеканатный завод был поглощён олигархом из Одессы. Они закрыли большинство цехов, опасаясь конкуренции. Сейчас он национализирован и передан под управление республики. Уже есть масса заказов: для макеевских шахт, для РФ. Это не единственный пример возрождения после кризисных условий восстановления промышленности Донбасса. Даже в состоянии войны в Ясиноватском машиностроительном заводе выпущено шесть горнопроходческих комбайнов, отправленных в Казахстан и в Россию. В этом году уже собрано три комбайна. Рынки сбыта есть, промышленность живёт.

ДНР берёт все лучшее от России. Развивается нормативно-правовая база с использованием тенденций международной правовой базы. Работают все органы законодательной и исполнительной власти, работает полиция, МЧС, силовые структуры. Идёт разминирование территории, освобождение земли от мин, от снарядов к автоматическим пушкам, снарядов «Карусели» к ствольным и танковым гранатомётам. Это ли не символ возрождения республики?

Что касается карательных операций ВСУ — за преступление против мирного населения, за его физическое уничтожение — рано или поздно ждёт трибунал.

\* \* \*

Круг поездки, путешествия, паломничества завершился. Я дома. За семь дней за спиной около пяти тысяч километров: Калининград — Москва — Ростов-на-Дону — Луганск — Донецк — Ростов-на-Дону — Москва — Калининград.

В самолёте «Ростов-на-Дону — Москва» я вспоминала, что в Новороссии постоянно чувствовала внешне незримое единство Русского мира, о котором мы часто не подозреваем, но оно есть, и мы, Россия и Донбасс, есть друг у друга. И сборник «Выбор Донбасса» — художественное свидетельство единства русской цивилизации, стремления к миру, творческому созиданию, любви и счастью людей, преодолевающих немыслимые физические и психологические нагрузки, теряющих детей и стариков, но сохраняющих мужество и достоинство.

Во вступительной статье к сборнику Владимир Олейник, редактор сайта современной военной литературы [okorka.ru](http://okorka.ru), отмечает, что «на дома непокорных донбассцев с Запада полетели не только снаряды и мины», но и «лавины лжи», поэтому литература взяла на себя миссию: выражение смысла происходящего как «сокровенное свидетельство человеческих душ и сердец», «трагизма и драматизма жизни», но главное, — «тектонического сдвига» в сознании людей, понимание их общности и единства судьбы.

Для телеведущего 1-го канала Артёма Шейнина, писателя, ветерана-афганца, благодаря содействию которого книга «Выбор Донбасса» появилась на свет, оказалось делом чести помочь в осуществлении этого проекта: «В сборнике участвуют мои товарищи, друзья. Герои Киплинга говорили, что они «одной крови», а мы — из одного окопа. Из одного литературного окопа. Если понадобится, то и в настоящее время будем прикрывать друг друга огнём».

## 1. «Сокровенное свидетельство»

В первой части сборника «Поэзия» среди сорока авторов я бы выделила, прежде всего, стихи Владимира Скобцова из Донецка. За творчеством его давно слежу с неизменным уважением, разделяя мнение Юнны Мориц, давшей ему определение «Орфей Донбасса». Это не просто сострадание родному народу, его горестям, это словесное сжигание души, из этого огня — по выражению поэта, «вселенского костра», — рождается спасительное утверждение жизни и мира, желание бороться, не смиряясь со злом и насилием.

Его «Братишка» — обобщённый образ человека, жителя Донбасса, кто не «скрутился в бараний рог», не пытался изловчиться, не смог покинуть свою землю, когда началась война, кто не смог «идти сторонкой», кто был со своими земляками, не ища славы, наград, денег. Пережив «Тысячу дней войны», герой стихотворения истосковался по мирной жизни:

*Мир — театр, а Донбасс — тир.  
И мишенями в нём мы.  
Где-то есть, говорят, мир.  
На него посмотреть бы.*

Но война продолжается, «смерть шустра», и ей противопоставляется братство живых с мёртвыми, умершими за то, чтобы у оставшихся на земле была Родина. Лирический герой стихов Владимира Скобцова в земном неустройстве ведёт в какой-то ироничной интонации диалог с врагом в вышиванке, несущим Донбассу смерть:

*Знать, поверили, граждане, вы не в то,  
Бизнес-классу не выйти в знать.  
Мною небом делиться принято  
И не принято торговать.*

Мария

В стихотворении «Донецкая Иордань» жители Донецка исполняют Божье предназначение — быть «крещёнными огнём», стоять насмерть, чтобы не дать неонацизму охватить планету:

*Трежит земной оси истёртый ворот,  
К Всевышнему дончанам по пути.  
Здесь, на оси земной, стоит мой город,  
Земле с орбиты чтобы не сойти.*

Духовная позиция автора в русской традиции нашей литературы — вопрошать к Всевышнему за других — особенно отчётливо прослеживается в стихотворении «Горловская мадонна», где мать, молившаяся о счастье своей девочки, гибнет вместе с ребёнком от снаряда, пущенного украинским солдатом, жестоко, цинично и бесчеловечно заявляющим:

*И молитвы ваши бесполезные,  
И беда со слухом у Всевышнего.*

Сокрушённость, мольба, гнев, негодование, скрытая вина, боль потерь ничем не уравновесить, как только ответить на незаконность действий врага его уничтожением, полной победой над ним.

Не оставляют равнодушными стихи жительницы ДНР Марины Бережневой. Обнажённая русская мысль о единстве с теми, кто был так близок, а теперь его нет рядом, как писал Николай Рубцов: «И близких всех душа не позабудет», так у Марины Бережневой рождается из-под пера «столпотворение звёзд, перемешанных с душами близкими». «Безумие раскинуло свои сети», охватила «всеобщая беда», «дымы отчизны собирая комом» в горле, но найдутся те, кто обязательно «сложит саги» об увиденном хрустальными евангелическими словами, стоя над «осыпью усталой штукатурки».

«Мы попали в сезон мировой шоу-битвы», — пишет Людмила Гонтарева. За что? Почему? «Снились алые паруса, оказалось — земля кровоточит», наливается «немою болью», «великан-мельница с треском ломает копыта наивные дон кихотов»... Война — это когда дом уже не является крепостью, когда, как рассказывали мне луганчанки, выходишь на улицу, одеваясь во все чистое, на всякий случай, в нём уйти, если внезапно у тебя ВСУ отнимут жизнь. Запечатлеть в слове все чувства, все переживания бытия на войне — задача поэта, которую никто перед ним не ставил и не ставит, но рождаются строчки, «дарованные небесами»:

*От перегрузки и увечностей  
Стих разбивается порой,  
Чтоб стать в конце начала вечностью,  
Шагами, шёпотом, травой...*

В военных и военно-тыловых условиях душа быстро зреет, и характер уже можно определить одним словом, как у Владислава Русанова: донбасский, и когда проходит артобстрел, дончак видит себя лежащим на земле, «обнявшим Донбасс пошире...», повторяющим: «А мы всё-таки выживем». Поистине народом-богатырём предстают жители Донбасса в творчестве Елены Заславской:

<i>Здесь есть место</i>	<i>Мой команданте!</i>
<i>Для подвига и для мести.</i>	<i>Когда же звезда взорвётся,</i>
<i>Наведи свой зум —</i>	<i>То вспыхнут в небе два солнца!</i>
<i>Поглядим на звезду</i>	<i>Потому что таким, как мы,</i>
<i>Бетельгейзе вместе,</i>	<i>Одного мало!</i>

Многие авторы в своих поэтических творениях прибегают к молитве в стихотворной форме. В поэзии Натальи Лясковской, противопоставляющей себя теплотности, нравственным отщепенцам, не знающим Родины и веры, не ощущающим себя частью большого целого — русской цивилизации — её лирический герой говорит:

*И отсюда, из русской столицы,  
Вспоминая любимые лица  
(в сердце светлая боль, в горле — ком),  
Припадаю к иконам, как птица:  
Да укроет родную землю  
Божья Матерь Цветастым Платком!*

## 2. Окликнуть Родину по имени

Львиную долю сборника «Выбор Донбасса» занимает проза, которая открывается новеллой Николая Иванова «Свете тихий». Главная героиня — бабушка Зоя, партизанка, кавалер ордена Красной Звезды, бригадир колхоза, хранящая у иконы грамоты за свой беззаветный труд, достигла 90-летнего возраста.

Каким способом окликнуть Родину по имени? Опытный мастер психологической прозы, Николай Иванов делает это не только кратким именем, но и образом высокой нравственной чистоты. Героиня новеллы пережила трагические события в своей изни: потеря детей, а потом её последняя надежда и опора — внук — гибнет среди защитников России в горячей точке. Её возраст извиняет куда-то пропадающую фрагментами память, но, возможно, это не возраст, а причина совсем в другом — это нежелание помнить непереносимое личное горе. Друзья внука приезжают в деревню, чтобы помочь бабушке Зое переехать в Дом ветеранов. Прощание с односельчанами, вручение им подарков — пронзительные сцены русской правды и русского понимания жизни. Городским жителям, возможно, кажется, что исчезло это трепетное ощущение соборности, взаимоподдержки, теплота сердец, а здесь — вот оно, никуда не уходило. Есть мир Божий, который больше самого широкого представления о нём и первичнее. Светлое чувство правды писателя ведёт нас к мысли о подобных жителях в тысячах деревень России, ждущих, чтобы их рассыпанность соединилась из отдельных частей воедино, чтобы мы все, наконец, поняли: мы все друг у друга есть.

О тайном единстве нашем, о котором мы тоскуем, не понимая, что оно у нас есть, рассказ «Две затяжки» Ирины Горбань, взявшей сюжет спасения молодого ополченца, совсем ребёнка, убежавшего от матери, чтобы защищать свой край. Серёга гибнет, не успев ни разу выстрелить, от рук снайпера, но поведение его однопольчан — это залог победы высоты над низостью.



«Донецкий реквием» Ивана Донецкого — это поэзия чудесной, счастливой, глубоко, верно, преданно любящей семьи, в одночасье уничтоженной взрывом снаряда. Ничем не заменить её оставшемуся в живых мужчине. До войны и сейчас — два мира, между которыми пропасть потери самых прекрасных, самых любимых людей: жены («она была для меня нежнее матери, она сдувала с меня пылинки»), дочери и не успевшего появиться на свет ребёнка. Герой, от имени которого идёт повествование, как будто попал на быстрину порожиистой реки, потеряв возможность выбраться на спасительный берег. Читательское сердце и ум ужасаются безумию мира, где мирно спящие милые, чудесные люди гибнут в результате разрыва снаряда, пробившего стену жилого дома, пущенного ненавидящей рукой карателя, за спиной которого криминальные олигархи Украины, а за этим холопско-европейским миром — античеловеки-глобалисты. Такие произведения как «Донецкий реквием» — это серебряная пуля Слова на сатанинского зверя, поселившегося на украинской земле.

Отдавая должное таким авторам, я бы хотела отметить «Украинские хроники» Андрея Кокоулина из Санкт-Петербурга. Украинский корреспондент Телицкий попадает в зону АТО (антитеррористических операций), как принято называть Донбасс на Украине. Встреча со Свечиным, человеком «со светлыми, тёплыми глазами», ухаживающим за бессильными стариками по собственной воле, — никто не просил, сам так решил, — в глазах Телицкого тот выглядит блаженным. Но общение со Свечиным перевернуло сознание Телицкого. Свечкин со стыдом вспоминает своё прошлое: «Пил я тогда много. Поймали, мобилизовали, оформили, приставили подносчиком снарядов. Мне что? Майдан. Свобода. Украину не любите? Ночью лупим куда-то, днём пьём. Как в дыму...» Свечкина как будто ударило током, протрезвило то, что случайно он забрёл в пыточную и увидел человека с отошедшей от ударов кожей. «В голове только: Ну, зачем же вы так, суки? Ведь не звери мы.. Не звери...» И окончательно Свечкин стал понятным после слов: «снял Всеволода с верёвки, перевязал, завалил на себя и попёр его в ночь». Пока не наткнулся на разведчиков. Он мучительно рассуждает сам с собой, испытывая душевную боль. Особенно остро Телицкий её ощутил, позвонив своей матери, целыми днями не отрывающейся от телевизора, задавшей вопрос: «Где ты, сынок?» и сказавшей после ответа, что он на Донбассе: «Убивай их, сынок, они другие...»

Он проходит весь ад нестерпимых условий жизни на войне, она, эта война, становится воспитателем его чувств и мировоззрения, общение с жителями Донбасса напитывает его человеческую душу, его сердечный мир, изменяет его судьбу, и когда Свечкин посоветовал ему ответить себе на вопрос: «Кто ты?», «Телицкий... ощутил себя вдруг частью Русского мира...»

В итоге, не имея возможности уделить внимание каждому автору, хотела бы подчеркнуть, что присутствие авторов «Выбора Донбасса» в русской литературе, их незаживающие сердечные раны и ссадины — это духовные контуры современной России, Русского мира, метафизического пространства великого, благородного, спасительного для планеты людей.

### 3. Ложные вехи и государство социальной справедливости

В третьей части сборника «Выбор Донбасса» — «Драматургия» — опубликованы четыре автора. Рубрику открывает пьеса Юрия Юрченко (Москва) «Свидетель». Легендарная судьба автора, поехавшего на Донбасс в горячем 2014 году

и попавшего в плен, широко известна. Его потом обменяли. На вопрос, зачем он, выпускник Сорбонны, туда поехал, он ответил: «Невозможно было смотреть, как погибают дети, женщины. ...Они трагедией в Одессе мобилизовали всех добровольцев, на девяносто процентов. Но когда это стало происходить в Славянске, а это наш исторический форпост... И бьют твоих соотечественников, убивают, таких же русских людей...»

В пьесе «Свидетель» Юрий Юрченко свидетельствует о жестокостях и издевательствах в плену: тыканье столовой вилкой в глаза, в шею, в бок, удары лицом о стену, избиение прикладом автомата в лицо, привязывание к танку (не буду далее перечислять подлости, чтобы пощадить читателя), о тех офицерах ВСУ, кто работал на ЦРУ, о собирающих коллекцию «самых изощрённых пыток Востока и Азии», об изучающих методы и приёмы разведслужбы Израиля по отслеживанию и уничтожению своих врагов, о ведущих картотеку тех, «кто сотрудничает с сепаратистами, добровольцами, поехавшими на Донбасс из других стран».

Главный герой пьесы Юрий Горбенко, оказавшись в плену, записывает: «Они остаются карателями, бандеровцами, украми, врагами. Но у этих внезапно приблизившихся врагов, в отличие от тех, прежних — сливавшихся в одну безликую толпу, скандирующую «Героям — слава!», начали проступать, вдруг, лица, глаза, голоса, улыбки. У них были такие же, как и у ополченцев, позывные — «Марк», «Артист», «Котик», «Седой». Но другое сознание, искалеченное пропагандой. Избивая пленных, они как будто демонстрировали какой-то пролом в миропонимании с отверстой раной, через которую втекала ненависть к России, непонятной и страшной для них. «Ложные вехи раздробили апокалиптически душу украинца: «и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (*Откр.: 3, 17*).

«Коктейль для москаля» — иронический фарс в одном действии Влада Суворова (Ярославль) — фрагменты жизни в зомбированной Украине с её жадностью к деньгам, правосеками с балаклавой на голове, неустойчивостью моральных принципов, отрезвлением представителя молодого поколения, уезжающего в Москву. Душеспасительные мотивы звучат в пьесах «Конвой» Константина Ковригина (Симферополь), «Миронова проба» Глеба Боброва (Луганск).

В завершении хочу сказать, что после знакомства с некоторыми авторами вживую на Донбассе и с незнакомыми в сборнике «Выбор Донбасса», предстающими то волевыми и упорными, то нежными, с тихой мольбой ко Всевышнему, — эти имена звучат для меня сегодня волшебными звуками, «в сердце светлая боль, в горле — ком»...



## К 85-летию поэта Станислава Куняева

ЭДУАРД АНАШКИН

### «Чем ближе ночь — тем родина дороже...»



Станислав Куняев

О Станиславе Юрьевиче Куняеве услышал я впервые много-много лет назад, во времена на шумевшей в советское время дискуссии «Классика и мы». Казалось бы, в советское время с чего бы защищать классику и традицию, когда их вроде и так никто не обижает? Но по ожесточённости дискуссии стало понятно: защита классики — дело непростное, если классика и

традиция стали предметом таких страстей. Сейчас, оглядываясь на прошлое, понимаешь, что были эти «страсти по классике» предупреждением, что зреют в стране силы, рвущиеся разорвать страну на части... Но тогда, в советском кажущемся благополучии, это поняли далеко не все. А под обстрелом оказался вызвавший на себя огонь всех либеральных батарей зачинатель дискуссии — поэт Станислав Куняев. Он «осмелился» сказать, что русская классика и национальная русская культура являются единственным спасением для советской литературы.

Отшумела, отгремела дискуссия... И понемногу началось планомерное оттеснение лжеэкспериментаторами на задворки литературы, исповедующей традиционные и классические ценности. Вызвавший на себя огонь Станислав Куняев попал под пристальное наблюдение неких сил, которые время от времени то там то сям пытаются уничтожить его, паля по нему из всех видов информационного оружия. При этом не забывают о другой мишени — стоящем за Куняевым ведущем русском литературном журнале «Наш современник», который недавно отметил свой 180-летний юбилей.

Поэт Станислав Куняев порою незаслуженно попадает в тень публициста Станислава Куняева. Строчку «Добро должно быть с кулаками» цитируют все, кому не лень, сегодня она актуальна как никогда. Но при этом мало кто знает автора этой строчки, считая её народной. Хотя, может быть, это и есть лучшая похвала автору?

*Добро должно быть с кулаками.  
Добро суровым быть должно,  
чтобы летела шерсть клоками  
со всех, кто лезет на добро.  
Добро не жалость и не слабость.  
Добром дробят замки оков.  
Добро не слякоть и не святость,  
не отпущение грехов.*

Написанное более полувека назад, ничем не утратило свежести звучания это стихотворение. Да и не утратит никогда, как никогда наш народ внутренне не смирится с тем, что если тебя ударили по правой щеке, надо подставить левую.

В патриотических кругах писателей-почвенников и государственников Куняев имеет репутацию стального человека, который если понадобится, выйдет под прицелы автоматов очередного московского префекта, в очередной раз пытающегося захватить писательский дом на Комсомольском проспекте. Или отвесит пощёчину очередному литературному негодяю... Куняев — человек дела, а не созерцания. Но, глубоко уважая активную гражданскую позицию Станислава Юрьевича, хочу всё-таки более поразмышлять о Куняеве-поэте. Выход его новой книги стихов — отличный повод для этого. Ведь по признанию самого автора, он же и составитель своего «Избранного» под названием «Сквозь слёзы на глазах...», эта книга — итог многолетней творческой работы поэта.

«Составляю свою последнюю, может быть, книгу и долго размышляю над каждым стихотворением: оставлять его для сегодняшнего читателя или нет? — пишет Станислав Юрьевич. — Не потому, что мне стыдно за какие-то стихи. К власти я за все сорок лет своей, как говорят, творческой жизни не подлаживался, в лениниану никакого вклада не внёс, никаких масок на лицо не напяливал. Был верен завету, который сформулировал для себя ещё в 1963 году:

*Пишу не чью-нибудь судьбу,  
свою от точки и до точки,  
пускай я буду в каждой строчке  
подвластен вашему суду.  
И всё же кто-нибудь поймёт,  
где грохот времени, где проза,  
где боль, где страсть, где просто поза,  
а где — свобода и полёт!*

Смотрю, перелистываю книги, перечитываю, взвешиваю... Вырисовывается определённая картина: в одних стихах жизнь, энергия, вдохновение как бы поувяли, чуть-чуть иссякли, израсходовались. Вот их, постаревших со временем, я в эту книгу включать не буду. Оставляю те, в которых жизнь сохранилась в свежей полноте, те, которые люблю, как в молодые годы...»

По поводу того, что книга, может быть, последняя, я бы сказал: «Типун Вам на язык, Станислав Юрьевич!» А насчёт утраты общественного интереса с радостью, но и с горечью понимаю — стихи Станислава Куняева о трагической судьбе России звучат как никогда актуально. Как автора этих стихов, Куняева, наверное, не может это не радовать. Но как гражданин и публицист он наверняка испытывает горечь. Раз стихи в защиту России не просто не устарели, но актуализировались, значит, Россия по-прежнему в беде. Разве что «страшилки» для русского человека сверху поменяли. Раньше пугали «лишь бы не было войны». Сегодня пугают

«лишь бы не вернулись лихие девяностые». Так что поэзия Станислава Куняева, опасаясь и радуясь одновременно, актуальной остроты ещё долго не потеряет.

*В гражданской войне победителей нет,  
поскольку она без конца,  
хоть семьдесят лет, хоть сто семьдесят лет,  
коль сын отвергает отца...*

Сегодня, когда общество русское, как во времена феодализма, расколото по линии «роскошь — нищета», гражданская война уже идёт, не всегда нами замечаемая.

...Вовсе не железным, а радушно суровым увидел я Станислава Юрьевича во время нашего первого личного знакомства. Это было в эти самые суровые 90-е годы, когда после приёма в Союз писателей России я стал иногда приезжать в Москву. Приезжал, чтобы плотнеть литературного воздуха общения с коллегами и снова залечь в свою самарскую сельскую глубинку. Тогда у меня в Самаре вышла книга рассказов и повестей «Запрягу судьбу я в санки» — книга для меня особая, потому что предисловие к ней написал сам Валентин Распутин. Признаюсь, не терпелось показать её писателям столицы. Приехав в Москву, я перво-наперво направился на Цветной бульвар в редакцию журнала «Наш современник». Несмотря на суровые голодные времена 90-х годов, народ в глубинке журнал выписывал, читал, искал ответы на свои вопросы и очень уважал за правдивость. А напечататься в «Нашем современном» мечтали многие, если не все, писатели России. Мечтать не вредно, и вот я у Куняева в кабинете.

Почаёвничали, вручил ему свою книгу. Куняев пролистал её: «Это предисловие Распутина я уже читал в журнале «Роман-журнал-21 век». Написано кратко, ясно, и главное — тепло. Как тебе удалось выйти на Распутина? Он ведь очень редко пишет предисловия, и только к достойным книгам». Тут я, конечно, разомлел и рассказал о Читинском семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, о нашем очень давнем знакомстве с Распутиным, о последующем счастье общения с ним. Куняев, даром что занятый человек, слушал внимательно...

Впоследствии мы со Станиславом Юрьевичем встречались не только в стенах редакции «Нашего современника», но и в Правлении Союза писателей России на Комсомольском проспекте, в московском храме Христа Спасителя на Всемирном Русском народном Соборе, на всероссийском литературном празднике «Сияние России» в Иркутске... А на страницах журнала «Наш современник» появились мои литературные эссе о писателях России, об их книгах. Здесь же, в редакции «Нашего современника», на первом этаже я познакомился с выдающимся русским поэтом Юрием Кузнецовым. Московские писатели поговаривали, что Кузнецов и Куняев «друганы» и соратники, потому Куняев и пригласил Кузнецова работать в журнале заведующим отдела поэзии.

Вышедшая впоследствии книга Станислава Куняева «У бездны мрачной на краю» подтвердила, что так оно и было. Это была книга воспоминаний и размышлений о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова. Горжусь, что она есть в моей домашней библиотеке, причём с автографом Станислава Юрьевича: *«На добрую память истолкователю наших текстов Эдуарду Анашкину от автора этой книги, написанной печальным пером. Ст. Куняев 5.12.2015 г.»*

Приятно быть толкователем стихов, в которых есть толк не только литературный, но и жизненный толк для судьбы России, для души русского человека. А в каждом русском человеке старшего поколения непременно живёт человек советский. Не всегда они живут в душе мирно... Примирению русского с советским

Станислав Куняев посвятил многое в своём поэтическом творчестве. Строки другого его известного стихотворения, наверное, звучали едва ли не как вызов архи-православным патриотам.

*Реставрировать церкви не надо:  
пусть стоят, как свидетели дней,  
как вместилища тары и срада  
в наготе и в разрухе своей.*

Как показала жизнь, не вызов это был, а хуже — пророчество, и оно сбылось. «Как это не надо реставрировать церкви?», небось, гневно восклицал иной православный. Но разве нынешнее активное строительство храмов уменьшило количество хамов во власти? И разве оно примирило русское с советским? Разве сегодня всяк чиновник, с верху до низу, не считает своим первейшим долгом плюнуть в великое советское прошлое?..

Станислав Куняев наиболее пламенные стихи написал именно во имя этого примирения, так и не состоявшегося поныне. Поэт признался как-то, что когда написал последнюю строфу стихотворения «Реставрировать церкви не надо...», сам был в недоумении.

*...Всё равно на просторах раздольных  
ни единый из нас не поймёт,  
что за песню в пустых колокольнях  
русский ветер угрюмо поёт...*

Вот и мы сегодня, спустя десятилетия после написания этих строк, задаёмся вопросом: «Почему русский ветер угрюм, если храмы реставрируются?» А тогда Станислав Куняев упорно пытался найти для стихотворения другое слово вместо угрюмо, словно стараясь себя убедить: как только начнут восстанавливаться церкви — Россия воспрянет. Но стихотворение столь же упорно отвергло все попытки автора заменить эпитет на более оптимистичный. Русское угрюмство часто делает стихи русских поэтов вневременными. Александр Блок написал о поэте:

*Простим угрюмство — разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь — дитя добра и света,  
Он весь — свободы торжество...*

Предрёк классик России такое торжество свободы, что сегодня мы стали свободны от многих «оков» тоталитаризма — от бесплатной медицины и образования, защиты от поддельных продуктов питания и лекарств, от мошенников всех мастей... С горечью надо признать, что гражданская поэзия Куняева оказалась сильнее эпохи, в которую создавалась, потому что пережила XX век и шагнула в новое тысячелетие:

*Господи, что творится?  
В светлом притворе стоят  
потусторонние лица —  
свечи в их лапах горят.  
Струйки зловонья и серы  
вьются из тёмных ноздрей,  
слушают воры и мэры,  
что говорит церей.  
Господи, пробы поставить  
негде — на лица взгляни!*

*Можно ль Россию оставить  
в столь окаянные дни?  
Жениcina жертвует лепту  
храму во имя Твоё.  
Русскую женичину эту  
Обворовало ворьё  
Матьер-заступница наша,  
Русь твой последний удел,  
глянь — унижения чаша  
переполняет предел!*



Это «Молитва» Станислава Куняева, молитва за русского человека, сохранившего душу и умение делиться последним во имя того, во что он верит. Стоящие в церковном притворе чиновные «притворы» — реальность наших дней. Не о ней ли нас почти полвека назад предупреждал «угрюмый» ветер в стихотворении Станислава Куняева?

...Однако русский поэт остаётся поэтом во многом наперекор реальности, потому что понимает: несмотря на печальные земные реалии, над Россией распространённая небесная благодать, и никакие суетные искушения не в силах её свести на нет. В этом, может быть, и заключена тайна бессмертия стиха.

*Как посветлела к осени вода,  
как потемнела к осени природа!  
В моё лицодохнули холода,  
и снегом потянуло с небосвода.  
Мои края, знакомые насквозь:  
пустынный берег, подзавалье, речка...  
Так кто же я — хозяин или гость?  
И что у нас — прощанье или встреча?  
От холода я задремал в стогу,  
как зверь, готовый погрузиться в спячку,  
проснулся, закурил на берегу  
и бросил в воду скомканную пачку,  
и не решил, что ближе и родней —  
вчерашний шум берёзы отшумевшей  
или просторы прибранных полей  
и тусклый свет травы заиндевавшей.  
И, затянувшись горестным дымком,  
спасая тело от осенней дрожи,  
я вдаль глядел и думал об одном:  
чем ближе ночь — тем родина дороже.*

Написанное в далёком 1966 году, это стихотворение, как и многие-многие другие классические стихотворения Станислава Куняева, останутся навсегда в русской поэзии и в русской душе. Они будут жить даже в ту «пору прекрасную», в которую, вспоминая классика, жить не придётся людям нашего поколения. В пору, когда, вспоминая слова другого классика, Россия «вспрянет ото сна». Они будут в русской душе до тех пор, пока русский человек будет способен беседовать с Богом, выходить на берег распахнувшейся ему навстречу родной реки детства и тихо понимать, что родину надо любить не только весной. И не только, когда на Родине светло и хорошо.

# К 70-летию поэта Василия Козлова

МАКСИМ ОРЛОВ

## Надвременная связь

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ВАСИЛИЯ КОЗЛОВА «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»

Нужно быть достаточно смелым, чтобы назвать объёмный и, на мой взгляд, программный, сборник стихов «Гончарный круг»: радители божественного происхождения поэзии пребудут в лёгком шоке от такого ремесленнического названия. Но давно замечено, что многие признанные поэты относились к написанию стихов с лёгкой иронией. Хрестоматийное «когда б вы знали, из какого сора...» уже не требует указания автора, да и сам Василий Козлов не прочь понизить планку вдохновения:

*Забавное дело слова составлять  
В прямые и ровные строчки,  
При этом безудержно их рифмовать,  
Спрессовывать в строфы-брусочки.*

Монолог сочинителя N

Или:

*Я рифмовать могу с утра до вечера  
О чём угодно. Даже ни о чём.  
Когда б мне в жизни делать было нечего,  
Я стал бы знаменитым рифмачом.*

*В порыве неосознанно-лирическом,  
Глухарь на поэтическом току,  
Как тот столяр рубанком электрическим,  
Я гнал бы кучерявую строку.*

Я рифмовать могу с утра до вечера...

Упоминание же столяра с рубанком нас отсылает к Осипу Мандельштаму, который саму КРАСОТУ низвел до ремесла: «Красота — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Да и расхожий штамп «произведения литературы и искусства» порождает провокационный вопрос: «А является ли литература искусством?» Василий Козлов отвечает на этот вопрос всем своим сборником, но об этом — чуть позже.

Упоминание Мандельштама не случайно — многие стихи иркутского поэта имеют или прямые параллели, неявные реминисценции или опосредованные ассоциации с известными образцами русской поэзии. Понятно, что и читатель должен хотя бы приблизительно помнить эти образцы, иначе он не уловит ассоциации строки Козлова «Когда безмолвствует народ» («Из-под руки смотрю...») с пушкинским «Борисом Годуновым»; не поймёт, о какой деве пишет автор (и Пушкин!): «А дева всё сидит, склонившись над кувшином» («В Екатерининском пар-

ке»). А как не вспомнить Юрия Кузнецова с его «я пил из черепа отца» при чтении следующих строк Василия Козлова: «*Лучшей формы сосуда, чем череп, не придумаешь для питья...*» («Гончарный круг»). А фраза «красное солнце» («Я оставил на том берегу...») — это уже переключка с Анатолием Передревым.

Это взаимопроникновение русской поэзии с произведениями Василия Васильевича Козлова — одна из отличительных черт сборника «Гончарный круг». Настоящий поэт не может творить «в чистом поле», ему нужны маяки и реперы, а попросту говоря, — литературный язык как стержень всей культуры. (Уместно вспомнить определение известного литератора Игоря Золотусского: «Литература — это язык», да и Иосиф Бродский утверждал в своей нобелевской лекции: «Поэт... есть средство существования языка».)

Другая отличительная черта рассматриваемого сборника — многоплановость. Здесь и трогательные воспоминания детства, гражданская поэзия, лирика, размышления о смысле бытия, о жизни и о смерти, о России и времени...

Что касается гражданской лирики, поэт не повторяет перепевы многих авторов, пишущих на потребу рядового читателя, — набившие оскомину обличения «сатрапов», «кремлевских иуд» и проч., и проч., и проч. Такая поэзия уже не трогает. Гражданская лирика Василия Козлова — это неизбывная боль за Россию, за Сибирь.

<i>Великий и сильный народ, Над миром паривший, как птица, Уже никуда не идёт, Уже никуда не стремится.</i>	<i>Доверчивый добрый народ, Ужель, не достоин прощенья? И снова для новых господ Ты станешь козлом отпущенья.</i>
---	---

Великий и сильный народ...

Или:

<i>И глаза голубые Смотрят в мёртвую стынь? Это сын твой, Россия, Ты его не отринь!</i>	<i>Врут все сметы и прайсы. Ты мне честно скажи, Если будут чубайсы, Значит, будут бомжи?</i>
---	---

Бомж

Среди этого пласта выделяется стихотворение «Могильщикам России»:

<i>Вам не впервой готовить сруб Всемирной домовины, Вам запах свежей крови люб И привкус мертвечины. ..... Ещё рождает боль и крик Растерзанное тело. Ещё не омертвел язык И ткань не отвердела.</i>	<i>Шивает нить, сживляет нить, И смерти тень исчезла... Россию поздно хоронить, Она уже воскресла.  Она в пределах тех высот, Откуда вечность грядет, Куда и взгляд ваш не дойдёт, И голос не достанет.</i>
--	---

Могильщикам России

Мудрость, приходящая с годами, позволяет поэту вопрошать и самому же отвечать на непростые вопросы:

*Плыть и плыть над ликующей бездной...  
Звёзды плачут, мигая во мгле.*

*Неужели была бесполезной  
Жизнь моя на цветущей земле?*

*Я ещё не устал улыбаться,  
Знаю радость и горькую страсть.  
Может, выше уже не подняться,  
Но и ниже уже не упасть.*

*А стоять над ликующей бездной  
Так светло, когда вспыхнет гроза,  
И смотреть, как по грани отвесной  
Тихо катится Божья слеза.*

*Может быть, не напрасны страдания  
На закате исполненных дней.  
Дал бы только Господь покаянья  
В непостыдной кончине моей.*

Плыть и плыть над ликующей бездной...

Но в контексте бренности нашего пребывания в подлунном мире всё-таки бьётся прожилка оптимизма:

<i>Когда душа оставит тело,</i>	<i>Для новой жизни жизнь очнётся,</i>
<i>А тело выстынет в земле,</i>	<i>И не поймёшь, была ли мгла</i>
<i>Жизнь без начала и предела</i>	<i>Меж той, которая начнётся,</i>
<i>Пойдёт по новой колее.</i>	<i>И той, которая была.</i>

Другая жизнь

Приведённые ниже строки настолько классичны, что заучиваются при первом прочтении:

*Сияет вечная надежда.  
Горчит сердечная печаль.  
А жизнь, как старая одежда,  
Поизносил, а бросить жаль.*

*Латать и штопать станешь снова,  
Пока истёршишь по краям,  
В руках последнего портного  
Не расползётся вся по швам...*

Сияет вечная надежда...

Из любовной лирики (термин, конечно же, неточный) Василия Козлова выделю три стихотворения, которые, как мне кажется, не написаны, а выстраданы:

*Твои глаза от голубой листвы.  
Вокруг зрачков туманность тоньше дыма.  
Сквозит улыбка еле уловимо.  
Замедленно движение головы.*

*Ты вся в себе, ты словно в забыты.  
Ты вся со мной. И нет тебя со мною.  
Что с нежностью роднит тебя земною?  
Не знаю я. И не хочу найти.*

*Мои слова молчания немей.  
Пред чувствами бледны мои чернила.  
Слезинка на щеке твоей застыла —  
Не высохнуть и не скатиться ей...*

Твои глаза от голубой листвы...

Второе:

*Я телеграмму разорвал,  
На всём поставил крест.  
Зачем я так упорно ждал  
Нежданный твой приезд?*

*Гудел разбуженный вокзал.  
Стремглав летел гудок.  
Зачем я так упорно ждал,  
Бежал, сбиваясь с ног?*

*Зачем стремился оправдать  
Возвышенную ложь!  
И реки можно двинуть вспять,  
Но жизнь не повернёшь.*

*Вдруг дрогнул и поплыл перрон.  
Последний простучал вагон:  
«Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас...»  
Роняет гвоздики сирень.  
А вдруг я перепутал час?  
А вдруг я перепутал день?  
А вдруг я перепутал жизнь?..*

Не встретил

А кто лучше иркутянина отразил уход женщины?

*Уходит женщина... Она ещё со мной  
Утрами просыпается. Расчёсывает волосы.  
И всё-таки она становится иной,  
Я вижу по глазам, я слышу это в голосе.*

*Уходит женщина. Со мной ей нелегко.  
Возможно, тяжелей, чем мне с самим собою.  
Мы за одним столом пьём утром молоко.  
И всё-таки она как за глухой стеною.*

.....  
*А как я буду жить, когда она уйдёт?  
Что если не умру, переживу, забуду?  
В печи трещат дрова. На стёклах тает лёд.  
И молча моет женщина посуду...*

Уходит женщина...

Я не случайно цитирую многие стихи целиком (что в подобных статьях считается излишеством), а не отдельными фрагментами: стихи Василия Козлова — это **цельные** произведения, подобные изваяниям скульптора, по отдельным частям

которого нельзя получить представление о целом. И в то же время поэт скуп на строфы — он не повторяет мысль многократно, уважая читателя. Для экономии текста он зачастую «включает в работу» название стиха (как, например, в вышеприведенном стихотворении «Не встретил»).

В сборнике «Гончарный круг» представлено пять стихотворений, посвящённых поэту Геннадию Гайде. Вот одно из них:

*Обними меня, друг, на прощанье  
И не прячь затуманенных глаз,  
Пусть, как клятва, звучит обещанье  
Помнить срок и назначенный час.*

*Над Россией застыло ненастье,  
Но пробы́тся спасительный луч.  
Не терзай себя признаком счастья  
И вселенской тоскою не мучь.*

.....  
*Уходя, задержись на пороге,  
Оглянись на последние дни  
И спасительной мыслью о Боге  
Неисполненный путь осени.*

*Лишь в пути открываются дали,  
Холм за речкой и храм над холмом.  
Этой горькой и русской печали  
Не постичь просвещённым умом.*

Уходя, задержись на пороге...

Не только в этом стихотворении поэт обращается к Богу:

*Дал бы только Господь покаянья  
В непостыдной кончине моей.*

Плыть и плыть над ликующей бездной...

*Ты уповал на Бога в укоризне,  
Ты отвергал величие Творца.  
Но, как не ведал ты начала жизни,  
Так не узнаешь и её конца...*

Другая жизнь

*Смелей к истоку бытия  
Иди и не забудь,  
Христос тебе ответил: «Я  
Есть истина и путь».*

И я прошёл весь этот ад...

*Тот, кто в сердце воскресшего Бога несёт  
Никого, ничего не боится.*

Я оставил на том берегу

*Ударил колокол с небес.  
И чудо из чудес:*



— *Христос воскрес! Христос воскрес!*  
*Воистину воскрес!*

## Воскресение

Юрий Кублановский в одном из телевизионных интервью говорил: «Поэт не может состояться без веры». Видимо, не все согласятся с этим утверждением, но то, что вера, вера православная, помогает поэтам «ничего не бояться», быть ближе «к истоку бытия», — несомненно.

Несколько слов о технике Василия Козлова.

Строфика поэта традиционна — стихи преимущественно написаны катренами. Автор «Гончарного круга» — сторонник рифмованных стихов (только одно стихотворение написано белым стихом), причём автор — сторонник точных, а не приблизительных рифм. (Это, в определенной мере, тоже сближает Василия Козлова с Юрием Кублановским, который так определил своё кредо: «Новизна в каноне».) Конечно, гармонию нельзя поверить алгеброй, но приведенные ниже выкладки, на мой взгляд, будут интересны и самому автору. Количество стихов, написанных трёхсложной стопой (дактиль, амфибрахий, анапест) составляют три четверти от стихов, написанных двусложной стопой (ямб, хорей). Этот факт обращает на себя внимание, так как у поэтов, пишущих в традиционной манере, количество стихов, написанных трёхсложной стопой, как правило, значительно меньше, чем в рассматриваемом сборнике. Предпочтение же автор отдаёт ямба (79 стихотворений), анапестам (38 стихотворений), амфибрахиям (18 стихотворений), а количество стихов, написанных хореем и дактилем, невелико (12 и 3 стихотворения соответственно). Иногда литературоведы относят хорей к «чересчур народным» размерам. Видимо, поэт не хотел создавать стилизацию под частушку или лубок. «Нелюбовь» к дактилю ещё требует своего объяснения.

Читатель не найдёт в сборнике ни словесной эквилибристики, ни засилья иностранных слов, ни подражаний классикам. С другой стороны, стихи написаны современным русским языком (поэт — наш современник!), автор не бряцает славянизмами типа «зело», «паче», «зане», так популярных среди некоторых авангардистов, стремящихся быть более русскими, чем сами русские. Кроме того, в стихах В. Козлова практически отсутствуют инверсии, которые являются предметом гордости приверженцев авангардной поэзии. На мой взгляд, переизбыток инверсий — это верный признак отсутствия элементарной техники стихосложения.

Эпитеты поэта не цветасты, а точны. Это — прямое следование творческому подходу Леонида Мартынова, который провозглашал: *«Не золото — лесная опаль, / В парчу не превратиться мху. / Нельзя пальто надеть на тополь, / Ольху не кутайте в доху. / Березки не рядите в ряски, / Чтоб девичью хранить их честь. / Оставьте, надо без опаски, смотреть на мир, каков он есть».*

Что касается «окаянных» глагольных рифм, то их число сведено к минимуму, да и те придают неповторимость стиху:

*А может быть, я плачу  
И этим дань плачу  
За то, что мало значу,  
А многого хочу?..*

По водосточной жести...

Конечно, с автором можно и нужно спорить. В стихотворении «Москва! Тебя не разрубили...» утверждается, что «Москва... странноприимна, как всегда». Хо-

телось бы верить, но... Не у всех «отождествляется с Москвой непобедимая Россия!» Да, Россия непобедима, но Москва в наше время превращается в Московию — государство в государстве...

Выше уже упоминалось, что стихи поэта — выстраданные, а не полученные пробирочным путём в т. н. «творческой лаборатории». Разве возможно такое придумать:

*Там сосед к костылю пристраивает,  
Как к прикладу, до боли в висках.  
Он к такому себе привыкает  
И привыкнуть не может никак.*

Июль 1947-го

Ещё одной отличительной чертой поэзии В. Козлова является соседство в одном стихотворении простых, бытовых деталей с размышлениями о высоком и вечном, например:

*Магазины, дети, внуки, грядки —  
Вот и все житейские дела.  
Главное, чтоб всё было в порядке  
На душе. И будет жизнь светла.*

*Молодость, волнения и ропот,  
Искренность, любовь, порыв, волна.  
Зрелость — это знание и опыт,  
И души бессмертной тишина.*

Магазины, дети, внуки, грядки —...

Всё в этом мире может быть предметом поэзии:

*Любая вещь, предмет любой  
Имеют смысл, будь то будильник,  
Посуда, печь, ведро с водой  
Иль неисправный холодильник.*

На набережной Ангары

Так что же такое поэзия? Научных определений этого термина, причем весьма громоздких, немало. Приведу определение, данное в одном из литературоведческих словарей: «Поэзия — инструмент превращения слова в искусство». Это определение, как мне кажется, и объясняет большое значение слова «слово» (вкупе с «в начале было слово...») для В. Козлова:

*У слова не только основа —  
Душа молчаливая есть.*

У слова не только основа...

*Ни в голом расчёте, ни в трезвом уме  
Поэзии вы не найдёте.*

*Волна умирает в жемчужной кайме,  
А слово и мысль — в переплёте...*

Ни в голом расчёте...

*Я в будущее всматриваюсь снова —  
Там нет меня, но вечно светит Слово —  
Живых людей надвременная связь.*

Перед тобой не я...

Приведённые цитаты — это, по сути своей, откровения. Написание же «Слова» с большой буквы в последнем фрагменте — дань своему же определению: «Слово — живых людей надвременная связь». Именно — надвременная!

В наше время многие упражняются в стихосложении... Большинство освоило технику написания стихов... Многие научились выражать свои мысли в стихотворной форме. Немногие способны перенести на бумагу свою боль, страсти, чувства... И только единицы создали свой Язык, который слагается из Слов<sup>1</sup>.

К таким избранным, без всяких сомнений, относится Василий Козлов — русский поэт, сибиряк, наш современник. А сборник стихотворений «Гончарный круг» — тому бесспорное подтверждение. При этом необходимо осознавать, что для иркутянина создание своего языка было задачей многотрудной из-за твёрдого убеждения в том, что словесные выкрутасы, снятие скальпа со словоформы, сленг, эпатаж не способствуют созданию надвременной связи. Приземлённость названия сборника только подчёркивает: поэзия В. Козлова — это искусство, а книга — незаурядное явление литературной жизни России. Пожелаем же автору творческого дерзновения, любящих поэзию читателей, новых стихов и книг, слов, у которых «душа молчаливая есть».

27 февраля 2016 г.

---

<sup>1</sup>Братский поэт Василий Костромин незадолго до смерти занялся каллиграфией, его интересовал дальнейший путь от Слова к Букве и далее — к её написанию.

СЕРГЕЙ КОРБУТ

## Мера земного

О поэзии Анатолия Змиевского

Произошло то, что должно было произойти уже давно: книга поэта Анатолия Змиевского получила губернаторскую премию. Книга называется «В полушаге от звезды» (2012), но любая из предыдущих: «Среди божественного хлама» (1996), «Лагерная Русь» (1998), «Звезда Вифлеема» (2001), «Я пришёл из осени» (2005), «Любовные письма» (2010) — могла претендовать на то, чтобы её не только читатели заметили, но и культурная наша власть отметила. Это официальное признание на областном уровне, конечно, не предел, поскольку творческий уровень Анатолия Змиевского — не поэт Приангарья, а поэт России. И люди, которые до сих пор препятствуют выходу его на российские просторы, совершают серьёзную ошибку и, по сути, лишают свой родной край ещё одного «имиджевого» представителя в культурной сфере страны.

Про книгу «В полушаге от звезды» можно сказать то же, что и про остальные его книги: поэтически — образно, мощно и своеобразно; содержательно — глубоко, точно и откровенно; по форме — лексически, стилистически и синтаксически грамотно. Последняя характеристика в наше время едва ли не уникальна. Открывая любую книгу едва ли не любого другого пишущего ныне иркутского поэта, почти на каждой странице натыкаешься на синтаксические нестыковки, лексические и грамматические ляпы, своевольное искажение русского языка — и всё это при наличии редактора, корректора, либо лиц, себя за таковых выдающих.

Анатолий Змиевский уже не в первой книге сам себе редактор, что обозначено в выходных данных фразой (ставшей для некоторых издательств оправданием любой изданной ими бессмыслицы): «В авторской редакции». Но здесь случай другой: для того чтобы редактировать «поэта от Бога», нужен и «редактор от Бога», каковых, во всяком случае в Иркутске, давно уже не наблюдается. Достаточно комично, когда, условно говоря, «математик» с начальным образованием берётся искать огрехи в работе доктора математических наук. Так что в случае со Змиевским против издания книги в авторской редакции возражать не приходится.

Откроем любую страницу. Стихотворение «Вдохновение»:

*Вот-вот... Душа не в силах не частить  
в стремление слиться с подступившим словом,  
настойчиво, как жажда ищет пить,  
упущенные звуки ловит снова...*

— заканчивается одним из образов, которые «ставят на дыбы» осторожничающих публикаторов:

*Так девочка-подросток с восхищеньем  
в постели целомудренной идёт  
на зов neodолимого влеченья  
и утоленья слизывает мёд.*

Конечно, некий сочинитель, вымучивающий надуманные строки в духе «высокого» гражданского пафоса, вряд ли почувствует и выразит нечто подобное. Но

такой темпераментный поэт, как Анатолий Змиевский, не может не чувствовать родства вдохновенного творчества с той страстью, которая извечно терзает человечество, заставляя мучительно искать гармонию в отношениях души и тела. Не менее сложно найти гармонию и в отношениях личности и общества, особенно когда общество начинает активно этой личностью пренебрегать, либо «отсекать от неё лишнее», чтобы втиснуть в свои тесные рамки, подобные прокрустову ложу.

Если поэзия берётся решать задачу гармонизации человеческого мира через дидактику и отстранение от реальной жизни, она перестаёт быть поэзией. Чтобы читатель мог пройти через катарсис, автор должен пройти с ним через его жизнь, не отвергая его ни в греховности, ни в праведности. Не случайно книга «В полупаге от звезды» построена по принципу качелей: всплеск любви и взлёт восторженной лексики сменяется тем талантливо выписанным душевным провалом, от которого свербит под ложечкой, и снова — вверх:

*О, что ты делала со мной,  
душа, подобная нарыву...  
Но вышел прочь кровавый гной,  
и отошёл я от обрыва.*

По любым канонам — религиозным или светским — самое главное для человека концентрируется в слове «душа».

*Нет ничего души дороже,  
и оттого в лесах людских  
дерусь я с чёртом за хороших,  
молюсь пред Богом за плохих.*

Душа не статична, и как бы мы ни старались увести её в образе «девочки-подростка» от житейской скверны и «греховности», да хоть в монашеский скит, она всё равно пройдёт все стадии, необходимые для реализации физического бытия, чтобы потом очиститься и приблизиться к Богу в жизни вечной. В творчестве Анатолия Змиевского это сквозной лейтмотив, он не клянёт и не отрицает жизнь, не ищет виноватых, он просто показывает, как низко можно пасть и как высоко можно подняться в любых условиях своего существования:

*На улице — любви невпроворот!  
Той самой, настоящей, что без плоти...*

Или:

*Сомненья прочь! Долой сомненья!  
Реальней Бог, чем стул и стол.  
Он все мои стихотворенья  
До их рождения прочёл...*

*Я тьме не сдался и не сдамся,  
Из тьмы проросшей головой,  
Как роза белая в романсе,  
светясь в саду, объятая тьмой...*

Удивительно ли, что стихи Анатолия Змиевского находят восторженного читателя и в утончённой «богеме», и в той народной гуще-осадке (синоним — подонки), которую некоторые наши высокомерные и высокочтимые литераторы и за народ-то не считают. Можно с уверенностью сказать, что не будь стихов Змиевского, многие его земляки и не знали бы, что поэзия не только существует, но и берёт за

душу, душу эту переворачивает и встряхивает, как трясут коврик, залежавшийся у порога.

Важно ещё и то, что читатель после стихов Змиевского уже не будет удовлетворяться размножившимся, как сорняки, в окололитературной среде виршеляпством. Сам же Анатолий Змиевский с литературой слит уже неразрывно. Не с той, что суетливо самоутверждается в сегодняшнем дне, подобно фейерверку, запущенному в небо, а с той, что в самоутверждении не нуждается — как само небо, звёзды и вечность:

*Мы различаем горний свет!  
И то, как сквозь костры и искры  
Уходит к Господу, без риска  
Обжечься звёздами, — поэт...*

Нет в физическом мире ничего идеального. Не могут быть идеальными и стихи. Припомнилась притча про китайского художника, достигшего такого совершенства в росписи ваз, что стал вносить в свои рисунки дисгармоничный штрих, потому что только божество может быть совершенным, а он — простой живой человек. Такой подход — не самоуничижение, а мера земного в земной жизни, к которой относится и поэзия. Анатолий Змиевский эту меру чувствует как никто — его стихи полны живого и человеческого.

Я постарался обойтись минимумом цитат, которые, конечно же, никак не отражают разнообразие творческих методов и тематики, с которыми работает Змиевский. Не потому, что цитировать нечего, как у многих других авторов, а чтобы не увлечься чрезмерно цитированием вместо собственных рассуждений; в рецензиях на книги Змиевского, стихи которого можно просто «растаскивать на цитаты», это обычно и происходит. «Цитируют» его порой и собратья по поэтическому цеху, кто явно, кто сам не догадываясь об этом, что, возможно, и не очень пристойно, но зато свидетельствует о том, что каждая новая книга выдающегося поэта является ещё и ступенькой в развитии поэзии в целом.



## Театральная эпопея Виталия Сидорченко

О книге «ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА:  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (1920–1960 ГГ.)»

Жанр книг актёра и писателя Виталия Сидорченко (а их вышло уже две) так и обозначен на титульном листе обеих: страницы истории. Оно и верно: материал выстроен в строгих хронологических рамках, с последовательным описанием театральных сезонов, перечислением сыгранных спектаклей и имён исполнителей. Вместе с тем есть и многое другое: зарисовки исторических событий, судьбы и характеры артистов, отношение зрителей к действу на сцене в разные эпохи. История говорит живыми голосами, и прежде всего голосом самого автора, человека театра, увидевшего близкий ему мир изнутри, взглядом не столько оценивающим, сколько сочувственным.

Автор проследил путь театрального дела в Иркутске с самых первых шагов, от потешников-скоморохов, гонимых церковью и властью, до всеобщего признания за театром права называться храмом искусства.

Нельзя не сказать хотя бы коротко о первой книге, вышедшей более десятилетия назад. В ней читателю открылась история частной антрепризы, о которой сегодня мало кто имеет представление<sup>1</sup>. Мы уже давно привыкли к тому, что театральное искусство — дело коллективное, но, оказывается, были времена, когда организатором действа на сцене являлся всего один человек. Он назывался антрепренёром (от франц. *предприниматель*; антреприза — *частное зрелищное предприятие*). Он находил артистов через Московскую биржу труда, создавал из них коллектив, то есть труппу, привозил в город и открывал сезон. Увлечённые искусством и в то же время прагматики, антрепренёры представлены в книге такими именами как И.О. Краузе, К.О. Малевский, А.А. Кравченко, Н.И. Вольский, М.М. Бородай. Что касается артистов той поры, то, с одной стороны, это были люди зависимые, и прежде всего от спроса, скитальцы, не ведающие, в каком городе будут играть в ближайшем сезоне, с другой — вполне самостоятельные в профессиональном плане. Их не надо было учить: у них имелись сложившиеся амплуа, опыт и репутация. Составить букет из готовых талантов — вот что оставалось антрепренёру. Зато на нём лежала бездна других обязанностей: он заключал договор с властями города, согласовывал репертуар и условия сотрудничества, подписывал контракты с каждым из артистов, оговаривал оплату труда, занятость в спектаклях, количество бенефисов и проч. Он полностью отвечал за финансы — мог остаться в выигрыше и хорошо заплатить труппе, а мог и прогореть. Антрепренёр заботился о быте актёров, при необходимости выполнял и работу режиссёра. Последнее не составляло особого труда: распределить роли, расставить артистов по сцене, остальное они брали на себя.

В дореволюционном Иркутске любили театр, и власти относились к нему ответственно. Для заведования всем театральным делом генерал-губернатор граф Н.Н. Амурский учредил особую «театральную дирекцию», возглавил которую его

<sup>1</sup>Сидорченко В. *Иркутская антреприза: страницы истории городского театра 1790–1920 гг.* Иркутск, 2003.

адъютант А.Н. Похвиснев. В начале 1850-х Похвиснев сам выезжал в Москву, посещал театры, приглядывался к актёрам, имея в виду пригласить наиболее даровитых в Иркутск. Дирекция подбирала репертуар, занималась хозяйственным обеспечением труппы.

О том, что театр в городе на Ангаре очень быстро превратился в центр культурной жизни, свидетельствует петербургская газета «Северная пчела», которую цитирует автор: *«Иркутский театр, младенец по времени, далеко оставил за собой многие провинциальные театры как составом своим, так и разнообразием репертуара. Труппа значительно умножена талантами весьма замечательными»*. Иркутская газета «Восточное обозрение» не оставляла без внимания ни одной премьеры, критика отражала мнение изысканной части общества, тех, кто, бывая в столицах, смотрели лучшее на сцене и могли сравнивать с постановками в родном городе.

Назовём несколько имён выдающихся артистов частной антрепризы: Е.А. Иванова, бывшая крепостная актриса в «дворянском гнезде» помещицы В.П. Тургеневой, матери великого русского писателя; известный в России драматический актёр Д.М. Карамазов; актриса Московского театра Корша С.А. Чарусская, актёр и режиссёр А.Н. Соколовский, знаменитая В.Ф. Комиссаржевская, гастролировавшая в Иркутске в 1909 году.

Программы вмещали всё больше спектаклей. Нельзя не изумиться вместе с автором: за сезон 1897–1898 годов (с сентября по февраль) антрепренёр А.А. Кравченко поставил свыше шестидесяти новых драм и комедий! Среди них «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые» и др. пьесы Н.А. Островского (всего восемь); «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, а также Шекспир, Шиллер, Мопассан, современные Амфитеатров, Потапенко и т. д.

Из репертуарных списков видно, что иркутский зритель воспитывался на классике. При этом театралы строго оценивали качество игры. Автор часто и охотно передаёт слово критикам, приводя отрывки из газетных отзывов на спектакли (почему-то не называя имён). И следует согласиться: общественное мнение в Иркутске проявляло себя на достаточно высоком культурном уровне.

Не жил Иркутск и без музыки — драма и опера на театральной сцене шли поочерёдно.

Уже по первой книге видно, какой огромный материал проработан автором. В рассказ о театре вовлечены архивные сведения, очерки и статьи краеведов, воспоминания писателей, деятелей культуры. Им было собрано такое множество фотографий, афиш, программ, что наступил момент задать себе вопрос: что со всем этим делать? И Виталий Сидорченко, посоветовавшись с руководством, организовал при драмтеатре музей, положив в его основание всю свою коллекцию. Это было в 1985 году, музей существует и поныне. Вполне закономерно, что перед исследователем распахнулись исторические дали, потребовавшие книжного воплощения. И поджидал сюрприз: в газете «Северная пчела» города С.-Петербурга обнаружилось сообщение о том, что 15 ноября 1850 года в Иркутске открылся постоянный театр, а не 22 октября 1851 года, как это считалось раньше. Так Сидорченко прибавил родному театру год жизни.

Вторая книга продолжила первую. И это было следующее историческое полотно, именуемое «Иркутский академический им. Н.П. Охлопкова: страницы истории (1920–1960 гг.)». В центре полотна — жизнь театра, вокруг вся остальная жизнь: события Гражданской войны, перипетии перехода в новую эпоху, по касательной — судьбы других сибирских театров.

Первая глава «Двадцатые годы — иркутские дни» начинается с боёв. Накануне нового 1920 года эсеровский Политцентр восстал против войск Колчака. Автором выбраны эпизоды, характерные для жестокого времени: белые под командованием Сычёва предадут мученической смерти тридцать заложников-революционеров на борту ледокола «Ангара», победившие красные казнят адмирала Колчака и премьер-министра его правительства Пепеляева. Антрепренёр и артист Дубов находится в дружеских отношениях с капитаном колчаковской контрразведки Шемякиным, и, как ни странно, это не будет иметь для Дубова никаких последствий. Ему даже позволят открыть драматическую школу...

Автор не судит историю, но словно вспышкой выхваченные факты говорят сами за себя и содержат в себе ответ: братоубийственная война — трагедия для страны.

Едва прекратились военные действия, как иркутский театр продолжил свою работу. Называться он стал Городским Советским театром. В 1924 году он ещё примет на гастроли «старых» мастеров — знаменитых трагиков братьев Адельгеймов, игравших в «Отелло» и «Гамлете» Шекспира, труппу Московского Малого театра, в составе которой сплошь знаменитости того времени включая Е.Н. Гоголеву и В.О. Массалитинову; Ленинградский государственный академический балет (бывшего Мариинского театра).

В. Сидорченко сумел передать картину, полную противоречий, удивительных преобразований и превращений. Происходит смена зрителей — зал заполняется рабочими и красноармейцами, не оставляют театра и прежние его поклонники, и вся эта разнородная публика с большим интересом смотрит не успевший перемениться репертуар — русскую и зарубежную классику. Снова Островский, Чехов и Горький, снова оперы Чайковского, Мусоргского, Верди и Россини, в то же время на городской площади в честь Первой разворачивается театрализованное действо «Борьба труда и капитала»; его инициатор и режиссёр — полный революционного энтузиазма молодой Николай Охлопков. Борьба разыграна с такой пылкостью и так доходчив образ Тирана-Капитала, представленный одетым в чёрное трико Охлопковым, что возбуждённая масса с криками «ура!» бросается на сцену, чтобы расправиться с тиранией. Пришлось вмешаться подъехавшим кавалеристам.

Не прошёл исследователь и мимо театральной смуты конца 1920-х годов. Приведён красноречивый документ о том, как носители новой идеологии под рабоче-крестьянскими знамёнами пытались покончить с дореволюционной культурой. В «Рапорте рабочему зрителю» за подписью нового директора театра Н. Балашева (1930 год) есть такие строки: «...Иркутский театр сломал гнилую надстройку, созданную веками, проломал окно, в которое дуло свежим ветром, но ещё осталось сделать главное — разрушить фундамент, разрушить «театральную специфичность», сделать театр подлинно для рабочего...»

На какое-то время иркутскую сцену занял Харьковский Краснозаводской театр, взявший на вооружение идеи пролеткульта, впадавший порой в слепое подра-

жание новаторскому театру Мейерхольда с его смелым обращением с классикой. Профессиональная труппа «Сибкорша», делавшая ставку на индивидуальную актёрскую работу, а не главенство коллектива, высоко оценённая иркутянами, была вытеснена. Критика не молчала, отмечает автор: *домысливания и дополнения Гоголя не были приняты зрителем, а в оценке спектакля на тему дня прозвучало следующее: «Белыми нитками шиты персонажи вредительствующих специалистов. Постановщик проявил достаточную политическую бестактность и малограмотность...»*

Читая эти отзывы столетней давности, остро чувствуешь их современность. В разгул новаторства в искусстве ХХI века теплится надежда: коль не впервые классика подвергается испытаниям, так, глядишь, выдержит и нынешние!

Но любопытны и другие примеры. В результате «художественного обслуживания (вот откуда словечко!) деревенского сектора» агитбригадой Сибирского экспериментального театра, после показа спектакля по пьесе А. Горбенко «Целина» в одном из сёл Уярского района пять крестьянских хозяйств подали заявления о приёме в колхоз! Всего же за время гастролей «завербовано в колхоз 149 индивидуальных хозяйств». Так новая власть использовала силу искусства.

Отражён в книге Сидорченко и перелом, наступивший в 1930-е годы после нескольких постановлений, особенно после принятого в январе 1936 года «Об образовании Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров Союза ССР». Притом что направление театра было строго определено в русле строительства социализма, значительный упор делался на классический репертуар и школу русского реалистического искусства в сочетании с требованием высокого художественного качества постановок. Этот курс оставался неизменным на несколько десятилетий вперёд и способствовал мировой славе советского театра, что ещё раз и подтверждается наблюдениями автора книги.

Состояние поиска в театральном деле можно представить через судьбу актёра, режиссёра и педагога Н.Н. Буторина, прослеженную автором в нескольких очерках. Получивший первое образование до революции в Драматической школе Александринского театра, приобретший затем опыт режиссуры в Обществе изящных искусств под председательством М. Горького, он занимался после революции театральнo-педагогической работой на Украине; в 20-е годы активно сотрудничал с Мейерхольдом, после разрыва с ним — вновь на Украине, с 1930 года возглавил в качестве художественного руководителя только что организованный «Сибирский экспериментальный театр», базировавшийся в Красноярске. В 1934 году — перевод в Иркутск, в связи с организацией Восточно-Сибирского драматического театра — вместе с основной частью актёрской труппы СЭТа и в прежней должности.

Творческая биография Буторина так же динамична. Автор перечисляет разброс направлений деятельности главного режиссёра: от спектаклей «политико-воспитательных, пролеткультовских до глубоких реалистических, поставленных на образцах отечественной и зарубежной драматургии», равный интерес к современности и классике. Буторин запомнился иркутянам и как яркий общественный деятель тех беспокойных лет. Не случайно он стал одним из первых, на кого было подано ходатайство о присвоении звания заслуженного артиста РСФСР, которое он и получил, уже работая на Дальнем Востоке, в 1945 году, вместе с ещё четырьмя коллегами-иркутянами.

1930-е годы увидены Сидорченко как годы напряжённого труда, творческого становления советского театра в ещё не устоявшейся реальности. Перед ним ста-

вились задачи: показывать жизнь человека нового социалистического общества — не менее чем в двух третях репертуара. Из классики предлагалось выбирать те произведения, в которых показывалось, как капитал развращал человека. Играли «Последних» М. Горького, «Позднюю любовь» и «Бешеные деньги» А.Н. Островского, «Мачеху» Бальзака. Из современного репертуара — «Шёл солдат с фронта» В. Катаева, «Сын народа» Ю. Германа, «Таня» А. Арбузова, «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. Ленча, «Мой сын» Гергеля и О. Литовского.

Другая задача: резко повысить как идейное, так и художественное качество спектаклей. В эти годы появляются актёры, надолго приковавшие к себе внимание иркутского зрителя: Г.А. Крамова, Г.Д. Штарк, А.Н. Аркадьев, М.А. Ольшевская, заслуженный артист Казахской ССР Д.М. Летковский, Н.В. Залётный, Д.К. Хадков, В.И. Бурдин, Н.Г. Матвеев.

На сцене с успехом воплощались образы вождей и их сподвижников: Ленина, Сталина, Дзержинского, Горького, Свердлова, а за спектакль «Ленин в 1918 году» создатели были награждены грамотами бюро обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся, художественный руководитель, постановщик спектакля Н.А. Медведев и исполнитель роли Ленина Б.А. Ситко получили денежную премию, коллективу театра была объявлена благодарность. К слову, все актёры, игравшие в разные годы роль Ленина, после таких спектаклей покидали Иркутск — их приглашали на работу в центральные театры страны (Б.А. Ситко, П.М. Винников, Л.С. Броневой).

Сидорченко не обходит, конечно же, героическую страницу истории Иркутского драматического театра — годы Великой Отечественной войны. Читатель узнает, как в короткий срок репертуар был перестроен таким образом, чтобы поддержать патриотический дух народа в его сопротивлении фашизму. Одним из первых в стране в 1942 году иркутский театр поставил пьесу К. Симонова «Русские люди» и «Нашествие» Л. Леонова. Театрально-концертные бригады постоянно выступали в воинских частях, госпиталях, рабочих и сельских клубах, в цехах и на полевых станах. Работали по четырнадцать и более часов в сутки. Внесли и материальный вклад — собрали 250 000 рублей в Фонд обороны, за что получили благодарность от Сталина.

Иркутянам выпало в 1941-м встретить эвакуированный из столицы Московский театр сатиры. Уступили ему здание, сами перебрались в Черемхово, где и продолжили свои труды. Через два года вернулись домой, но вскоре пришлось потесниться — приехал Киевский оперный театр и проработал на сцене иркутского драмтеатра до мая 1944 года. На сей раз хозяева на месяц отправились в Читу, где выступали перед бойцами и командирами Забайкальского фронта. Было поставлено 46 спектаклей, из них 15 шефских (т. е. бесплатных). Процитированные автором благодарственные письменные отзывы зрителей как в адрес Иркутского театра, так и Московского театра сатиры, и Киевского оперного — это уже не только иркутская история военных лет.

Можно и дальше следовать за повествователем — его театральная эпопея захватывает и не отпускает, отчего невольно сбиваешься на пересказ, нежелательный для жанра рецензии. И всё-таки не откажу себе в удовольствии коснуться нескольких моментов из послевоенных полутора десятилетий, завершающих книгу.

Так, в 1947 году в истории театра вновь появляется имя Н.П. Охлопкова, причем, как и других, по временам возникающих из прошлого, и это по-особому скрепляет текст. Охлопков присылает из Москвы инсценировку «Молодой гвардии»



А. Фадеева, иркутяне успешно готовят и ставят по ней спектакль. Между прочим, роль Вани Земнухова сыграл Леонид Гайдай, вернувшийся с фронта.

При всей разноликости театральных сезонов 1950-х годов, отмеченной в самом заголовке очерка, наособицу стоят работы по творчеству иркутских драматургов. Это пьесы П.Г. Маляревского, А.А. Самсония, Б.И. Левантовской. И они имеют достижения вовсе не местного масштаба. За постановку спектакля по Маляревскому «Канун грозы» 1951 года автор пьесы и актёры будут отмечены высшей государственной наградой — Сталинской премией, а в 1957 году театр получил приглашение на гастроли в Москву и вызвал к себе немалый интерес столичного зрителя, в том числе и спектаклями «Поэма о хлебе» Маляревского и «Дмитрий Стоянов» Левантовской. Л.С. Броневого похвалили за «хорошее воспроизведение» образа Ленина в «Поэме о хлебе», а Г.А. Крамову и Н.И. Харченко — за удачно сыгранные роли в спектакле «Дмитрий Стоянов».

Органично вписались в историческое повествование очерки Сидорченко, посвящённые наиболее ярким мастерам сцены. Это «Леонид Гайдай в Иркутске», «Жизнь и судьба артиста» (Николай Харченко), «Время Осипа Волина» (о директоре театра), «Легенда иркутской сцены» (Е.Е. Баранова), «Иркутское время Леонида Броневого».

В очерке о Гайдае всего лишь один эпизод из воспоминаний народного артиста РСФСР В.П. Егунова, однокашника Гайдая по театральной студии, многое говорит о будущем блистательном комедиографе. Речь идёт о спектакле «Госпожа Министерша» Бр. Нушича. «Гайдай выходил на сцену с мамой за ручку, был выше мамы на голову, с оттопыренными ушами, в белой рубашке с бантиком и в коротких штанишках...» От одного вида «сынка» (роль была без слов) зал так долго не унимался от хохота, что слов артистов невозможно было услышать, «и разгневанный режиссёр заменил Лёню мальчиком из Дворца пионеров».

Совсем другое, но не менее ошеломительное воздействие оказала на зрителя драматическая актриса, воспитанная на русском национальном сценическом искусстве, — Екатерина Баранова в спектакле А. Афиногенова «Мать своих детей» (роль Екатерины Лагутиной).

...После спектакля за кулисы прошёл человек, настойчиво требовавший встречи с «товарищем Барановой». К тому времени она была не только заслуженной артисткой РСФСР, но и депутатом Верховного Совета РСФСР, к ней обращались многие.

Из воспоминаний режиссёра А.Б. Шатрина: *«И вдруг, не сказав ни единого слова, даже не поздоровавшись, человек этот опустился на колени и... заплакал.*

*— Что вы, что вы! — мы стали поднимать его, но он оттолкнул меня и костюмеришу и тихо, и горько, еле сдерживая голос, произнёс:*

*— Я причинил своей покойной матери столько обид и неприятностей, что перед вами, товарищ Баранова, прошу сейчас о прощении, — и закрыл лицо ладонями...*

*Слова утешения были ни к чему: человек просил прощения и имел к тому основания...»*

Уже немолодая, уставшая после спектакля актриса *«как-то по-домашнему, по-стариковски проговорила:*

*— Ну что уж... Ладно уж убиваться».*

Не однажды упомянутый в книге Л. Броневой, получивший в 1970-е всесоюзную известность после телефильма «Семнадцать мгновений весны», показан не



только с актёрской стороны, но и как человек, имеющий собственное мнение по проблемам театра. Об этом свидетельствует редкий документ — стенографическая запись выступления двадцативосьмилетнего актёра на большой межобластной конференции театральных работников в ноябре 1956 года.

Поражает, насколько остро и зрело поставил Броневой вопрос об оскудении актёрского мастерства, появлении сереньких спектаклей, как чётко перечислил причины, среди которых назвал «неправильное воспитание» будущих артистов, формальное отношение преподавателей к студентам, упрекнул самих исполнителей за равнодушие и лень при проработке роли; не обошёл стороной и материальное положение артистов...

В очерке об О.А. Волине раскрывается судьба актёра и руководителя, вошедшего в историю театра ещё с 1930-х годов. Тогда в качестве заместителя директора Сибирского экспериментального театра он многое сделал в организации театрального дела в Восточной Сибири. Вместе с частью СЭТа, переведённого в Иркутск, продолжил свою работу, а летом 1941 года, в тридцать пять лет, взял на себя нелёгкие заботы директора театра. Началась война, и было необходимо «делать всё быстро, сжимая время». По словам автора, Волин сумел «подчинить свою жизнь и работу задачам государства по обороне страны, отвечая не только за себя и производство, но и за людей, их семьи, здоровье, за предстоящий тяжкий труд...».

Очерк интересен малоизвестными фактами из биографии и служебной деятельности легендарного директора и ещё эпизодом, из которого очевидна профессиональная виртуозность Волина, с какой он после войны пополнял поредевшую труппу из-за отъезда артистов из Иркутска, добиваясь, чтобы достойная кандидатура согласилась вместо крупного города в центре России поехать в далёкую Сибирь. Так в Иркутске появился знаменитый В.В. Лещёв.

Не забыты автором и мастера, которых не видит зритель, но которые хорошо известны всем: артистам, режиссёрам, художникам. Двое из них стали героями очерка «Знаменитая Костюмерша Нюточка и мастер бутафорского цеха Батор Халзанов». Уже из названия видно, как относились в театре к заведующей костюмерным цехом А.М. Коваленко, из текста понятно почему: благодаря её умелым рукам, вкусу и трудолюбию. А рассказ о талантливом художнике-бутафоре и скульпторе Б.Б. Халзанове завершается опять-таки впечатляющей деталью: он был не только искусным оформителем спектаклей — лепные узоры, исполненные им и сохранённые реставраторами, до наших дней украшают зрительный зал театра.

\* \* \*

Закрывая последнюю страницу этого солидного исторического исследования, вобравшего в себя элементы эпоса и одновременно оды, задаёшься вопросом: как же всё это сделано? Как удалось автору свести в единое целое невероятно пёстрый материал, именуемый театральной жизнью? Всё ли дело в точно найденной интонации повествователя?

Больше похоже на то, что заслуженный артист Российской Федерации Виталий Сидорченко тонко срежиссировал своё произведение, расписав роли для каждого документального свидетельства. Текст, должно быть, не просто заносился на бумагу, а проговаривался хотя бы мысленно, и автор слышал голос зала и с залом сверял собственное видение истории. Выражал его деликатно, ненавязчиво,

нередко укрываясь за оценками самих участников событий или обозревателей-современников. Ныне залу, уже читательскому, представилась возможность самостоятельно поразмыслить над тем, какая в итоге получилась картина.

Одна из первых мыслей — о разной скорости перемен, идущих в разных сферах жизни. В нашем случае — в политической и культурной. Культура имеет дело с вечными ценностями, её устои способны пережить не одну политическую эпоху. Так, более подходящая послереволюционным годам агрессивная пролетарская культура (пролеткульт) отступила перед величием русской классики, заменившей в определённой степени, как замечено до нас, религию. Идеалы православия сохранялись в литературе и искусстве, не давая распасться национально-культурному сознанию народа. И новая атеистическая власть или не захотела, или не посмела отказаться от этих идеалов полностью, хотя некоторая ревизия с точки зрения классового подхода была проведена.

Второе. За повествованием, при всей его непринуждённости, стоит высокое духовное напряжение, в котором пребывал каждый человек периода строительства социализма. Это напряжение сказывалось, прежде всего, в требовании высокого качества труда.

Театр не только не оставался в стороне, но вёл за собой зрителя. Театр словно репетировал и проигрывал на сцене саму жизнь, какая она есть в настоящем и какой должна быть в будущем, на себе проверяя жизнеспособность идей общества справедливости. Это было трудно, но интересно.

Автор остановился на рубеже 1960-х годов — времени, когда напряжение начнёт спадать и общество постепенно двинется по пути испытания свободой, которая не для всех станет благом. Но это уже другая история, и она ещё ожидает своего написания.

Дождётся ли — не праздный вопрос. Потому что книги, о которых шла речь, уникальны не только значительностью вклада в культуру Иркутска, Сибири, России, но и самим своим рождением. Они появились без всякого заказа, без подталкивания со стороны, можно сказать, самострельно. Просто актёр с наклонностями историка и писателя — и немалыми, как теперь выяснилось, — многие годы собирал всё, что касалось любимого им театра. Сначала по своему хотению создал музей при театре, потом по своему хотению написал две книги об этом театре. Приложил усилия найти средства на их изготовление. Кто и когда возьмётся за подобный труд — исполинский и благородный?..

Одна деталь в заключение. Посмотрите на выходные данные «Иркутского академического...». Всё в этой книге — и текст, и оформление — выполнено одним человеком, причём на приличном издательском уровне. Перед нами ещё одно документальное и наглядное свидетельство — теперь уже многочисленных талантов Виталия Петровича Сидорченко.

С чем его и надо непременно поздравить!

# Радоница



## *К 85-летию со дня рождения писателя Василия Белова*

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

### Встречи с Беловым

**От редакции.** Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской области. Выходец из крестьянской среды Русского Севера. После семи лет обучения в деревенской школе окончил ФЗО в городе Сокол, где получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности моториста и электромонтёра. Армейскую службу в 1952–1955 годах проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил учиться в Литературный институт имени А.М. Горького. Скончался 4 декабря 2012 года после продолжительной болезни. Похоронен на родине в Тимонихе.

Произведения писателя: «Деревенька моя лесная»: сб. стихов (1961); «Знойное лето»: сб. рассказов (1963); «Речные излуки»: сб. рассказов (1964); «Привычное дело»: повесть (1966); «Плотницкие рассказы» (1968); «Бухтины вологодские»: повесть (1969); «Кануны»: роман (1972–1987); «Бессмертный Кощей»: пьеса-сказка (1978); «Лад. Очерки о народной эстетике»: (1982); «Всё впереди»: роман (1986); «Год великого перелома»: роман (1989–1991); «Повседневная жизнь Русского Севера» (2000) и др.

Награды и премии: орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2003) — за большие заслуги в развитии отечественной литературы; орден Почёта (2008) — за большой вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность; орден Ленина (1984); орден Трудового Красного Знамени (1982); медаль «За трудовое отличие» (1967); Государственная премия СССР (1981) — за произведения последних лет из книги «Повести и рассказы»; Государственная премия Российской Федерации (2003); орден Преподобного Сергия Радонежского III ст. (2003); орден святителя Макария, митрополита Московского (2012).

\* \* \*

*Не так уж много раз и видел-то я Василия Белова, ещё меньше разговаривал. Но были, были случайные и неслучайные встречи, были и разговоры...*

## Я русский

1992 год, весна или лето. По улице Октябрьской навстречу мне идёт Василий Белов (кто ж из вологжан не узнает его!). Я сперва промахнулся мимо. Потом, кажется, и для себя самого неожиданно, остановился, оглянулся...

— Василий Иванович, здравствуйте, — подошёл к нему.

— Здравствуйте, — голову чуть набок склонил, и в голубых глазах заинтересованность.

— Василий Иванович, вы недавно выступали на радио и сказали, что в протестантизме чувствуется какая-то ограниченность.

— Да, сказал, — глаза сузились.

— Но ведь так можно сказать, что и в православии чувствуется ограниченность...

И тут, как в стихотворении Александра Романова «Очки Белова», «зрочки, что крючки» — будто вцепились в меня:

— Вы русский? — тоже, будто крючком-вопросом зацепил.

— Да, я русский.

— Значит, вы ещё мало думали, — уже мягче сказал Белов, развернулся и пошagal своей дорогой.

Очень скоро я понял и его правоту, и причину некоторого его раздражения. Вскоре же написал я статью под названием «Я — русский», и она была опубликована в областной молодёжной газете «Ступени».

Кажется, Василий Иванович забыл тот короткий разговор. А я помню.

## Такой день

А уже познакомились мы в 1993 году, осенью. Проводился областной семинар молодых авторов. Именно на том семинаре Белов сказал: «Поздравляю общественность Вологды с появлением нового писателя — Михаила Жаравина». На том же семинаре, нам молодым авторам, говорил Белов: «Подумайте, вы вступаете на не просто опасный, а на смертельно опасный литературный путь...»

Белов говорил и о моих рассказах. Точнее, обсуждались некоторые мои рассказы (первые прозаические опыты), а Василий Иванович говорил лишь об одном из них. О рассказе «Такой день». И не только говорил, он на листочке с рассказом сделал две карандашные пометки. Слово «сел» исправил на «уселся», а ещё одно слово обвёл и стрелочкой перенёс в другую часть предложения...

Одним из самых значительных в жизни стал для меня тот день.

Самым дорогим для меня стал тот листочек...

## Вопрос

Вот уже после семинара он и стал меня узнавать. Никогда не делает вид, что не заметил, — подойдёт, поздоровается, руку подаст, спросит о чём-то...

Я подрабатывал дворником. Участок мой — «Старый рынок». Половина шестого утра. Мету. Поднял опрокинутую урну, собрал рассыпанный мусор...

Гляжу: коренастый, в чёрном костюме, в тёмной рубашке идёт энергично, будто по какому-то важному делу Василий Белов. Меня увидел:

— Привет! — улыбнулся, подошёл, руку протягивает.  
Я торопливо, смущённо, стягиваю грязную рабочую рукавицу...  
Белов будто не заметил моего смущения, руку пожал, кивнул на мусор:  
— Как думаешь, почему люди урны переворачивают? — Не дождавшись ответа, добавил: — Ведь хорошие-то дела приятнее делать...  
Я пожал плечами.  
— Вот в чём вопрос! — подняв указательный палец, сказал Белов. Снова пожал мне руку и, деловито, пошёл в сторону реки... Без двадцати шесть утра...  
На всю жизнь мне вопрос задал.

## 1994

Была весна... Не радостная — ещё дымилась Москва, тянуло дымом войны из Приднестровья, полыхала Югославия, уже несло трупным духом с Северного Кавказа...

Я шёл по улице Кирова к Ленинградской, а навстречу мне — Белов...  
— Дима, привет! — руку протянул. И сразу спросил: — Где ты сейчас работаешь?  
Я постеснялся сказать — «сторожем» и ответил:  
— Охранником, Василий Иванович.  
— Охранником? — восторженно Белов. — А оружие у тебя есть? — глаза сузились.  
— Нет.  
— Жаль, — махнул Белов рукой. — Оно нам скоро может понадобиться...

## «Как умею...»

Переполненный автобус. Белов сам протиснулся ко мне. Подал руку. Что-то спросил...

— Плохо пишешь, Вася, — подвыпивший мужик сбоку откуда-то сказал.  
Сколько, наверное, таких вот «критиков» считало долгом своим поддеть Белова. «А просто так, чтоб не зазнавался». Лезли с дурацкими и просто ненужными разговорами, вопросами. Лезли-то, чтоб хоть так прикоснуться, стать и самим заметными хоть на мгновение, чтобы похвастать, может, потом: «Да я Васе Белову сказал...»

А он только усмехнулся тогда, в автобусе:  
— Плохо? Ну, как умею... — меня по плечу хлопнул: — Пока! — и неожиданно ловко и быстро протиснулся к выходу, в тот же момент автобус остановился, двери со скрипом раскрылись. Белов вышел. А тот «критик»... Я его уже и не разглядел потом в автобусной толкучке.

## Пожелание

Александр Цыганов спросил:  
— Вы не могли бы помочь Василию Ивановичу получить книги из типографии?

Конечно! Конечно, я могу!

И вот «Нива» Белова стоит у «окна выдачи готовой продукции» областной типографии. Получаем перехваченные жёстким синтетическим шпагатом упаковки. В них, судя по надписи на упаковке, «Рассказы о всякой живности». Подхватываем с ползущей ленты конвейера пачки и укладываем в багажник машины. Белов, Цыганов, я. Потом едем к гаражу Белова, где-то за «кликёркой». Перекладываем книги в гараж. И тут уж я, грешен, сам попросил у Василия Ивановича книжку. Он стал разрывать упаковку и об шпагат, не сильно, но порезал руку. Достал две книжки. Тут же подписал и мне, и Александру Цыганову...

Потом пешком шли в сторону дома Василия Ивановича, и он хвалился: «Я теперь каждое утро зарядку делаю! Вот такое упражнение делаю, и вот такое...» Тут же посреди тротуара и показывал, делал вращения и рывки руками. Люди оглядывались. «Хорошие упражнения?» — добивался от меня Белов (он, как мне кажется, с каким-то особым уважением относился к моим занятиям спортом и тренерской работе). «Хорошие, Василий Иванович, хорошие...»

*«Диме Ермакову, с пожеланием хорошей литературной дороги»,* — написал он в той книжке. Спасибо, Василий Иванович, за пожелание...

*Были и ещё встречи (даже однажды в квартире у Василия Ивановича побывал, бывал и в Тимонихе), были и разговоры...*

*Главное, что был он, Белов. И есть. И будет.*

## На родине Белова

### Живое слово

«На стене над моим столом фотография с картины художника Волкова: Пушкин, преодолевая боль, приподнимается на снегу и целится в международного проходимца, напавшего для маскировки русский гвардейский мундир. Настольная энциклопедия Битнера называет Дантеса не офицером, а дипломатом. Будущему владельцу роскошного замка всё равно было, кому служить: то ли Николаю I, то ли масону и предателю Франции Наполеону III.

Александр Сергеевич Пушкин умрёт, ему осталось жить очень недолго. Возок ждёт, секунденты застыли в безмолвии. Пушкин целится во врага своей Родины. Я родился через девяносто пять лет, без мала целый век минул после той петербургской зимы, — но почему я плачу? Без слёз, сжимая поределые зубы... Плачу о матери и о Пушкине».

Цитата почти случайная из очерка Василия Ивановича Белова «Душа бессмертна» (на любой странице можно раскрыть любую книгу Белова и уже не оторвёшься). Но нет, не случайная, как не случайно всё в этом мире. Как и Пушкин, Василий Белов уже навсегда в русской жизни, как и Пушкин, «отстояв назначение своё, отразил он всю душу России...», как и Пушкин, и до сего дня не даёт он спуска врагам России... И я стискивая тоже уж поределые зубы, плачу, думая о Пушкине или читая Белова, или глядя на его дом в Тимонихе... Но нет (не дождёсь!), то не слёзы слабости, то слёзы благодарной любви и светлой печали...



«Три года я с помощью моих друзей Анатолия Заболоцкого и Валерия Страхова спасал то, что осталось от нашей церкви. Однажды ранним утром, когда устанавливал самодельный дубовый крест, стоя на качающихся лесах, я взглянул окрест... То, что я увидел, никто не видел не менее ста тридцати лет. Птицы летели не вверх, а вниз. Подкова озера, окаймлённая кустами и мшистыми лывками, оказалась маленькой и какой-то по-детски беззащитной. Вода без малейшего искажения отражала голубизну бездонного неба. Всё вокруг было в солнечном золоте, в утреннем зелёном тепле, в тишине и в каком-то странном и даже счастливом спокойствии. Могилки внизу с голубыми, неверно сбитыми крестиками, обросшие тополёвой дикой молодью, занимали совсем немного места среди полей и лесов, уходящих далеко в дымчато-золотой горизонт. И они поредели, родные леса! Горизонт растворялся в сиреневой дымке, поглощённый и объятый безбрежным, бездонным небесным куполом».

Не с высоты церковного купола, но довелось и мне увидеть и блёсткую подкову озера, и заозёрную деревеньку с серебряными банями, и леса, и поля, которые, по словам Белова, пахались ежегодно, как минимум, полторы тысячи лет. В 1995-м их впервые не обработали, не распаханы они и в 2007-м...

И, заплутав в сумерках северной светлой ночи, потеряв тропу, продирался я с товарищем через те буйные, путающие ноги травы... А и хотелось пасть в те травы, на ту землю...

Пробравшись вдоль оврага, за которым густились деревья и кусты и виднелись очертания храма, мы выбрались на твёрдую дорогу... Тишина была, великая тишина над родиной Белова... И я вдруг осязаемо ощутил абсолютное счастье. Счастье то можно было даже потрогать...

Потом, уже днём, увидели вблизи церковь, восстановленную трудами Василия Ивановича и его друзей, могилки под деревьями. Тут и деревянный крест, и могильный камень с надписью: «В 37 лет она стала солдатской вдовой»... Мама Белова...

А как долго ехали мы в Тимонику. Сначала по асфальтовому шоссе, потом по бетонке, потом уж по грунтовой дороге. Поля, леса, деревни, речки... Вот откуда, из самых глубин Северной Руси, явился и сам Белов, и вывел в мир своих героев. Иван Африканович Дрынов, дедко Никита Рогов, неутомимый строитель мельницы Павел Рогов, Олёша Смолин... Всех и не перечислишь. Ведь только в «Канунах», первой части великого романа-трилогии «Час шестый», десятки героев.

Великий подвиг Белова — запечатлённые души, лица, будни и праздники русских тружеников: плотников и землепашцев, священнослужителей и учёных, солдатских вдов и ребятишек, заменивших в тяжкой мужской работе погибших на фронте отцов...

Набираю на компьютере цитаты и вижу, как густо подчёркивает машина беловские строчки зелёным и красным. Ну не помещается живое русское слово в компьютерные рамки.

Живое русское слово — родная стихия Василия Белова, и он щедро делится с читателем этим великим счастьем — говорить и мыслить на русском языке.

Горжусь, что живу в одно время и на нашей общей земле с Василием Ивановичем Беловым.

*Недавно мне вновь посчастливилось побывать на родине Василия Ивановича Белова — в деревне Тимонихе Харовского района Вологодской области...*

## Тимониха

Уже бывал я там несколько лет назад. Даже что-то писал... Как передать словами то, что почти неуловимо органами чувств — состояние души, духа... Как передать, что хотелось раствориться в этом тумане, задёгнувшем поля, дорогу и озеро от посторонних глаз...

Большой дом, жернов, вкопанный у крыльца, и низкая входная дверь, и высокая крутая лестница, ведущая в избу... Сразу за входной дверью, налево от лестницы, — вход в какое-то хозяйственное помещение, а там деревенская утварь, и на каждой вещи бумажка с надписью — «корчага», «пестерь», даже косточки-«бабки», игра в которые так ярко описана в «Канунах», сложены в чугунок и подписаны. Чтобы знали, чтобы помнили... Пусть это кажется наивным, пусть. Белов делал и делает своё великое дело. Он сохраняет Родину. Для всех нас. И хочет, чтобы мы не только по его книгам, но и воочию увидели и корчагу, и пестерь. Если мы забудем их, мы потеряем что-то очень важное, может, даже главное, без чего уже не сможем называться русскими и просто людьми. Я верю в это, этой вере научил меня Белов.

Обычная северная русская изба с хозяйкой-печкой посредине, вокруг которой и кипела жизнь. Теперь уже и здесь, как и во всей Тимонихе, как и во всех-то русских деревнях жизнь лишь временами вскидывается — то приездом самого Белова, то его сестры или племянницы с детьми, то вот таких гостей, как мы в тот день...

Всё здесь ещё живо — и как бы хотелось, чтобы не стал просто музейным экспонатом этот дом, эта деревня, в которой уже никто не зимует, да и на лето приезжают в три или четыре дома... Я бы умер, просто бы лёг и умер за то, чтобы все это жило и впредь живой, а не музейной жизнью... Друг мой попросил воды у племянницы Василия Ивановича — Екатерины и пил её, колодезную, из ковша. А потом мы (я, Ирина, Андрей) шли по затуманенной дороге мимо силуэта восстановленной силами Белова и его друзей церкви, мимо погоста, где лежат его земляки и его мать... Шли к озеру. «Что с тобой, Андрей? Что?» — спросил я (видел, что... что-то случилось с ним). «Знаешь, у меня была давняя мечта — приехать или прийти в Тимониху, подойти к калитке у этого дома и попросить воды, попить, поблагодарить и уйти. И всё». Счастливый человек! Но и я счастлив — я читаю Белова, я видел его и даже не раз говорил с Василием Ивановичем, я иду по дороге, по которой ходил сам Белов и его друзья — Яшин, Шукшин, Передреев... «Тихая моя родина» — вслед за Беловым и Рубцовым шепчу я...

И мы уедем из Тимонихи в город, как ушёл когда-то подростком сам Белов, как ушли из своих деревень миллионы русских крестьян. И, как и они, я буду носить свою родину, свою Тимониху в сердце...

*К 80-летию со дня рождения  
поэта Ростислава Филиппова*

ТАТЬЯНА САЗОНОВА

«На кого мне тебя оставлять?»



Ростислав Филиппов

В день памяти Ростислава Филиппова, 15 июня, приехали с журналистом Костей Житовым на Покровское кладбище. Положили цветы на могилу, помолились за упокой души в часовенке во имя Покрова Пресвятой Богородицы и, перейдя дорогу, на лежащем стволе сосны присели помянуть с блинчиками. И, конечно, стали вспоминать о Ростиславе Владимировиче, да так живо воскресал он в нашей памяти, что нам начало казаться, будто он с нами, в рощице при дороге, посмеивается над былыми историями своей жизни и с неповторимыми филипповскими интонациями вставляет реплики. И нам уютнее стало от

этого его невидимого присутствия, а ещё и трапеза на троих — оно как-то привычнее. А тут, чтобы мы совсем уж не сомневались, что поэт в этот поминальный час с нами, выскакивает из редкого лесочка белка, крупная, доверчивая, усаживается на тропинке и долго, без страха, смотрит в нашу сторону, потом ныряет в траву, и мы её уже не видим. Но надо же — лесной зверёк просто «процитировал» молодые филипповские строки: *«Вдруг когда-нибудь про меня да вам/ Белка выкричит, сойка высвистит»*. Да... что ни говори, а настоящая поэзия творится свыше, а если говорить филипповским словом — «вершится»...

Ростислав Филиппов пришёл в этот мир в своё время. Слышал ли от него самого кто-то это признание — не скажу, не знаю, но об этом говорят его стихи. Это была эпоха особой, советской общинности, когда всем хватало работы, а поэты необходимы были народу как хлеб насущный. В ту пору поэт знал, что выйдет в большой зал, переполненный молодым и не молодым людом, и сотни глаз будут смотреть на него с любовью и ожиданием. Поэт не мог оставить в стихе какую-то проходную строчку, провисшую, необязательную, читал на публике стихи лучшие, испытанные временем. И Филиппов тоже читал со сцены лучшие свои стихи, написанные на вдохновении и домовито подкованные: «А пели мы светло и длинно...», «По узбекскому небу ярко солнце бежит», «Утка металась в распадке», «Я живу ожиданьем большого кочевья» («Печенег»), «В музеи прихожу утрами», «Я люблю вас, я люблю вас, Вера!», «Вы, конечно, сразу угадали», «Открывается Байкал», «По бокам — два тёплых берега...», «И снова май!»... Эти стихи он бу-

дет переносить из сборника в сборник с верой, что они могут быть услышаны в любую эпоху и в любом возрасте.

На подходе к своему тридцатилетию Ростислав Филиппов щедро живописал в стихах, испытывал удовольствие от этого живописания, и, может быть, переживал даже уединённое и удивлённое любование какой-то строкой, рифмой: откуда она пришла? По крайней мере, испытываешь это удовольствие и любование, когда читаешь молодые филипповские строки:

<i>Ружьё оставляю, выброшу патроны.</i>	<i>по облакам пройду я и по тучам,</i>
<i>Войду неслышно в белую тайгу.</i>	<i>которые весною воспарят...</i>
<i>Там притаились молнии и громы</i>	<i>Так будет тихо, что душа взмётнется,</i>
<i>в литых ручьях, в растрёпанном снегу.</i>	<i>приветствуя земную тишину.</i>
<i>Раздвину ветки, уколюсь о сучья.</i>	<i>И радуга на сопки обопрётся.</i>
<i>Как бог, верша таинственный обряд,</i>	<i>И я тайком к ней руки протяну.</i>

Рифма выбивается легко, кажется, из самой почвы, как в скачке на молодом, здоровом, наезженном коне, с радостью, без натуги. Так видится мне, читателю. Но как она рождается на самом деле — известно лишь самому поэту. И здесь хочу сделать небольшое отступление от филипповских стихотворений. Ростислав Филиппов всегда был жадным до познаний в самых разных областях жизни, а в искусстве, литературе, разумеется, особенно. И вот в зрелые годы он берется перечитывать Пушкина. Начинает с Пушкина четырнадцатилетнего. Уйдя с головой в это чтение, энергично черкает что-то простым карандашом прямо в книге. Смотрю теперь внимательно, что же Филиппов помечал в трёхтомнике русского гения? В 1813 году четырнадцатилетний Пушкин пишет стихотворение «К Наталье». Вот первый пушкинский столбец:

<i>Так и мне узнать случилось,</i>	<i>Я живал да попевал,</i>
<i>Что за птица Купидон;</i>	<i>Как в театре и на балах,</i>
<i>Сердце страстное пленилось;</i>	<i>На гуляньях иль в воксалах</i>
<i>Признаюсь —</i>	<i>Легким зефиром летал;</i>
<i>и я влюблен!</i>	<i>Как смеясь во зло Амуру,</i>
<i>Пролетело счастья время,</i>	<i>Я писал карикатуру</i>
<i>Как любви не зная бремя,</i>	<i>На любезный женский пол...</i>

Все три пушкинские «как» Ростислав обводит карандашными дугами и определяет словом «галлицизм». В следующем стихотворении «Монах» пушкинская строка «Как он втолкнул монаха грешных в стадо» не без основания «цепляет» Филиппова смелой инверсией. Слово это он и пишет карандашом против строки.

Одна неразлучная парочка слов, которая многожды будет «выручать» Александра Сергеевича, как и других поэтов, отмечается Ростиславом в стихотворении «Эвлега»:

*...Ответствуй мне, о сын угрюмой ночи!»*  
*«Бессильный враг! Осгара убегай!*  
*В пустынной тьме что ищут робки очи?..*

Пресловутая рифма «ночи-очи» подчёркнута и подписано: «Первый раз». Правда, в этом же стихотворении рифма «очи-ночи» уже снова пригодится Пушкину.

А вот ещё одна реплика в сторону рифмования.

*И прелестей единственный покров*  
*О юбка! Речь к тебе я обращаю,*  
*Строки сии тебе я посвящаю,*  
*Одушеви перо мое, любовь!*

Рифму «покров-любовь» Ростислав карандашом обозначит «родная». Ну, «кровь-любовь» как же не родная! Конечно, родная. До сих пор. В трёхтомнике Пушкина ещё много филипповских эмоциональных черканий. Любопытно перечитать А.С. Пушкина с его пометками. А страсть зрелого поэта к ученичеству, поэта, который чуть не всю свою жизнь правил и давал оценку чужим стихам, просто покоряет. Все, наверное, помнят, филипповскую, часто повторяемую и необходимую при такой должности, как редактор, фразу для «стихоплётов»: «Я такие стихи километрами могу писать». Строку Маяковского «Кто стихи из лейки льет», конечно, не превзошёл, но требование к поэзии классическое...

Вернусь к поэзии Филиппова. Во многих молодых его стихах людно, артельно. «И хожу с артелью по Руси великой», — напишет он. Сам поэт здесь азартен, неспокоен, лёгок на подъём, готов услужить работникам артели. Один из сборников назовёт «Я к вам с друзьями». И это по-филипповски. Но вот что характерно, с первых же поэтических сборников, сборников 60-х, зазвучал в его строках голос поэта-державника, тут он шёл вослед за Александром Твардовским и Ярославом Смеляковым. Такая великая страна, огромные просторы должны крепко чем-то держаться — работой, идеей, и «не вовсе глупыми вождями». Будучи человеком широко образованным, проницательным, с сильным умом, он никогда не держал либеральную дулю в кармане против власти. Не любил «покусывать». Знал, что такие огромные просторы, как у Советского Союза, надо «держат», ведь вырос в семье военного. Отец — полковник, строитель мостов. Не случайно и строки родятся: *«Офицерские жены!/Я за вас буду крепко стоять и упрямо,/потому что женой офицера/была моя мама...»*

Жизнь порой могла напоминать «цирк», и он напишет шуточную, живую, обаятельную картинку похода в цирк. Кстати, есть забавный фотоснимок Валерия Орсоева, где двухметровый Ростислав Филиппов обнимает за плечи, как малых детей, двух артистов Цирка лилипутов, крошечных мужчин зрелого возраста. Все, особенно лилипуты, от души хохочут над превратностями природы. Ростислав посмеяться любил и умел. В том числе и в стихах. Стоит вспомнить хотя бы стихи про «огородный Интернационал»: *«Проявлю сноровку,/ и не будет пусто./Посажу Морковку./ Посажу Капусту!»*... Но то раннее стихотворение о другом «цирке». И в это «цирковое представление» Филиппов честно вписывает себя:

*Но тут уже на арену  
выходит в узких штанах  
еще совсем молодая,  
но грамотная собака.*

*Ходит на задних лапах  
она не хуже, чем я,  
что дважды два — четыре,  
а две четвёрки — восемь,  
весело, не задумываясь,  
выгавкивает без вранья,  
за что ей дают кормёжку,  
даже если не просит.*

.....  
*Закончилось представление.  
Поскольку домой, на Каштак,  
с бурятom нам по дороге,*

*мы в магазин забежали,  
ну, сбросились там, конечно,  
и, выпив, решили так:  
цирка такого в городе  
мы еще не видали!*

«Цирковых номеров» в нашей жизни той поры было предостаточно, впрочем, как и во все времена. И всё-таки держава жила и работала.

Ростислав Филиппов много стихотворений посвятил работе. Тут не обошлось без влияния, конечно же, профессии журналиста. Командировки на заводы, в колхозы... Но в стихах вдохновение и искренность. Большой любитель и ценитель музыки, он не однажды музыкальную тему вписывает в стихи. Вот и трудовая страна для него как единый оркестр: *«И в мощный оркестр небосвода,/звучащий почти с облаков,/врывается тема завода,/ведущая тема станков»*. И как больно, криком в те молодые годы написаны Филипповым строки о таёжных пожарах. Зыбучий ритм стиха звучит, словно плач навзрыд, а сохатые в филипповских строках идут в огонь, будто стойкие староверы:

*Доброте моей, что утице,  
прятаться немило:  
со гнезда порхнула тихого,  
горько плакала навзрыд,  
по хребтам да по увалам  
весть недобрую носила —  
ой, тайга горит,  
тайга горит  
тайга горит...*

.....  
*А в дыму ревели козы,  
белки горько верещали,  
и, туманясь, шли сохатые,  
в ерниковые костры.*

.....  
*И кипели реки-реченьки,  
и стонали в реках рыбы,  
на коре горячих кедров  
больно плавилась смола.*

Державно прозвучат и строки о Ярославне в стихотворении «Печенеги»: *«Если ж в плен заберут,/ соблазнят меня грошами,/ И разучат любви, уведя в своё прошлое, /И заставят богов своих песнями славить / исправно, — /Ты меня прокляни! Ты не плачь обо мне, / Ярославна!»*

В любовной лирике Ростислав Филиппов иной — здесь поэт нежен и беззащитен, он весь во власти чувства сердечного, а с сердцем сладить невозможно. О похождениях — да, с юмором, а о любви... Перед чувством любви он не властен, как не властен и перед столь же таинственной и мучительной жизнью сердца, когда любовь остывает. Это всё «таинственно вершится»:

<i>Не один на свете мается</i>	<i>Даже та трава примятая,</i>
<i>от того, что без следа</i>	<i>тот забавный муравей.</i>
<i>все на свете забывается...</i>	<i>Даже та былинка мятная</i>
<i>Неужели навсегда?</i>	<i>над ресницею твоей...</i>



Потом, через годы, вновь будет «вершиться» то же таинство любви, а поэт сердцу своему так и не научился приказывать, наоборот, оно, сердце, становится ещё незащищенное: *«Мне бы только подойти, коснуться / Медленной рукой твоих волос. / Только бы с тобой не разминуться — / С полными глазами снов и слёз»*.

От сборника к сборнику «многолюдность» филипповского стиха станет убывать. А в одной из последних книжиц, куда перейдут давние «Вот мои шестнадцать строк», где молодцеватым хореем заявлено: *«Если в рай не попаду, / и в аду не пропаду»*, появится стихотворение другой, покаянной интонации:

<i>Вот я, Господи! Прости меня, я грешен, Потому что был с любимой нежен, Но оставил где-то на пути Одинокой... Господи, прости!</i>	<i>На своём оставшемся пути. Был утешен... Господи, прости!</i>
<i>Вот я, Господи! Прости меня, я грешен, Что вином был зеленым утешен</i>	<i>Вот я, Господи! Прости меня, я грешен, На слезах отчаянья замешен Трудный хлеб мой при конце пути. Трудный хлеб мой... Господи, прости!</i>

«А трудный хлеб» «при конце пути» — снова, как в молодые годы, работа в газете, но перед глазами в эту пору разрушение страны. Перестройка. «Советская артель», дружная, трудовая, надёжная — рассыпалась. Стихи сторонятся живописания, становятся подобранными, жилистыми — и разлита по строкам тоска, тоскливое одиночество:

<i>Так в душе неуютно и розно. Веры нет ни властям, ни вестям. Словно ночью глубокой морозной Одинокое бредёшь по путям.</i>	<i>Мы когда-то и были, и жили, А теперь хоть кричи, хоть свисти. Лишь блестят ни свои, ни чужие, Но железные эти пути.</i>
--	--

Хаос в стране раскрыл карты для успешных торговцев, торопливо взявших-ся ограждать жизнь свою долларовым частоколом и самонадеянно называющих честного от природы человека неудачником. Дух торгашества отвратителен для Ростислава Филиппова. Вот и рождается «Въезд Господень в Иерусалим»: *«Господи! Я знаю край такой, / Где, устав от разных революций, / Все хотят спастись, и за Тобой / Все охотно шествовать клянутся. / И, Тебя увидев наяву, / Всенародно, самой малой кровью, / Предадут. Потом распнут. С любовью! / Господи, войдёшь ли во Москву?»*

В эту пору человек становится своей стране не нужен. Тема труда уходит из филипповских стихов. «Печенеги» из 60-х вновь ворвались в русскую жизнь, но ещё более разрушительно, лукаво, так что пришлось время спрятать свою душу от этого разрушения и взмолиться: «Господи, взгляда с меня не своди». В это же время появляются прекрасные стихи «Утка металась в распадке».

Когда-то после поездки в Константиново, на родину Есенина, Филиппов написал: *«...Твои, Россия, малые поэты/большой судьбою просим наградить»*. Теперь поэт просит Небеса: *«Господи, дай испытанье, /в суетных наших делах /помнить про это летанье /на неподъёмных крылах»*.

Известно, кровью сердца написанное сбывается. Небеса послали и то, и другое: пережил революцию 90-х, а в последние годы жизни узнал напроороченное «летанье на неподъёмных крылах»? И к слову, поэзия дело исповедальное, но в жизни Ростислав (друзья, думаю, подтвердят) не любил исповедальности, а уж плакаться о себе, о чём-то своём, больном — никогда.

В те же перестроечные времена напишется Филипповым ещё одно стихотворение — «По бокам два тёплых берега». Многие из русских поэтов «проходи-

лись» по «датчанам и разным прочим шведам». Филиппов о чужих странах знал не только по книгам и понаслышке — поездил по миру предостаточно. И вот «занятный» (слово из филипповского лексикона) рассказ, сгодившийся бы для тёплой дружеской компании: *«По бокам — два тёплых берега./И два века — тишины./Хороша страна Америка/ Остальные — не нужны./ Нет, ещё нужна Германия, /Пиво там — сплошной восторг. /Несмотря на то, что мания/ на прогулки. На Восток»...* Не без юмора, по рангу, портретно узнаваемо, пройдёт по культовым странам мира. Но вся эта ерническая прогулка затеяна, кажется, ради двух последних грустных-прегрустных строк о любви, о щемящей любви к родине: *«В эти страны иностранные/ мы желаем уезжать. /А Россия — бесталанная. /Даже нечего сказать».* Ни американской самовлюблённости, тупой веры в непререкаемости своих истин, ни германской мании завоевательных «прогулок», ни мармеладной сладости французской жизни, ни английской «дебелости», ни израильского кредо — жить здесь и сейчас, ничего этого в России нет, потому что здесь всё-всё, всё, что должно пройти русскому человеку по пути земному, предназначенному Богом. Ростислав Филиппов прошёл этот путь. Неспроста слышится в стихотворении непрописанный вопрос, мучительный для каждого русского поколения: что там впереди с Россией? Этот вопрос поэт уже не сможет удержать в душе, когда напишет о маленькой своей дочке:

*Спи, малыш. Я плачу от бессилья.  
Ты во сне не вздрагивай. Хотя  
снова будет тёмная Россия  
за окном пугать моё дитя.  
Наглая, торгашная, блатная.  
Жадная до денег и питья.  
О другой России — мало знаю.  
Вижу только — это вот моя.  
И молчу я. И мечтать не смею,  
что иное время настанет.  
Что с румяной девочкой моею  
новая Россия подрастёт.  
Ночь пройдёт. И утро нас разбудит.  
И попросит дочка погулять.  
Девочка, ну что с тобою будет?  
На кого тебя мне оставлять?*

На кого остаётся Россия — этот вопрос мучил надорванное болезнью сердце поэта до конца дней его...

## Ростислав Филиппов и Грэм Грин: встреча в Иркутске

*Любимый русский писатель Грэма Грина — Антон Чехов, а нашего Александра Вампилова на Западе величают «сибирским Чеховым». А любимым западным писателем у Вампилова был Грэм Грин. Виток сомкнулся, символическая встреча всех трёх писателей в Иркутске состоялась...*

*Ростислав Филиппов не раз по случаю признавался мне, что в его жизни было два потрясающих события: посещение рок-оперы Лл. Веббера «Jesus Christ Superstar» в Лондоне и встреча с Грэмом Грином в Иркутске.*

На дворе стоял 1987 год, конец августа, канун бабьего лета. В Иркутск прибыл английский писатель Грэм Грин, автор всемирно известных романов «Комедианты», «Наш человек в Гаване», «Почетный консул», «Власть и слава», «Человеческий фактор» и многих прочих. Последний, быть может, могикинин литературы двадцатого века, сумевший утвердить в своём творчестве непреложные духовные и нравственные ценности на фоне прошлого разбойного столетия. Приехал он в сопровождении своего секретаря Ивонны и известной переводчицы его романов Татьяны Кудрявцевой.

Высокий гость посетил Советский Союз по приглашению всесильного тогда Е. Лигачёва, предложившего его вниманию любой регион СССР, включая теплолюбивые регионы Кавказа и Средней Азии, но писатель, объездивший весь мир, судя по географии его произведений, выбрал неведомую ему холодную Сибирь, по которой некогда проехался весьма уважаемый им Антон Чехов. В Томске, тогда ещё закрытому для иностранцев городе, мэтра с опаской свозили самолётом на север области и показали издали обширные нефтеносные поля и владения. В Новосибирске писатель ещё более заскучал от обилия пиететических речей от лица учёной братии и благодарных читателей. Созревшую ситуацию в целом можно было выразить знаменитым изречением поэта Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года: «Вода! Я пил её однажды. Увы, она не утоляет жажды!»

В Иркутске классика мировой литературы принимало местное отделение Союза писателей в лице Ростислава Филиппова, человека хлебосольного и радушно-го. Г. Грин по окончании приветственных церемоний осведомился у Ростислава, имеется ли возможность купить где-либо какой-нибудь существенный напиток. Р. Филиппов сказал: «Oh, yes!!», что по-русски означает «А как же!!», и радостно повёл его в «Берёзку». (Иркутск всё-таки город международный. В Томске, видимо, «Берёзок» отродясь не водилось, в Новосибирске же никому в голову не пришло полюбопытствовать о вкусовых пристрастиях великого писателя.) Человеческий и творческий контакт между обоими собратями по перу был установлен сразу. Грэм тотчас же закупил крепкий по тем временам деликатес — две «белых лошадки» шотландской породы — и в рассуждении предстоящего отдыха с удовольствием отбыл в гостиницу.

В тот год Ростислав Филиппов был в преддверии очередного юбилея — 50 лет! Он был молод, деятелен, охоч до творческих идей и затей. Будучи человеком законопослушным и идеологически понятливым, он отчётливо сознавал важность и

ответственность предстоящего визита всемирного классика, согласовал все пункты программы пребывания уважаемого гостя в Иркутске с ответственными органами, включая окончательный выбор переводчика.

Учитывая почтенный возраст писателя (ему было уже 82!), Р. Филиппов предложил Г. Грину щадящий режим посещений, поездок и встреч, ограничив ближайший круг излишнего общения. Так что программа пребывания живого классика в Иркутске была несуетной: обязательное посещение высокого начальства, музеи и достопримечательности города, поездка на Байкал. Лишь только раз Грэм Грин вышел на широкую аудиторию: он, конечно же, не мог отказать искренней и настойчивой просьбе студентов и преподавателей ИНЯЗа о встрече с ним, по романам которого они изучали английский язык (я и сам помню, с какой тщательностью штудировал страницы «Тихого американца», готовясь к занятиям по «аналитическому чтению»). Но мне показалось, что и это мероприятие утомило нашего гостя: подобных встреч с почитателями его творчества у него, конечно, было в жизни предостаточно.

Так получилось, что честь и радость общения с мэтром выпала на долю нашего маленького дружеского круга, за традиционным у нас гранёным «бокалом чая». Последующие три дня и три вечера навсегда отложились в душе и памяти как истинный подарок судьбы, в особенности, вечерние часы уединения впятером в гостиничном номере писателя — Г. Грин, Ивонна, Т. Кудрявцева, Р. Филиппов и я. Темы наших застольных бесед большей частью были обстоятельны и разнообразны: становление личности, философия, история, религия, политика, моральные ценности, литература...

Надо признаться, с именитым гостем и его свитой у нас сразу как-то сложились дружеские доверительные отношения. Ростислав Филиппов, с его классическим филологическим образованием и обширными знаниями (МГУ, журфак), с его умом, уникальной природной даровитостью, чутьём на таланты и неординарность личностей, душевным обаянием и естественной простотой общения, был совершенно покорён своим визави и не скрывал этого. Г. Грин, должно сказать, также являл собой уникальное сочетание личностных достоинств, вызывающих немедленный интерес и уважение к себе. *Soul meets soul*, душа встречается с душой, и, слава Богу, не только на небесах. Припоминается забавный эпизод, когда оба литературные коллеги, Филиппов и Грин, спускаясь вниз по парадной лестнице Дома писателей, машинально пригнули свои головы под притолокой над десятой ступенькой. Оба были высоченны, примерно под два метра ростом. Мне стало занятно, я попросил обоих задержаться на месте, стать друг к другу спиной и выпрямиться (оба по давней привычке сутулили). Они покорно стали, как было приказано, я провёл рукой по обеим макушкам и торжественно заявил, что рост у них одинаков. Ростислав тут же заметил, что рост, возможно, совпадает, но размах их талантов всё же разнится. Филиппов сказал это быстро и искренне; Грин лишь мягко улыбнулся, оценив *impromptu* хозяина Дома.

Г. Грин оказался прекрасным собеседником. Возможно, сказалось присутствие двух дам, одна из которых знала о нём почти всё, другая же ровным счётом ничего, кроме содержания его романов. Помимо прочего, рядом находились два явно заинтересованных беседой представителя сибирской интеллигенции. Все уютно расположились за столом вокруг «белой лошади»; атмосфера была благодушной и располагающей к доверительной беседе, как у диккенсовского камина в

рождественский вечер, когда собравшиеся гости, попивая тёплый пунш, внимали историям умелого повествователя.

«Студентом Оксфордского университета, — начал Грэм, — я стал где-то в начале 20-х годов. Обычная студенческая жизнь: учёба, лекции, библиотечные сидения, прогулы, вечеринки с прелестницами, крикет, обязательные состязания по гребле и прочее. И тут явилась она! Восторг, цветы, умиление, ухаживания, мольбы — всё было напрасно, я был отвергнут, раз и навсегда! Жизнь сломалась и померкла, и я запил, основательно и надолго, как полагается человеку благородных кровей. Шла неделя, другая, месяц, я не выходил из своей затворной комнаты, друзья приносили еду и «снаряды». Сначала им было любопытно, потом интересно, затем тревожно. Но я старательно и мстительно пил, меняя «лошадок» на переправе моей несбывшейся жизни, приглядывая в уме тихий уголок в глубине сельского погоста. Но тут прошёл слух, что декан моего факультета хотел бы увидеть воочию студента Грэма Грина. Декан же, — продолжал мэтр, — являл собой легендарную личность, как правило, крупного учёного или общественного деятеля, который встречался с живым студентом либо на посвящении во студенты, либо при вручении диплома по окончании колледжа, либо, а это был, возможно, мой случай, по случаю преждевременной кончины одного. Так или иначе, друзья мои взволновались. Сам декан!! Через две недели! Сначала они известили меня об этом, но, пребывая в такой прострации, я им не внял. Декан или не декан, какая разница? Жизнь ведь уже кончается, а, может быть, уже закончилась. Друзья оказались хитрее: они, рассчитав мои потребности и возможности, резко уменьшили количество доставляемого спиртного, обновили мой безразличный гардероб, пригласили парикмахера и в назначенный день привели меня в деканат. Декан вошёл, осведомился, являюсь ли я Грэмом Грином. Получив утвердительный ответ, он одобрительно кивнул головой и вышел. Мне стало досадно, а потом стыдно. И я бросил пить. Хотя свою конюшню, — тут Грэм бросил взгляд на «белую лошадку», — я держу в чистоте».

Знаменитый писатель оказался не просто превосходным рассказчиком, но и тонким актёром. Говорил он ровно, с расстановкой, внешне беспристрастно, умело держал паузу, заостряя момент или позволяя нам отсмеяться, тонко поджимал губы или грозно сводил белесые брови, передавая страдания убитого горем «молодого Вертера»; драма стремительно переходила в комедию, что выдавали смеющиеся глаза рассказчика, но и он порой не мог не рассмеяться, невольно поддавшись напору нашего смеха; тогда Грэм вынимал платочек, вытирал глаза, надевал маску стороннего повествователя и продолжал. Мне кажется, мэтру самому нравился этот анекдот из его собственной жизни, и он с удовольствием вспоминал самого себя и шекспировские страсти своей юности...

На Филиппова было боязно смотреть. Он так хохотал, что чуть не порушил шаткое кресло под собой, что встревожило даже Ивонну, которая подумала, не стало ли с ним плохо. Только мудрый Грэм Грин воспринимал всё как должное. С первых минут знакомства с Ростиславом Филипповым он сразу понял, с кем имеет дело, оценил его статью и ум, чувство юмора, умение слушать и слышать, мгновенно проникать в суть слова или ситуации, адекватно реагировать и откровенно радоваться, если было чему. «*Birds of feather flock together*» — гласит английская пословица. Хотя в ней упоминаются птички одной масти, сбившиеся в стаю, перевести её можно иначе — «*Рыбак рыбака видит издалека*».

Спутница Г. Грина сразу же показалась мне достойной подругой классика мировой литературы. Стремительная, лёгкая, с точёной фигуркой в свои шестьдесят



лет, с живым умом и природным шармом, она являла собой яркий тип француженки до кончика ногтей, изящно и непринуждённо, при этом сочетая многочисленные обязанности при своём великом друге: секретарь и ангел-хранитель, гражданская жена и домохозяйка, лекарь-пекарь и звонарь, охранница и главный советник... В наши разговоры она не вмешивалась, как, впрочем, и Т. Кудрявцева, но могла вставить меткое замечание или разразиться очень краткой тирадой. Помнится, мы с Филипповым азартно рассказывали нашим гостям о злоключениях ссыльных декабристов в ставшей для них родной Сибири, о жёнах и обозах с провиантом, мебелью и курительными трубками, шедших в далёкое Забайкалье, о тяжёлых уроках в забоях серебряных шахт (три пуда руды в день для каждого декабриста-каторжанина в отличие от мужиков-забойщиков, чья норма выработки была раз в двадцать выше, но которые с удовольствием и играючи вырубали каждому высокоблагородию эту норму за полчаса, честно заработав долгожданный пятак. Декабристов в забоях любили...). Конечно, досадным неудобством для них была необходимость вставать рано, обречься в тюремную робу, добираться до лавы и долго ждать при свете вонючих жирников долгожданного била на обед. Зато, сменив одежду и отобедав, они могли спокойно раскинуть пульку, почитать или навестить своих жёнушек. Грэм слушал внимательно, покачивал головой, сопереживая борцам за *Liberte, Equalite et Fraternite*. Ивонна же, по окончании рассказа, сказала как выстрелила: «*L'exile d'ore*», т. е. «Золотая ссылка». Эта фраза сразила нас с Филипповым наповал и, по-видимому, мэтра тоже. И в этой фразе вся Ивонна...

Застольные вопросы адресовались, в основном, Г. Грину, он отвечал, кто-то дополнял или возражал, завязывалась маленькая дискуссия, т. е. всё как в нормальной русской беседе. Начав, к примеру, с «человеческого фактора», мы могли перейти к понятию свободы личности вообще. О соотношении, скажем, внешней «демократической» свободы и внутренней жесточайшей несвободы человека на Западе, И, напротив, к тезису о том, что заряд и потребность внутренней свободы у русского человека потенциально сильнее внешней: первая урезонивается совестью, религиозно-нравственными понятиями, духом общности; внешняя же несвобода всегда и необходимо укрепляется институтом власти, царём, помещиком, хозяином, начальником, женой и пр.; если внешняя острегательная стена слабеет или обрушивается, вот тогда-то русский человек и вырывается «на оперативный простор»: становится разбойником, анархистом, социалистом, революционером, пьяницей и т. п. Сами же протестанты, т. е. европейцы-некатолики, живут по законам, по выработанным ими правилам игры, а русские — по совести, так как примат духовного самоокружения для них важнее, чем первенство благосостояния личного. Писатель против тезиса не возражал, уточнив, что сам он, пожалуй, тоже не приемлет напористого протестантского духа, особенно в американском исполнении, а потому ещё с молодости обратил свой взор на католицизм с заложенными в нём морально-нравственными устоями. (В скобках замечу, что Г. Грин, англичанин и протестант по воспитанию и образованию, аристократ по происхождению, не случайно стал католиком по внутреннему нравственно-философскому выбору; его слова о том, что он «плохой католик», скорее подразумевали некоторое, возможно, пренебрежение им ритуально-обрядовой стороной данной конфессии, нежели неследование принципам и ценностям, в ней заложенным. Подтверждением этому служит его литературно-миссионерская деятельность в странах Южной и Латинской Америк, сами персонажи его романов, место их действия, коллизии и



размышления. Крупному, тем более великому писателю невозможно состояться и быть понятым в любой стране и на любом языке, если он не найдёт точку опоры в рамках любого религиозно-этического мировоззрения и не укрепит на малодоступной высоте общечеловеческого. (Такую опору надо обрести или с нею в душе родиться. Г. Грину, как художнику и мыслителю, обрести её удалось.)

Грэм Грин повертел стаканчик в руке и начал новый рассказ. (Кстати, знаменитое виски «White Horse» мы пили крошечными глотками, как некий виртуальный напиток, для поддержания настроения и разговора; стол также не отличался разнообразием: на нём ничего не было, кроме «лошадки», трёх стаканчиков и двух бокалов с лимонадом для дам. Типичное английское суаре, так сказать.)

«Что греха таить, — сказал мэтр, — я тоже приторговывал своими литературными талантами при офисе, где выращивают Джеймсов Бондов, в Intelligence Service. (Надо заметить, что название этой солидной организации неразумно переводить как «Интеллигентная служба». Если учесть, что слово «*intelligence*» означает многое, включая «ум, интеллект» или же «известия, сведения», то это сочетание слов можно перевести как «Мозговой трест» или «Агентство сведений» или же «Служба сбора информации умными людьми». Ясно одно, что дураков в эту контору, которая столь хитро себя закодировала, не берут. Так что наш гость вполне отвечал всем требуемым критериям. — *Прим. автора.*) В начале Второй мировой войны, — пояснил классик, — когда спрос на шпионов резко возрос, меня пригласили в соответствующий отдел, пояснили, что в этот критический для истории час каждый истинный патриот Британии должен внести свой решительный вклад в борьбу с врагом, и воевать мне надлежит на невидимом фронте в качестве шпиона-резидента в одной из западноафриканских стран. Приказ подписан, пакет с инструкциями и проездными будет вручён через два дня, которые даются на сборы.

Спустя должное время я уже осваивал тенистую веранду уютного номера небольшого отеля в центре столицы страны пребывания. Обязанности мои были важными и ответственными: исчерпывающий сбор информации касательно умонастроений в народе и среди местной интеллигенции, политических событий и тенденций, передвижений военной техники, если таковая имеется, вербовка полезных агентов, и прочая и прочая. Всю собранную информации надлежало еженедельно передавать в Центр в зашифрованном виде. (Тут мэтр не сдержался, улыбнулся, отхлебнул капельку виски и продолжил рассказ. Филиппов давился смехом. — *Авт.*) Языков местных я не знал и, оказавшись в информационном вакууме, срочно запросил Центр о немедленной подписке на ведущие британские, французские и некоторые франкоязычные газеты близлежащих африканских стран с безотложной доставкой прямо в номер или на почту. Уроки французского в школе и в колледже, — заметил при этом Грэм, — мне весьмагодились в работе и по жизни. (Ивонна подтвердила этот непреложный факт быстрым кивком головы. — *Авт.*) Почта приходила регулярно, я отправил в Центр пару шифрограмм с описанием местной природы и климата; эту информацию я нашёл в старинной энциклопедии местного музея, литературно её обработал и отослал. Не помню, какой страны мне попало описание, но мне понравились слова «*hippopotamus*» (греч.) и «*behemoth*» (др. евр.); животное-то, как оказалось, одно и то же, но как красиво оно звучит на разных языках! И я это не менее красиво обыграл в своем донесении. (На этом месте мэтр откровенно расхохотался и полез за платком. — *Авт.*) У меня, — продолжал, отдышавшись, мэтр, — уже сложился рутинный маршрут

передвижений по городу: местный магазинчик, бар, ресторан, почта и небольшой парк поблизости, где я любил гулять с томиком любимого мною Дж. Конрада, занимаясь либо чтением, либо обдумыванием складывающейся ситуации.

А ситуация начала сгущаться. Во-первых, никто не торопился меня завербовать, хотя, согласно инструкции, время для этого уже подоспело; во-вторых, у меня кончались деньги, выделенные Центром на проживание и вербовку; в-третьих, что было самым страшным, у меня заканчивался стратегический запас самого надежного лекарства против любой африканской эпидемии или даже пандемии. (Тут Грэм нежно погладил крепкий круп «белой лошадки». — *Авт.*) Я срочно послал в Центр запрос относительно денежного перевода и приложил к нему, как намёк на увеличение моего жалкого довольствия, красочное описание моровой язвы, охватившей несколько районов страны моего пребывания; правда, как говорилось в той же энциклопедии, это произошло в прошлом веке то ли в Конго, то ли в Кении. Но Центр молчал. Видимо, события в Европе принимали серьёзный оборот, и я начал потихоньку паниковать.

Но тут произошло чудо. В дверь номера позвонили, вошёл приятный молодой человек моих лет с неплохим знанием английского языка, представился шефом местной контрразведки, пояснил, что уже больше месяца ведёт за мной наблюдение согласно наводке своего приятеля из Туниса, тоже контрразведчика, но с хорошими связями в Лондоне. А коль скоро я являюсь единственным англичанином во всей округе, то он, стало быть, не ошибся. И предложил сотрудничать. Выбора у меня, как у разоблачённого агента, собственно говоря, не было. Я согласился. Тут же на веранде, под приглушённый звон бокалов, мы заключили полюбовный договор об обмене информацией. Я обязался, используя доступные мне источники информации из европейских газет, составлять для него краткие рефераты о важнейших событиях в Великобритании и в Европе; он обещал мне делать подобный же обзор событий в стране и сопредельных государств с учётом местной специфики и африканского колорита. Я попросил у него денег взаймы. (Ситуация, прямо-таки, а ля Хлестаков, что, видимо, понял и Р. Филиппов. — *Авт.*) Мой новый друг с охотой мне их одолжил, пояснив при этом, что на этот счёт у них предусмотрена довольно большая статья расходов на вербовку и премиальные, и иногда у них складывается проблема недоиспользования этих средств, так что, в принципе, я мог бы пользоваться неограниченным кредитом (слово «*credit*» по-латински означает «*доверие*») их организации, тем более что это непосредственно сказывается на сумме получаемых им бонусах. «Шпионят многие, но хороших шпионов мало», успел напоследок пробормотать мой новый друг, проваливаясь в темноту африканской ночи. Чёрт возьми, подумал я, в этой стране шпионов готовы взять на гособеспечение, заботиться и оберегать их! (В этом месте Грэм взял паузу, на секунду задумался, стряхнул досадную мысль и продолжал. Ростислав, обессилив от смеха, грузно возвышался над столом. — *Авт.*)

Словом, мы успешно завербовали друг друга, и наше сотрудничество пошло на лад. Я регулярно посылал в Центр свои шифровки, литературно обрабатывая рефераты моего нового друга с добавлением любопытнейших фактов из той же энциклопедии. Коллегу повысили в звании за умелое и оперативное освещение драматических событий на европейских фронтах и в тылах. Я перестал переживать по поводу нерегулярности поступаемых с родины денежных переводов. Мой друг категорически отказывался от возвращения мною взятых в долг денег, честно объясняя мне прямую зависимость его бонусов от объёма вручаемых мне сумм;

«белые лошадки» чередой сменяли друг друга на столе моей веранды, когда по вечерам мы внимали переходу африканского дня в африканскую ночь...

Эта идиллия продолжалась больше года, пока моё начальство не сообразило, что мои послания, помимо литературных достоинств, не содержали никакой конкретки, и что секретного агента надо менять. Я получил отзыв на родину, попрощался с опечалившимся другом и отбыл восвояси. Резидент из меня не получился, а шпионить я так и не научился», — заключил классик.

Дамы вежливо молчали, у Ростислава уже не было сил как-то реагировать на происходящее. Абсурдность шпионской миссии Грэма Грина доконала его окончательно. Отдышался и я.

Несмотря на идеологические грехи моей молодости, Р. Филиппов таки отстоял мою кандидатуру в качестве переводчика среди прочих, упорно навязываемых ему. К этому времени мы были уже знакомы, даже сдружились. Помнится, как Ростислав не раз выдавал меня за придурковатого американца (когда нам по случаю надо было немедленно раздобыть какой-нибудь закуски). Я отрубал себе русскую речь, мгновенно превращался в жизнерадостного иностранца. Слава водил меня по рынку как говорящую обезьяну, показывал на меня пальцем и приговаривал: «Да все эти американцы просто тупые и ничего не соображают ни в жизни, ни в овощах, ни в выпивке!» Я же должен был изобразить, заговорить и забрать сувенир, т. е. пучок зелени или овощ, из рук сердобольной продавщицы. Филиппов был ещё тот актёр, и я ему достойно подыгрывал. Ростислав вообще был фигурой раблезианского масштаба, и смеховой культуры, по М. Бахтину, он не чурался.

Моя миссия на сей раз была проста: обеспечить процесс коммуникации между именитым гостем и принимающей стороной в лице Ростислава Филиппова или иных возможных лиц. В официальных, общественных или культурных мероприятиях участия я не принимал, и слава Богу! Там царили свои условности, имелись свои специалисты, и слава Богу опять! Но был хитрославный Р. Филиппов, который умело составил программу пребывания Грэма Грина так, что нам достались самые сокровенные часы общения с ним. Слава Славе! То, что я проделывал в номере 403 гостиницы «Интурист», называется синхронный перевод. Эдакий высший пилотаж перевода вживую. Этому учат, но немногие научаются. В официальном режиме это 35–45 минут интенсивнейшей работы с последующей заменой синхрониста другим. Грубо говоря, ты должен успеть перевести монолог/фразу/реплику быстрее, чем он/она высказана, создавая иллюзию непрерывной речи или диалога. В нашем случае встреча была неформальной, и я имел возможность, быстро и тщательно подбирая нужные слова, излагать монолог или вести обоюдный диалог, вживаться в образ каждого из собеседников, невольно копируя их темп речи, эмоции, мимику и жесты.

Проблема для меня была в другом. Я не представлял себя холоднокровной машиной по обосторонней передаче информации, но был таким же азартным слушателем и собеседником, как, скажем, Р. Филиппов. Я также смеялся, хохотал, вставлял реплики и задавал вопросы, как все застольные участники, но при этом мне приходилось ещё и переводить в режиме нон-стоп, не прерывая живой нити беседы. Подпрыгивал на кресле, крутился как бес на сковородке, молотил слова как из пулемёта, но успевал донести смысл сказанного до того, как кто-то делал паузу или завершал свой импровиз. Словом, это был театр одного актёра-переводчика. Никто, разумеется, этого актёрства не замечал, и это было прекрасно! ...Единственным зрителем этого мини-спектакля была, как я потом сообразил,

Ивонна. Она исподтишка наблюдала, как я вывернусь с переводом (с англ. на рус.) в той или иной ситуации, оценивала реакцию Р. Филиппова, потом быстро переводила взгляд на Грэма, если тому доставался (в переводе) непростой вопрос или прилетала реплика, одобрительно улыбаясь рассудительному ответу своего спутника жизни.

Наши разговоры, пронизанные юмором, касались также крупнейших мировых религий и, стало быть, трёх различных мировоззрений: христианства, иудаизма и мусульманства. Грин согласился с тем, что существуют страны мусульманские, христианские и иудейское, но нет чисто христианского государства, католического, протестантского или православного. И всё же, согласился он с нами, представители разных ветвей христианства могут вполне понять друг друга. И иудеев, добавил он, если захотеть, можно понять. Сложнее, признался он, с фанатиками-ортодоксами. За ними действительно стоит свой мифологический ряд, культура, свой менталитет. «Ярого католика я еще понять могу, — улыбнулся он, — а вот мусульманина-шиита — уже с трудом...»

Говорили мы и о культуре, коррупции, коммунизме, России, Ленине, Сталине, Горбачеве («Я полностью доверяю Горбачеву!»), о разных вещах, волновавших многих в то время, — всех тем не перечислять,

И, конечно же, о литературе, литературных судьбах, взаимовлияниях и пристрастиях, о путях, приведших его в литературу, о писательском труде вообще, о музеях писателей, каковой традиции на Западе нет... Словом, обмен мнениями был доверительным и непосредственным, из уст в уста.

В те же памятные дни, уже на Байкале, в гостинице, за обеденным столом и, как на грех, в день моего рождения, я решил в шутку разыграть нашего уважаемого гостя по поводу одной из знаменательных дат двадцатого века. На вопрос, когда официально завершилась Вторая мировая война, восьмидесятидвухлетний мэтр, откинувшись в кресле, с подозрением взглянул на наши довольные лица (явно чувствуя подвох) и простодушно произнес: «Ну, где-то в начале мая 1945 года...» Уж он-то знал это наверное, коль скоро ему был ведом опыт службы во время войны в качестве штатного резидента британской разведки в бескрайних африканских тропиках. Я кротко заметил, что, мол, вопрос касается не Великой Отечественной, когда мы победили фашистов, а Второй мировой, когда был повержен последний японский агрессор. Классик немного призадумался и поправился, сказав, что сие событие имело место быть в конце августа — начале сентября. «2 сентября 1945 года! Вот в этот-то день я и родился!» — торжественно заверил его я и предложил выпить за данное историческое событие. Затем я пожаловался, что, дескать, на Кубе, в честь штурма казарм Батисты, каждые пять лет вручают соответствующую памятную медаль одному и тому же мальчику, юноше и мужчине, которого угораздило родиться в тот памятный день. А мне же, несмотря на несравнимо больший масштаб и значимость события, — ни одной медальки или хотя бы грамотки. Мэтр внимательно прослушал эту галиматью, понял подтекст и поднял тост за меня, как за символ послевоенного мира на Земле.

...Через два месяца Г. Грин прислал мне в подарок свой последний роман «Монсеньор Кихот» с дарственной надписью:

*Дорогой Марк. Прими небольшое напоминание о твоём дне рождения, который мы отпраздновали вместе.*

*С любовью от Грэма + Ивонна*

*Эпилог.* Великий романист двадцатого века Грэм Грин, создатель литературной страны Гринландия, скончался в г. Виве, Швейцария, в возрасте восьмидесяти шести лет, через четыре года после нашей удивительной встречи в Иркутске. Встреча Ростислава Филиппова и Грэма Грина состоялась ровно 30 лет назад в 1987 году. Как признался Ростислав Владимирович, эта встреча была потрясающим событием в его жизни. Даже Валентин Распутин в разговоре со мной выразил сожаление, что не смог встретиться и побеседовать с Грэмом Грином — был в отъезде. Валентин Григорьевич же и похвалил меня за эту мою статью, которую случайно обнаружил на столе сына Сергея, а я Сергею дал почитать две статьи — одну на английском языке об отце (для московского журнала), в другую о Г. Грине — просто почитать: мы ведь все в ИНЯЗе штудировали этого классика по одной из его книг «Тихий американец».

*К 50-летию со дня рождения  
поэта Вадима Янцева*

АНДРЕЙ АНТИПИН

ЕЛЕНА ВОЛОШИНА

«Я замолчал на много лет...»



Вадим Ярцев

*«И шарик лихо вертится» — как при нём. Но уже пять лет — без него. Вот уже — десять раз по пять — со дня рождения. Без него. «Вылезай — конец пути». Или это только очередная путевая станция, развилка, железнодорожный разъезд?..*

*«И вспоминать меня не стоит...» — однажды вырвалось у него. Впрочем, однажды ли? Вчитаться — так сплошь и рядом это отчаяние, молчание, выраставшее в крик, в боль, в тупик, в соль на рану. И столько в этом было подлинности, полнокровности, дымящейся совести, о которой писал Пастернак. Столько надсадной современности. Столько муки и мученичества. Уже и не одиночества, а тотального сиротства. Столько не чернил — крови, словно стихи не писались, не слетались в клёкоте*

*клавиш, но шли — горлом, хоть вызывай неотложку. И не потому ли, однажды вобрав их в душу, ещё долго (да, пожалуй, всегда) помнишь этот медный солёный вкус, как будто и не книжку читаешь, а, как в детстве, отсасываешь ранку и то и дело смотришь на разрыв: не перестало ли? И первые мгновения кажется: перестало, отболело, замолчало! А потом вдруг навернётся ярко-красная капелька...*

*Не перестало. Даром что пять лет прошло — тишины, молчания, разрыва. Пять лет сиротства, только уже — нашего и тоже — тотального, ничем неизлечимого. Пять лет сплошной кровоточащей раны, которой открылась смерть Вадима для всех, кто его помнит, любит, ценит. Кто хранит его книжки наравне с томиками Есенина и Рубцова и знает, по крайней мере, одно: соседство это — по праву, ибо оплачено кровью, как во все времена окупалась русская поэзия.*

*...Две даты — светлую и чёрную — должна бы отметить в этом году читающая провинция: 50 лет со дня рождения поэта Вадима Янцева и 5 лет после его преждевременного ухода.*

*В память о Вадиме предлагаю вниманию читателей беседу с Еленой Волошиной, сестрой. Этот разговор во многом — знаковый, хотя бы уже потому, что в нём предпринята едва ли не первая попытка — позвать, догнать, придержать за рукав человека, который ещё недавно жил среди нас — в этом мире, под этим небом. Да, крикнуть ему теперь: «Ты не один!» — не услышит. А ты, читатель, всё равно крикни. Он долго ждал этого крика.*

Андрей Антипин



## «Он был завсегдаем дискуссионных клубов»

— Елена Аркадьевна, о вашем брате почти нет никакой информации. Может быть, немного расскажете о нём? То, что посчитаете нужным. А я по ходу буду задавать вопросы... Итак, кто он — Вадим Ярцев?

— Ну, прежде всего, Вадим — мой старший брат. Родился 30 марта 1967 года в Пашино, сейчас это микрорайон в Новосибирске. Родители — Аркадий Иванович и Любовь Тимофеевна. Отец родился в Северном Казахстане в 1940 году. Мама на два года младше, родом из-под Новосибирска. Отец учился в Новосибирском институте инженеров водного транспорта, по специальности — инженер-конструктор. Года три маленький Вадик вместе с родителями жил в Качуге (отца после института распределили на Качугскую судостроительную верфь). Рано научился читать, уже в три-четыре года «шпарил» наизусть довольно большие стихи любимых детских поэтов. В 1972 году Аркадий Иванович перевёлся в Усть-Кут, где я и родилась.

Родители работали на Осетровской судостроительной верфи: папа, конструктор, долгое время был начальником технического отдела, а мама работала в отделе снабжения сначала товароведом, потом — экономистом. В Усть-Куте Вадик пошёл в школу № 4. Начал писать для стенгазеты: эпиграммы, стихи «по случаю». Некоторые вещи были острыми, но всё равно шуточными.

Мы храним вырезки из районной газеты «Ленский коммунист», куда приносил некоторые свои произведения Вадим. Помню историю с публикацией стихотворения «Прощание с Союзом»: в газете напечатали «Не с девушкой — затёртой и ржавой...», а у Вадима — «Не с девушкой...» Он расстроился.

— Но это уже были не школьные годы. Когда, кстати, написано это стихотворение? Понятно, что после развала Союза... Автор датировал свои тексты?

— Не все. Да их и всего — несколько тетрадок. А точнее, рукой Вадика написаны две общих тетради. К сожалению, сейчас не все даты его произведений можно восстановить. Я, например, не видела датировок 2011–2012 годов. В основном стихи относятся к девяностым. Он писал вручную; потом, когда появился компьютер, стал набирать. У него был хороший почерк, он любил писать! Думаю, если бы он захотел привести своё творчество в систему, сам бы от руки всё продатировал. Вероятно, не было такой задачи. Но первое опубликованное стихотворение я по вашей просьбе нашла. Публикация состоялась в 1984 году, Вадим как раз окончил школу. Отец говорит, что, вероятно, с того момента Вадим и стал печататься. Стихотворение называется «В атаке», его нет ни в одной из двух книжек:

*В атаке, пулями пробитый,  
Упав на мокрую траву,  
Уже не слыша гула битвы,  
Превозмогая боль, живу.*

*Прощаясь, обнялся с землёю —  
Насколько было сил обнять,*

*И начал ей шептать такое,  
Что может лишь она понять.*

*Но в эти тяжкие минуты  
Вдруг осознал я, что не зря  
Шёл в бой и жизнь спасал кому-то  
В тот день, в начале сентября.*

— Удивительно! В таком раннем возрасте — и такая выразительность... Но о стихах поговорим чуть позже, а пока вернёмся к школьным годам Вадима. Что вам помнится из тех лет?

— Занимался охотно. С начальных классов становилось понятно — растёт гуманитарий. Начитанный, интересующийся историей, литературой, политикой, он был завсегдаем дискуссионных клубов. Любил шахматы, был участником

школьных и межшкольных турниров. Почти все библиотекари города знали его как вдумчивого и влюблённого в книгу читателя и как одного из самых активных посетителей. Не всё получалось — в старших классах были какие-то проблемы с точными науками. Но учителя хорошо к нему относились.

В детстве и юности Вадим довольно много болел. А в восьмом классе и вовсе случилось несчастье — попал под автобус. В силу той травмы у него одна нога укоротилась, он всю жизнь хромал. Впоследствии развился сколиоз — искривление позвоночника. Представьте, каково это для человека, чей рост метр девяносто с лишним! Богатырским телосложением Вадик, скорее всего, пошёл в деда — Тимофея Карпова, маминого отца.

В школе отношения складывались по-разному. В комитете комсомола, где собирались активисты, для него всегда находилось дело. Об этом он и потом вспоминал хоть не без юмора, но с удовольствием. Чувствовал себя среди своих, наверное. Было интересно. В классе, насколько я знаю, тоже были товарищи. Он ценил в людях порядочность, интеллигентность, умение дружить. И сам отвечал тем же. Но было и другое. После того случая с автобусом Вадим какое-то время ходил на костылях. И однажды в школе его с этих костылей сбили! Я помню, как мама рассказывала об этом, как ей было больно. Один такой школьный «товарищ» Вадима жил в доме напротив, стал наркоманом, многих посадил на иглу...

— *Может быть, отсюда стихи о том, как избили в подъезде? Причём очень реалистичные, почти документальные стихи.*

— Не берусь судить. Но его, действительно, однажды избили. Возвращался от друзей (он же не был затворником, была своя компания), дело было ночью, его свалили с ног отморозки. А он уже был взрослым человеком.

— *По-вашему, кто в детстве, а то и в целом в жизни больше всех повлиял на Вадима?*

— Однозначно — отец. Он очень сильно повлиял на нас с Вадиком. С одной стороны, в плане нравственного становления — отец был мерилом. С другой, если что-то не так — как отец отнесётся? Понятно, что мама есть мама. Это — душа, это — доброта бесконечная. Это — способность понять всё-всё. А отец... Я, например, не хотела, чтобы отец расстраивался. Очень важно было успехами радовать. Хотелось, чтобы родители мной гордились. У Вадика, наверное, тоже было такое понимание. Но получалось у нас по-разному.

## **«Слушал Высоцкого и состоял в комитете комсомола»**

— *Известно, что после школы Вадим учился на историка в Новосибирском государственном университете. Это было в середине восьмидесятых. А диплом получил в 2008 году, заочно окончив Иркутский госуниверситет. Что не склеилось в Новосибирске?*

— История была ему интересна. Учась в Новосибирске, успел даже съездить на археологическую практику в Хакасию. Потом столько рассказывал! Вернулся счастливый. Это было — его, этим он хотел и мог бы заниматься. Но после первого курса призвали в армию, хотя причин не брать хватило бы на несколько призывников — настолько неважным было его здоровье. Да и семейные обстоятельства были ещё те: мама лежала в онкологическом отделении. Она писала военкому, просила, объясняла, прилагала медицинские документы — свои и Ва-

дика — ничего не подействовало! На втором курсе, уже после службы в армии, не поладил с преподавателем немецкого... В общем, мечту о высшем образовании пришлось оставить. Надолго. Но с друзьями-однокурсниками встречался, а когда сам уже не мог ездить в Новосибирск, — созванивался с ними, общался в соцсетях, переписывался до самой своей смерти.

— *Где он служил?*

— В Сызрани. Вспоминал об этом времени хорошо, светло. Армейских друзей было много. Вадим там однозначно пользовался уважением! Помню, как он вернулся из армии. Родителей не было дома, а я сидела в автобусе — мы собирались на какой-то слёт пионерский. Все с бантами, в форме... И тут он заходит в автобус! Я его даже сначала не узнала. Такой красивый, высокий, мощный.

— *Каким был советский молодой человек Вадим Ярцев? Не битломаном, часом? Или веяния времени его обошли?*

— Не обошли. Он ведь состоял в комитете комсомола! Поэтому всё передовое на тот момент не могло его миновать. Но вот что он любил действительно? Любил настоящее, искреннее. Слушал Жанну Бичевскую, Галича. Очень любил Высоцкого. Когда учился в Новосибирске, заразился Егором Летовым, Янкой, Башлачёвым, вообще авангардистскими песнями.

— *Книги?*

— Об этом нужно говорить отдельно. В нашей семье читали все. Вкус к литературе воспитывали родители, а потом, когда я подросла, посоветовать мне хорошую книгу мог и брат. В общем, сам читал и меня пестовал. Открыл мне Чехова, Достоевского, практически всю современную литературу. Джек Лондон, Варлам Шаламов, Солженицын... К Марку Алданову относился серьезно. Я, напротив, зачитывалась книгами Пикуля, на что Вадик мне говорил: «Ты Алданова почитай!» И сам пересказывал прочитанное. Рассказывал великолепно! Был дар. Если анекдоты — катались по полу! Поток этот не кончался. Спустя два года после смерти Вадика мы с отцом по программе переселения уехали в Новосибирск. Кассеты увезли на дачу, пластинки, к сожалению, не сохранились. Но книги с нами.

— *В одном из писем вы упомянули, что Вадима не миновало и другое повальное увлечение тех лет — фотографирование. Мне кажется, для Ярцева с его предметными содержательными стихами, которые видишь глазами, как кино или, на худой конец, диафильм, этот пункт его биографии крайне важен.*

— Да, было такое увлечение. Была домашняя фотолаборатория. Это было в юности. Я была маленькой. Для меня это был праздник, когда вечером он готовил реактивы, включал красный фонарь...

— *Не гнал вас, чтобы не мешали?*

— Он очень бережно со мной обращался. Да я ему и не мешала, хотя нос везде совала. Мне было интересно с ним.

— *Вот вы вспомнили, что великолепно рассказывал истории, анекдоты. А мне на ум пришли его стихи: «До рассвета баланду травы, будь шутом для влиятельных урок». Но если есть дар рассказчика, мало стихов! Не пробовал писать прозу?*

— Нет. Но были, конечно, детские опыты. Какую-то пьесу начинал писать. Но это, наверно, было ему неинтересно.

— *Слушал авангардистские песни, любил Высоцкого... На гитаре играл?*

— В юности немного «тренькал». Одно время даже учился в Доме пионеров играть на пианино, которое как раз купили родители. По-моему, пытался освоить

баян. У него руки были большие, очень красивые, с длинными пальцами. Отец говорил, что Вадику нужно было основательно заниматься музыкой. Опять же — если бы это ему было интересно и если бы умел доводить начатое до конца.

— *А он не умел?*

— Не всегда. Что касается стихов — да, работал над ними. Сырые никогда не выставлял. А вот если что-то необязательно... Так было, например, и с какими-то увлечениями, и с собственным здоровьем.

### **«Мы такое не печатаем!»**

— *Раз уж мы заговорили о стихах, самое время на них и остановиться. И первый вопрос будет банальным: читал в домашнем кругу?*

— Читал. Хотя был достаточно закрытым человеком. Но с друзьями, родными — делился. Правда, нужна была соответствующая атмосфера. Чтобы ничего и никого — лишнего, чтобы можно было услышать и понять! Он и мне много читал своих стихов. Но это когда был расцвет, когда были силы. Когда заболел, конечно, стало не до этого.

— *В судьбе Вадима больше всего, пожалуй, поражает тот факт, что долгое время не было хоть сколько-нибудь заметных публикаций, да и вообще его прижизненных вылазок в печать — раз-два и обчёлся. Притом что это поэт истинный, несомненный. Напомню читателям, что стихи Ярцева выходили преимущественно в общественно-политической газете Усть-Кутского района, причём вкупе с текстами иных стихотворцев, о чём я ещё скажу отдельно. И только за два года до смерти поэта благодаря друзьям появилась большая самостоятельная подборка в специальном литературном издании — альманахе «Сибирь», который выходит в Иркутске. Чуть ранее стараниями всё тех же друзей вышла публикация в санкт-петербургском «Русском писателе». А за год до кончины родилась первая и единственная прижизненная книжечка... Как так получилось, что в наш электронный век поэзия Ярцева оказалась в изоляции? Или он не предпринимал попыток выйти к читателям?*

— Почему не предпринимал? Он был нормальный в этом смысле человек, который хотел напечататься. Но, живя в провинции, сложно это сделать, несмотря на самые современные средства коммуникации. Как-то разговаривали с ним об этом. Вадик говорил, что ничего не получается. Туда послал — нет ответа, сюда — тишина... Конечно, он переживал.

— *Потом, надо иметь в виду, какую реакцию подчас вызывала его поэзия. По свидетельству Елены Поповой, близко знавшей Вадима в последние годы его жизни и много сделавшей для популяризации его творчества, в ответ на стихи Ярцева приходилось выслушивать что-то в стиле: «Жизнь и так сложная, а тут ещё такие безрадостные строки». Дескать, зачем эта чернуха?!*

— Да, было и такое. Помню, поехала в Новосибирск, Вадим дал пачку своих стихов, которые сам набрал на компьютере, сам проверил. Это было в 2004 году. Принесла его стихи в «Сибирские огни». Там посмотрели, полистали. Когда приехала за ответом, рукопись вернули со словами: «Мы такое не печатаем!» А он ждал меня с добрыми вестями — всё-таки хороший литературный журнал, была надежда... Знаю, что отправлял в центральные издания. В «Наш современник», в «Новый мир». Потом все попытки оставил. Смысл? Сам выставлял свои тексты на сайте «Стихи.ру». Но, конечно, это совсем другой уровень.

— Вот об этом надо бы знать тем, кто высокомерно бросает в адрес провинциалов, что эра Интернета, электронной почты и мобильных телефонов сравняла столицу и регионы и нынче все мы, дескать, существуем в некоем общедоступном пространстве. Но это — ладно, Бог с ними со всеми... Меня вот что ещё возмущает: и здесь, в родном Усть-Куте, Вадим пребывал если не в изоляции, то в таком постыдном невнимании к себе, к своей поэзии, что это сродни изоляции! Да, состоял в местном литературном клубе. Однако ни одной самостоятельной подборки Ярцева я что-то не припомню, а его редкие публикации коллективно с другими членами клуба были так плотно обставлены разными прочими сочинениями, что различить на их фоне имя Вадима Ярцева было почти то же самое, что разглядеть драгоценный камешек на дне болота. Не было у него ощущения удущья, как будто его запаковали в целлофановую плёнку?

— Мне трудно говорить на эту тему, да и не совсем этично. Вадим радовался и этой возможности публиковаться. Он общался с президентом клуба «Причал» Сергеем Желтиковым. С Леной Поповой дружил до самого конца. По-моему, они друг друга понимали. Что касается того, что не было отдельной публикации... Он ведь не писал стихи, которые создавали горожанам настроение. Был мрачный. Зачем такой? Он из скромности, а больше из гордости ничего не говорил, хотя наверняка понимал больше, чем другие. Переживал. Отчаивался. Особенно в последние годы. Была необходима критика, адекватные замечания. А здесь этого не было.

### **«Советский по крови и плоти»**

— Безвременье, лихолетье, проклятье русской истории на рубеже 1990-х и нулевых — центральная тема поэзии Вадима Ярцева. Эта заикленность, с одной стороны, тематически обеднила его лирику, с другой — развила разработку этой темы до таких болевых высот, которые не часто сыщешь в современной литературе. И всё же, несмотря на кажущуюся монолитность позиции автора по отношению к новейшей истории отечества, иной раз возникает противоположное чувство — ощущение его раздвоенности. Вот он искренне оплакивает гибель Союза, расстрел Белого дома, мучительно переживает приход «новых времён — жестоких и циничных», когда пришлось «ломать себя на ходу». И вдруг в его стихах начинают звучать если не проклятия, то возмущение и горечь от многого того, что связано с недавним — советским — прошлым нашего государства! Тут тебе и доносы, и лагеря, и стукачи на каждом шагу, и «коммунистический бред», и вообще бессмысленность жизни, доведённая в воспалённом воображении автора до гротеска, до катастрофы. Понятно, что стихи фиксируют настроение, а оно, как само течение жизни, изменчиво, тем более в судьбе поэта с дарованием такого трагического склада, какое было у Ярцева. Но меня интересует, как в жизни, а не в стихах Вадим отзывался о советской идее. Не было у него, как у многих неистовых «перестройщиков» его поколения, хотя бы мимолётного желания разрушить до основания «проклятый совок»?

— Не было. У нас отец — коммунист, и Вадим вполне разделял его взгляды. Он знал очень много, интересовался, читал обо всём, что было связано с историей нашей страны, коммунистической партии, отдельных её деятелей. А ведь перестройка, как принято считать, на многое «открыла» нам глаза, показала «правду», которой мы и не знали! Но при всём при этом Вадим не разуверился в справед-



ливости того строя. Пожалуй, наоборот. Чем больше чернили коммунизм, Советский Союз, тем сильнее хотелось разобраться — почему именно сейчас так много говорят и пишут плохого? Конечно, дома часто разговаривали об этом, спорили. Отец когда-то был секретарём парткома на Осетровской судовой верфи, и ему очень трудно было принять крушение всего того, во что он верил и что строил. В прямом смысле *руками строил*, проектируя суда, которые ходили по рекам и морям нашей страны, а потом пошли на слом. Как это можно принять и понять? И что принесла перестройка? Вот судовой верфь, пожалуйста. Такие мощности! А теперь все цеха стоят. Всё продано москвичам и китайцам. Китайцы сейчас там хозяева! В общем, всё как в стихах: «Без суеты и громких слов, без лишнего надрыва, они нагрели нас, ослов, и это справедливо». Вадим не смог к этому притерпеться до самой смерти.

— *Отсюда, наверное, и столько насады в его поэзии... А как, кстати, Аркадий Иванович воспринимал творчество сына?*

— Очень серьёзно. Хотя был не согласен со многим. Критиковал за упадническое настроение. Говорил: «Можешь написать что-нибудь повеселее? Сколько можно уже! Одна чернуха, чернуха...» — «Не хочу. Чего хорошего? Чему радоваться?» — отвечал Вадим.

— *Расскажите, пожалуйста, о первой и единственной прижизненной книжечке Вадима — «И всё же несколько минут я был свободен!», которая вышла в 2010 году.*

— В её издании помог Артур Дзиов, друг Вадима по Новосибирскому госуниверситету. У них было много общего. Артур занимается высшей педагогикой. Был даже, кажется, ректором. Он из Перми, где, собственно, книга и вышла. Вадик сам отобрал стихи, с его точки зрения — наиболее удачные. Написал несколько строк о себе. Ему показывали обложку. Он не удивился, что она — черно-белая! Это всё оговаривалось. Потом Артур отправил весь тираж. Помню, как Вадик получал эти две посылочки на почте. Столько радости было! Но тираж небольшой, книги почти не продавали. Что могли, раздали, когда хоронили Вадима.

## **«Было действительно тяжело»**

— *Понимаю, что спрошу сейчас непозволительную глупость. И всё же: почему он умер в сорок пять, в сущности — ещё молодым? Многие ведь по незнанию думают, что автор этих мрачных стихов добровольно расстался с жизнью. Помню, летом 2015 года народный артист России Юрий Назаров, приезжавший в Усть-Кут, после прочтения книжечки Ярцева осторожно спросил на пресс-конференции, не было ли суицида. Да и я, честно говоря, первое время терзался подозрениями...*

— Это тяжёлый разговор. Что тут скажешь? После армии Вадик работал грузчиком на Осетровской речной базе «Холбос». Неплохо зарабатывал. Постепенно появился какой-то оптимизм. Был сильный, молодой. В 1994 году окончил Осетровское речное училище по специальности «Организация перевозок и управление движением на транспорте». Учился на вечерней форме, без отрыва от производства. После училища его назначили сменным помощником директора по погрузо-разгрузочным работам там же, в «Холбосе». Это было до 2000 года. А затем — перелом за переломом... Травмы. Кости были слабыми с детства. Упал — сломал ногу. Он сам был здоровый, тяжёлый! Руки мощные. Отец вспоминал, что когда прие-



хал в армию к Вадиму, ему очень понравилось, что сын такой накачанный. Порадовался. Но это было раньше. Потом здоровье стало подводить. Много времени в своей жизни провёл на костылях, о чём я уже упоминала. Да и сердце начало болеть. Стало подниматься давление. До определённого момента не жаловался. Но подхлестнула смерть мамы в 2001 году. А дальше начались необратимые процессы. Собрали документы для отправки в Новосибирск, в клинику Мешалкина. Однако время было упущено. В последние годы часто лежал в больнице. Немного подлечат — и отпустят.

— *Было понимание, что ему немного осталось?*

— Не хотели, не могли мы поверить, что такое случится. Но в последнее время было действительно тяжело. Он сам себя развалиной называл. Курил, несмотря ни на какие болячки. Это во многом усугубило ситуацию. Пробовал бросить. Мог сказать, что я бросаю. А у самого сигарета постоянно в руках! Даже в последние дни, когда было нельзя. Человек сам во многом был виноват. И мы были виноваты, недосмотрели. Я его упустила. Не сниму с себя этой вины...

— *Откуда возник слух о том, что ему переломали ноги, когда он работал мастером по отгрузке леса?*

— Это было в 2001 году. Как раз мама умерла. Там, действительно, была какая-то история. С ним, в общем, случилась производственная травма. Но пришлось доказывать это в суде. Нам знающие люди подсказали статьи, и Вадик выиграл. Даже не было защитника, он сам справился. Отсудил у предприятия какие-то деньги. Но то, что это было неслучайно, я припоминаю. Получилось так, что как-то повернули кран, и Вадик «слетел» с этого крана. Это не драка. Но у него были недоброжелатели. Просто потом по-своему развили эту историю. И ещё была история со стрельбой. Всё с лесом связано, с грузами разными, с Севером! Приехали вооружённые бандиты, положили на землю. Друг попытался вступить — сказали: «Только попробуй!» Как говорят сейчас — «лихие девяностые».

— *Последние годы жизни Вадима?*

— Подрабатывая сторожем в школе, заочно окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета. Это было в 2008 году. Сбылась юношеская мечта — стал историком! Работал учителем в школе № 3. Но совсем немного. Уже очень сильно болел. Тем не менее, строил планы. Собирались с Леной Поповой в Ангарск на литературную конференцию, которая должна была состояться в декабре 2012 года. Было много разговоров на эту тему. Но 4 июня Вадика не стало.

— *На другой год после смерти Ярцева вышла вторая (первая посмертная) книжечка — «Марш славянки». Какая у неё история?*

— Людмила Белякова из Ангарска полностью занималась второй книгой, макетом и всем остальным. У неё были распечатки стихов Вадима. Владимир Скиф написал предисловие. Книжку, естественно, мы печатали за свои деньги. С оформлением случился конфуз. Вадим был правой, а они развернули фотографию, на которой Вадик изображён с пишущей ручкой за столом, — и Вадим «оказался» левой! Кстати, это была постановочная фотография (по-моему, 1996 года). Он сам попросил его сфотографировать. В семейном альбоме есть эта фотография и следующая, на которой он смотрит на меня и смеётся.

— *У нас получился несколько сумбурный разговор, но на то он и первый! В принципе, мы о многом поговорили. Однако и у меня сложилось, и сложится, наверное, у читателей впечатление, что жизнь Вадима Ярцева — сплошная чёрная полоса. Но ведь наверняка были просветы!*

— Когда была семья Ярцевых, всё было хорошо. Были какие-то трудности, как у всех, но жили вместе, дружно. А потом всё изменилось. Хотя, конечно, и после не всё было так печально, как это иной раз предстаёт в стихах Вадима. Например, моя первая дочка родилась 30 марта, в день рождения Вадика. Он как раз приехал с сессии из Иркутска, а на следующий день нас надо было забирать из роддома. Он был счастливый и гордый!

— *А как он к детям относился?*

— Видимо, с уважением! Но держаться старался на почтительном расстоянии. Ну что он с ними?! Он не знал, что с ними делать, потому что в личной жизни у него не сложилось, и своих детей не было. Конечно, племянниц любил! И я его очень любила...

*Июль 2016 года*

*г. Усть-Кут*

# Вернисаж



## *К 50-летию иркутского художника Дмитрия Лысякова*

**ТАТЬЯНА ОГОРОДНИКОВА**

ИСКУССТВОВЕД, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### Галерея образов



Художник Дмитрий Лысяков родился в 1967 году в Астрахани, учился в Биробиджанской художественной школе, с десяти лет стал писать исключительно маслом. С 1982 по 1986 год учился в Иркутском художественном училище на педагогическом отделении у педагогов Л.А. Сапранковой и Г.Ю. Кузьмина. Некоторое время преподавал в Качугской художественной школе. 1990–1996 годы —

член творческой группы «5+» под руководством М.А. Имшенецкой. С 2005 года — член Союза художников России. Участник многих международных, региональных и областных выставок. Награждён дипломом Академии художеств и серебряной медалью Союза художников России. Работы автора находятся в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачёва и в частных коллекциях в России и за рубежом.

\* \* \*

На соискание премии Губернатора Иркутской области нынче выдвинут цикл портретов «Байкал — перекрёсток судеб» иркутского художника Дмитрия Павловича Лысякова.

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва на протяжении многих лет творчески сотрудничает с талантливым живописцем Дмитрием Лысяковым. Несколько портретов его кисти принадлежат музею, они органично влились в прекрасную коллекцию живописи иркутских художников. Дмитрий Лысяков является постоянным участником международных, всероссийских, ре-

гиональных, областных выставок. Его персональные выставки — последняя из которых открылась в Иркутском художественном музее в сентябре 2017 года, — вызывают восторженные отклики общественности Иркутска и Иркутской области: специалистов и зрителей различных социальных слоёв населения, широко освещаются в СМИ. И это не удивительно. Диапазон искусства Д. Лысякова очень широк: прекрасный пейзажист, великолепный мастер натюрморта, а главное — вдумчивый и глубокий портретист, создавший галерею образов наших современников — писателей, художников, учёных, людей разных профессий, объединённую в цикл портретов «Байкал — перекрёсток судеб».

Дмитрий Лысяков является продолжателем лучших традиций русской национальной школы. Портреты последних пяти лет (2013–2017) объединяет глубокий психологизм, умение выявить индивидуальные душевные и духовные качества моделей, но, главное — художник создаёт образы, наполненные социальной значимостью, выявляет роль каждого портретируемого в общественной жизни нашего города и Иркутской области. Его портреты несут в себе особый эмоциональный заряд, повествуют о судьбах людей и олицетворяют собой интеллектуальное богатство Сибири. За прошедшие пять лет им написаны: наполненный внутренней жизнью «Портрет Анатолия Байбородина» — талантливого сибирского писателя, «Портрет художника Любови Имшенецкой», в котором живописец передал глубокое размышление над жизнью незаурядной творческой личности, композиционный портрет волонтера и общественного деятеля Сибири Л. Щёголевой, портреты известного издателя, публициста, коллекционера С.И. Переносенко и писателя, публициста В.В. Козлова. Среди его последних работ — глубокий по концентрации чувств и духовности «Портрет А.С. Шипицына», заслуженного художника РФ. Отличительные качества его портретов — в передаче внутреннего мира человека для каждой модели. Д. Лысяков находит особое композиционное решение, свой живописный ритм, что является итогом пристального изучения портретируемого. Автопортреты также занимают прочное место в творчестве художника, в них он словно соотносит себя с окружающим миром — многообразным и бесконечно любимым Дмитрием Лысяковым.

Цикл портретов «Байкал — перекрёсток судеб» (портреты иркутян) иркутского художника Дмитрия Павловича Лысякова обладают большой общественной, исторической и культурной значимостью. Признание его заслуг и таланта — огромный стимул для дальнейших достижений талантливого живописца как представителя лучших традиций прославленной иркутской художественной школы XX века.

## Творческая отвага Дмитрия Лысякова



— То, что я стал художником, для меня совершенно естественно. Кажется, иначе и быть не могло. Это абсолютно моё — и муки творчества, и этот образ жизни, порой нестабильный, но вольный, не скованный тисками обязательности. Я вообще-то не пейзажист, — говорит Дмитрий Лысяков, заметив, что я не отрываю глаз от его полотна, где резвая Олха неугомонно играет в буйной зелени, словно в классики прыгает по разноцветным камням. На щербатом шатком

мосточке — трое деревенских пострелят с выгоревшими макушками. Шалят, того и гляди — плюхнутся в воду. Лето, приволье, бесшабашное детство! На сердце свежо и весело, как от солнечных брызг.

— *А кто Вы? Портретист, мастер жанра?* — спрашиваю у автора.

— Не знаю. Как-то не задумывался. Но точно я — не картинник. Пейзаж, во всяком случае, у меня не становится картиной. Я пишу пленэрные этюды. Работаю только с натуры, быстро, по сиюминутному впечатлению. У Тетенькина вот получалось как-то уже дома свои натурные наброски дорабатывать до фундаментальных вещей. Мне никогда не удаётся ничего добавить к тому, что я успел уловить на природе. Не пишу ни по фото, ни по памяти. Пейзажный этюд — это как играть с листа. Надо успеть отразить быстротечное неуловимое состояние, разлитое вокруг. Оно неконтролируемо, летуче, — и так же непредсказуем результат на холсте. Ты не можешь после повторить это изумительное дыхание воздуха, сложный цвет неба, игру текучей воды. Не можешь повторить и своё впечатление, созвучное настроению природы. В этюдах всё живое, там всё правда. Сама природа, прикосновение к ней не дают фальшивить. Это как детектор лжи. Наверное, поэтому я больше люблю небольшие этюды Левитана, который впервые открыл красоту в самом обыкновенном — в придорожных лужах, растрёпанных ветром стогах, сухом буреломе. Прекрасная человечность этой простоты, наверное, и составляет непередаваемую музыкальность его работ, особенно небольших, не самых популярных. Мне они ближе, теплее как-то, тоньше, чище.

Этюды Дмитрия тоже трогают какой-то непоказной искренностью, естественной, ненадуманной чуткостью к милым подробностям жизни, которая «не удаётся быть красивой» — и оттого прекрасна и чудна. Вот небольшая работа, которую я назвала бы «Предвестники весны». Предвечерний янтарный свет, румяные стены деревянного дома на опушке леса. Ветер играет влажным бельём на верёвке, развешанным бабой в ярко-зелёном пальтишке. Жемчужный снег радужно сверкает на солнце, в тени мерцает гаснущей незабудкой. Воздух свеж, небо ясно, февральская лазурь светла. Во всём сквозит обещание близкого тепла.

Дмитрий Лысяков родился в Астрахани, рос в Хабаровском крае. Учился в Биробиджанской художественной школе у настоящего подвижника-педагога Гри-

гория Алексеева, который брал талантливое мальчика на все пленэры и выставки. Дима был единственным учеником в школе, который с десяти лет стал писать исключительно маслом. Этой технике он верен до сих пор. Поразительно, как уверенные мазки на его полотнах передают мельчайшие тонкости натуры, добиваясь стопроцентного попадания в образ, рождая трепетный «аромат» увиденного. После восьмилетки Дмитрий приехал в Иркутск, где окончил художественное училище. Отслужил в армии, вернулся в город на Ангаре. Недолго преподавал в Качугской художественной школе, с 1988 года — свободный художник. Женат, вырастил сына-студента. Живопись считает своим призванием.

— Я люблю своё дело, несмотря на все сложности. Радость удачи компенсирует всё.

— *А что для Вас удача? Признание?*

— Вовсе нет. Я не преследую цели кому-то понравиться. Не ставлю задачи разбогатеть. Для меня главное — высказаться. И при этом ни в чём не соврать. А как потом оценят мою работу... В конце концов, у каждого художественного опыта есть свой зритель. Пусть это будет даже один или два человека, не важно... нельзя предавать своё творение. Автор сам знает, удалось ему что-то выразить стоящее или не удалось. Никогда не надо зависеть от чужих мнений, даже самых авторитетных. И не стоит бояться испортить картину, если чувствуешь, что в ней что-то ещё не зазвучало, не выстроилось. Значит, надо дальше поработать, поискать.

Дмитрий очень взыскателен к своему творчеству. Может быть, именно поэтому до сих пор не состоялось ни одной его персональной выставки. Слишком серьёзным видится ему формат этого события. И вернисаж, который вскоре откроется в галерее Дианы Салацкой, он скромно называет просто небольшим творческим отчётом. «Я не могу предлагать на суд зрителей то, что не считаю лучшим, — признаётся художник в своем перфекционизме. — Слабые работы нельзя демонстрировать публично. А они есть у каждого, даже у прославленных мастеров.

— *У Вас удивительные портреты. Приковывает их напряжённый психологизм, кажется, вы пишете не столько лицо, сколько душу, характер, судьбу.*

— Спасибо, это дорогой отзыв. Я убеждён, что в портрете не так важно фотографическое сходство, как отражение внутреннего мира человека. С человеком работать интереснее и сложнее, чем с каким бы то ни было другим объектом. Во всяком случае, для меня. Настоящие портреты случаются не чаще одного, двух раз в год. И требуют они колоссальной отдачи. Вообще, в этом глубоком аналитическом жанре результат зависит сразу от двух людей — от художника и от героя, от их взаимодействия, молчаливого диалога. Когда я работаю над портретом, то чувствую, что расту вместе с человеком, что мы взаимно обогащаем друг друга. Поэтому никогда нельзя прогнозировать, как быстро или медленно пойдёт дело. Один портрет напишется как-то на одном дыхании, за неделю, другой потребует принести ему в жертву целый год. И тут нельзя подгонять естественный ход процесса.

— *Назовите три качества, на ваш взгляд, главные, чтобы человек состоялся в искусстве.*

— Прежде всего, надо любить этот мир. Еще необходима внутренняя дисциплина. И, самое непереносимое — умение, что называется, стоять на своём, верить своему внутреннему цензору. Тут нужна непоколебимая «упёртость». Я назвал бы её творческой отвагой. В ней — залог настоящих достижений. В ней же — и награда. И счастье художника.



*Диана Салацкая, артгалерея «Dias»:*

— Лучшие учителя плюс собственный талант — так в двух словах можно охарактеризовать творчество Димы Лысякова. Это один из лучших портретистов нашего города. Портреты Лысякова — нечто особенное. Он из тех художников, которые не пишут на заказ — эта обязанность его чрезвычайно тяготит. В результате получается то, что отражает его характер, его сущность.

Дмитрий — замечательный колорист. Пейзажи Лысякова — это живая картинка. Природу писать сложнее всего. Но Диме удаётся сделать так, что каждый листочек — настоящий, если речка — то она действительно бежит. Такое по силам только очень талантливому человеку, которым Дима и является.

\* \* \*

*От редакции.* «Дмитрий Лысяков — живописец вдумчивый, неторопливый. Практически любая картина мастера, на первый взгляд с самым простым сюжетом, способна надолго остановить возле себя спешащего зрителя, заставить поразмышлять, подумать. Гармоничное звучание цветов, уверенный и виртуозный мазок, яркая передача света придают волнующее и неповторимое очарование его работам. Одним из любимых жанров автора является пейзаж. И что бы он ни изображал — солнечную Испанию, мощёные узкие улочки в Израиле или утренние туманы над Ангарой, работы мастера отличаются необыкновенной созерцательностью, лиризм и тонкость мировосприятия. Особый эмоциональный заряд несут и портреты иркутян — современников живописца. Они свидетельствуют не только о пристальном интересе Дмитрия Лысякова к передаче внешнего сходства, но и о его стремлении ухватить саму суть человеческой личности, сложной и противоречивой». (Лора Тирон. «Байкальские вести», 2017 г.)



## «Объела я сирень на счастье...»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

### СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Дорогие друзья, мы рады новой встрече с вами. Но прежде чем мы начнём читать сами пародии, хотелось бы внести некоторую ясность в сам вышеназванный предмет. Что же есть пародия? Дело в том, что среди некоторых особо одарённых, склонных к философическим раздумьям наших читателей возникло мнение, что пародия служит исключительно для того, чтобы помочь автору увидеть мелкие погрешности в своём труде. Дабы развеять сомнения и заблуждения, решил я привести на страницах нашего журнала выписку из Википедии. «*Пародия* (от др.-греч. *παρά* «возле, кроме, против» и др.-греч. *ᾠδή* «песня») — произведение искусства, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) комического эффекта за счёт намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения, в специально изменённой форме. Говоря иначе, пародия — это «произведение-насмешка» по мотивам уже существующего известного произведения. Зародилась пародия в античной литературе. Первый известный образец жанра — Батрахомиамахия («Война мышей и лягушек»), где пародируется высокий поэтический стиль «Илиады» Гомера.

Выделяются три основные разновидности жанра литературной пародии: *юмористическая*, или *шуточная пародия*, не лишённая критицизма, но в целом дружественная по отношению к оригиналу; к ней близка *комическая стилизация*; *сатирическая пародия*, отчётливо направленная против оригинала и наполненная резким критицизмом ко всему идейно-эстетическому комплексу пародируемого произведения; «*пародийное использование*», направленное преимущественно на внелитературные цели, лежащие вне «пародируемого» произведения (к примеру: «И скучно, и грустно, и некого в карты надуть» — Н.А. Некрасов).

А теперь, после основательного ликбеза, приступим к основной «трапезе»...

*Мне сегодня пить и плакать хочется...  
А потом забыться тёмным сном.  
Остро не хватает одиночества  
В голом одиночестве моём...*

Светлана Горбачёва-Баженова  
Сборник «Быть может»

### В одиночестве

Обманусь и напьюсь в одиночестве.  
И впаду в летаргический сон.  
Я не нравлюсь себе в этом качестве.  
Для побудки пришлите ОМОН.

## Стихи о гастрите

*Ты прошла подобно миражу.  
Я остался...Ты ушла красиво...  
С той поры желудок я гложу,  
Чтобы выжить, водкою и пивом...*

*Мне теперь иное предстоит,  
Коль живу, тобою одержимый.  
Это называется гастрит.  
Слышал я, что он неизлечимый...*

Андрей Углицких

Сборник «Любовная лирика сибирских поэтов»

## Поэтическая кома

Гржу себя и пивом и вином,  
Водкой и ещё какой-то дрянью.  
Размываю трезвости геном,  
А желудок стал сплошною рванью.

Мой гастрит — такая благодать,  
Есть на что пожаловаться другу.  
Я могу тебе его отдать,  
Как подарок от моей подруги.

И впадая в поэтическую кому  
Я пишу стихи про глаукому.

## Сирень

*В сиреневых цветах искала счастье.  
В пять лепестков.  
Однажды было семь.  
Его распробовала всласть я.  
И до сих пор сыта совсем.  
Сиреневый цветок!  
Четыре, пятый лепесток  
Примета есть, что это «счастье»,  
Надо съесть.*

Галина Гнечутская

Сборник «Любовная лирика сибирских поэтов»

## Черёмуха

Объела я сирень на счастье,  
А день был, помнится, — ненастье.  
Но не сыта была совсем.  
Вот вам для рифмы слово «семь».

Когда черёмуху увидишь без соцветий —  
Их съела я сквозь слёзы междометий.

*Мерцали в небе сполохи зарниц.  
День, остывая, был тягуч и пылен.  
Мы в этот миг про всё с тобой забыли.  
Лишь я смотрел на лепестки ресниц...*

Владимир Корнилов

Сборник «Любовная лирика сибирских поэтов»

## **Биология**

Я посмотрел на лепестки ресниц.  
На пестик носа и волос тычинки.  
Я пред тобою упадаю ниц,  
Ведь это биологии картинки.

## **ВЛАДИМИР СКИФ**

### **В родном окружении**

*...Пьёт деревня от жизни собачьей,  
Прозябая в забытой глуши...*

*...А мне слышатся грустные нотки  
В бабьих вздохах бредущих коров...*

*...И в беспечном кудахтанье куриц  
Для себя утешенье найду...*

Михаил Кривошеин

Пью я редко, и пью за удачу  
Только с теми, кто мне по душе.  
А деревня от жизни собачьей  
Запивается насмерть уже.

Мужики скажут: «Мишка, чего там?»  
Выпьют четверть — и снова нальют...  
С ними тяпну и слышу — по нотам,  
Словно бабы, коровы поют.

Им во тьме подпевают собаки  
И оставшихся пять лошадей...  
А деревня спилась, и во мраке  
На подворьях не слышно людей.

Я, подвыпив, пойду среди улиц.  
Буду биться в хлеву с петухом  
И засну в окружении куриц,  
Удивив их победным стихом.

## Вечеринки и поминки

*Друзья пришли проститься с телом Моим.  
Что ж удивило их?  
Что «тело» в темпе оголтелом  
Стол накрывает на троих...*

Наталья Крамаренко

Умру я не всерьёз, для виду,  
И лягу поперёк стола.  
Друзья придут на панихиду  
И скажут: «На тебе! Легла!»

Муж выпьет надо мною бражки  
И попытается обнять,  
И скажет: «Плохо без Наташки,  
Зато не будет изменять!»

А я подумаю: зараза,  
Ведь он совсем не краше пня.

И оживу, и брошу фразу  
«Так вот как любишь ты меня!»

Друзья уже прощались с телом,  
И вдруг запрыгали: «Прикол!»  
Я тут же в темпе оголтелом  
Соорудила пышный стол.

В разгаре этой вечеринки  
Смогла я, кажется, понять,  
Что вечеринки на поминки  
Не стоит всё-таки менять.

## Заборы радости и грусти

*В переулке не съели меня заборы...  
...заплясала груша и тополиха,  
и взлетела радостная собака...*

*...Русь. Родина. Россия. Ру.  
Ни веры, ни родных, ни друга.  
Бреду, как дура, по двору.  
Хвостом захлёстывает вьюга...*

Марина Акимова

*...В вечернем воздухе, кружась,  
По небу кошка пролетела...*

Игорь Иртеньев

«Летают пьяные заборы...» —  
поэт Сокольников пропел.  
Мои заборы — бузотёры —  
и каждый съесть меня хотел.

Но я от них отбилась лихо,  
я просто повалила их.  
Мне даже баба-тополиха  
продекламировала стих.

Стих тополихи был толков,  
такой бы я создать хотела.

Тут из иртеньевских стихов  
по небу кошка пролетела.

За ней летучая собака  
взлетела из моих стихов.  
Иртеньев, ты без дураков  
прости Акимову, однако.

Ведь я, как дура, вновь спешу  
к забору радости и грусти,  
где на заборе напишу  
три буквы или две, допустим...

## Бабочки и бабы

*Печали нет уже ни грамма,  
Написан реквием листве.  
И только бабочки упрямо  
Порхают в полой голове...*

*Ты всё сказала? Да, в моей башке  
Одни и те же бабочки порхают...*

Иван Клиновой

Где б ни был я — вблизи иль вдалеке,  
К другим меня ревнуешь постоянно,  
Мол, только бабы у тебя в башке,  
Башка, наверно, у тебя с изъяном.

А что ответить? С ложью не подлезть.  
И я хитрю, прикидываюсь слабым.  
Башка пустая, так оно и есть,  
Но в ней всегда найдётся место бабам.

Мелькнут — то грудь, то губки, то живот...  
Кружётся в голове, как в тыкве полой,  
Любимых женщин пёстрый хоровод.  
Поверь, родная, ни одной нет голой!

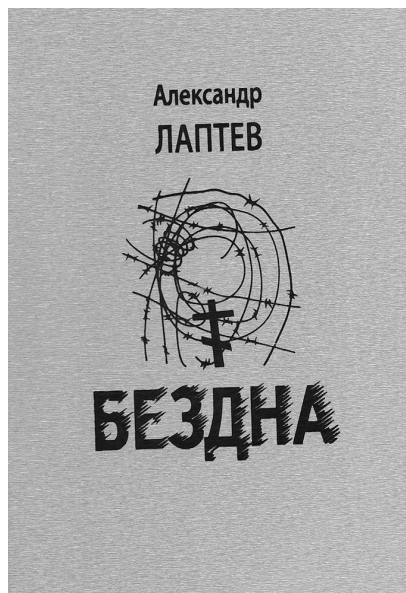
Но ты сказала, что снесёшь башку  
За баб, что в голове моей витают.  
Я баб изгнал и поборол тоску,  
Теперь по тыкве бабочки летают.





Лаптев, А.К.

**Бездна: роман / А.К. Лаптев; худож. С.А. Бурчевская. — Иркутск: [б. и.], 2017 (Тип. «Форвард»). — 480 с.**



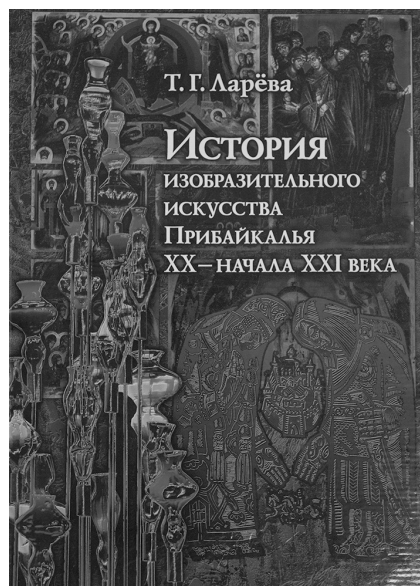
Это книга о жизни и смерти, об отваге и о предательстве, об отчаянной борьбе человека за свою честь и достоинство. В основе её лежат подлинные факты. Автор ничего не придумал, а взял все события из жизни, как они происходили в действительности — в страшной и невероятной действительности эпохи сталинских репрессий в СССР. Прототипом главного героя стал известный сибирский писатель, герой Гражданской войны — Пётр Поликарпович Петров. Понадобилось несколько лет упорных поисков, работы в архивах и музеях, изучение обширного литературного наследия, поездка на Колыму и опрос оставшихся в живых свидетелей для того, чтобы повествование получилось полным и правдивым. Прошлое неохотно раскрывает свои секреты. Но без такого знания, без признания совершённых

ошибок и без покаяния — невозможна будущая счастливая жизнь. Об этом думал автор, когда писал эту страшную историю.

Ларёва, Т.Г.

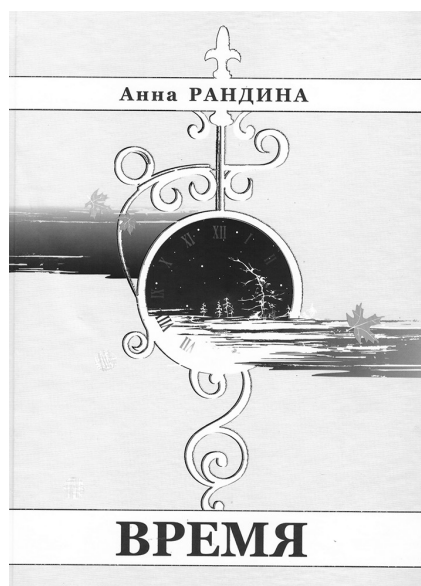
**История изобразительного искусства Прибайкалья XX — начала XXI века / Т.Г. Ларёва. — Иркутск: [б.и.], 2015 (Тип. «Принт Лайн»). — 616 с.: ил.**

В монографии впервые собран воедино значительный материал о художественной культуре Иркутской области, включая молодые сибирские города: Ангарск, Братск, Шелехов, Усть-Илимск, Саянск и др. В контексте отечественной истории в книге рассказывается о важнейших событиях художественной жизни региона, даётся наглядное представление о талантливых художниках и учреждениях, занятых в области изобразительного искусства. Особую ценность имеет приложе-



ние, в котором представлен научный и справочный материал: литература и источники, а также хроники художественных событий с 1900 по 2014 год. Отдельным разделом даны сведения о 412 художниках, искусствоведах, музейных работниках, коллекционерах, меценатах и общественных деятелях. В Красноярске в Академии художеств монография была удостоена серебряной медали «Духовность. Традиции. Мастерство».

Книга богато иллюстрирована, она включает документальные фотографии разных лет и цветные репродукции с работ художников в количестве 642 иллюстраций.



**Рандина, А.М.**

**Время: стихи / А. М. Рандина. — Иркутск: [б. и.], 2017 (Тип. «Форвард»). — 160 с.**

Мир, сотворённый Анной Рандиной, не балует золотом метафор, эпитетов, образов. Но в нём есть что-то такое, может быть, даже неуловимое, что благотворно действует на душу. Что делает её стихи подлинной поэзией.

**Реутский, П.И.**

**Пойду пешком к родному дому: избранные стихи и поэмы / П.И. Реутский. — Иркутск: [б.и.], 2017 (Тип. «Принт Лайн»). — 424 с.**

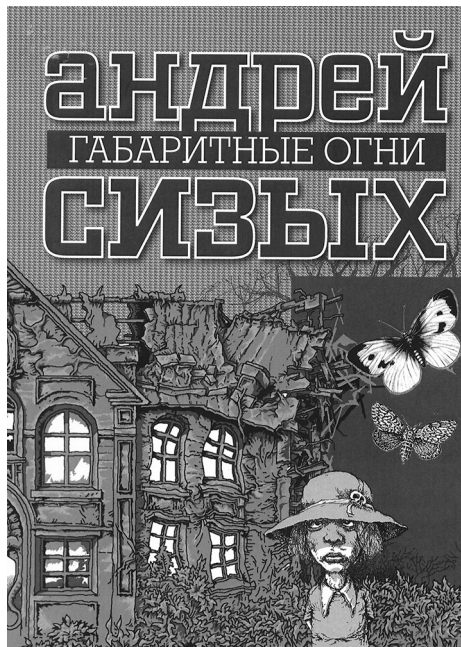
...Подлинность искусства Петра Реутского состоит в том, что стихи его не злы, не мелочны, и всем своим жизненным образом они доказывают это. Стихи его порядочны во всём, как хорошие люди в жизни. Мы имеем дело с истинным даром. Естественная внутренняя, ничем не колеблемая обязательность слова в наше время — редкость. Так послушаем живое сердце поэта, чтобы убедиться в этом.

*Борис Примеров*



Сизых, А.Н.

Габаритные огни: стихи / А.Н. Сизых; худож. А. Москвин. — Иркутск: [б.и.], 2016 (Тип. «Репроцентр А1»). — 114 с.: ил.



Новая книга стихов Андрея Сизых «Габаритные огни» — четвёртая, в ряду главных творческих итогов известного иркутского поэта. Итогов, безусловно, промежуточных, но неизменно впечатляющих и захватывающих внимание.

Стихи любого значимого поэта — все-ленная, открытая этим первопроходцем, исследователем дальнего космоса для своих читателей. Нет сомнения, что новая книга Андрея Сизых и есть такая чудесная, населённая прекрасными образами, метафорами и рифмами, философией, гуманизмом и верой в Бога Вселенная. «Габаритные огни» не расцветят обыденную жизнь человека яркими праздничными фонариками, но обязательно помогут прочитавшему книгу найти силы поверить в себя. Вернут надежду и укажут путь к

тому единственному дому, где вас ждут с неизменной любовью самые родные люди на планете Земля.

Ярыгина, Н.К.

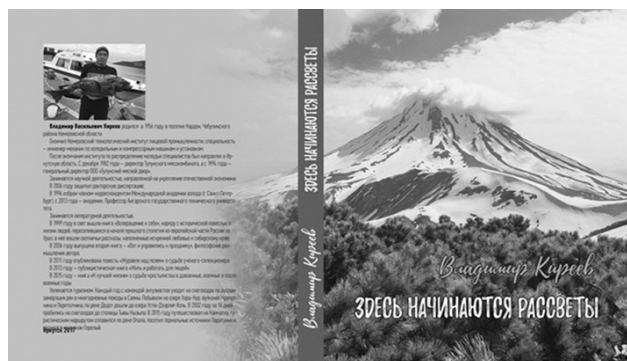
Если память не изменяет...: книга стихотворений / Н.К. Ярыгина. — Иркутск: [б.и.], 2017 (Тип. «Форвард»). — 144 с.

В сборник вошли избранные стихотворения из двух предыдущих книг автора: «Есть ощущение...» (Иркутск, 2012) и «Случилось нечто...» (Иркутск, 2015), публикаций в журнале поэзии «Арион» разных лет, а также неопубликованные стихи из архива автора. Книга подводит некий итог творческой деятельности поэта, чья жизнь, к сожалению, трагически оборвалась 1 августа 2017 года.



Киреев, В.

Здесь начинаются рассветы /В. Киреев. — Иркутск : Изд. центр «Сибирь», 2017. — 144 с.



...Новая книга Владимира Киреева продолжает и тематически расширяет предыдущие «туристические» сюжеты, связанные в основном с путешествиями по недалёким пространствам.

Герои повествования Владимира Киреева выбирают наш Русский Восток, самую дальнюю, самую

окраинную береговую линию. И не только и не столько рыбалка влечёт их туда, хотя именно это их объединяет, — желание побывать на священной для русского человека земле, политой кровью её защитников, пройти по мрачным казематам нашей истории, с чувством сострадания вспомнить годы нашей общей трагедии и поклониться достойным сыновьям Отечества, присоединившим к России и защитившим восточные рубежи.

В. Козлов



# Публикации журнала «Сибирь» в 2017 году

## Проза

<b>Байбородин Анатолий.</b> «Песня журавлиная моя» <i>Повесть</i> .....	№ 4
<b>Балков Ким.</b> Ямщик, не гони лошадей. <i>Рассказы</i> .....	№ 3
<b>Вампилов Александр.</b> Моя любовь. <i>Рассказы и дневниковые записи</i> ..	№ 3
<b>Донских Александр.</b> «Широка страна моя родная» <i>Рассказ</i> .....	№ 1
<b>Журавлёв Владимир.</b> Недетская вина. <i>Рассказ</i> .....	№ 1
<b>Зверев Алексей.</b> Гарусный платок. <i>Повесть</i> .....	№ 5
<b>Калаянова Ольга.</b> Снова вместе. <i>Рассказы</i> .....	№ 1
<b>Комлев Иван.</b> Рядовой Иван Яценко. <i>Повесть</i> .....	№ 1, № 6
<b>Кунгуров Гавриил.</b> Путь в Китай.	
<i>Отрывок из повести «Албазинская крепость»</i> .....	№ 5
<b>Лаптев Александр.</b> Бездна. <i>Отрывок из романа</i> .....	№ 6
<b>Лесков Николай.</b> Миссионеры на севере.	
<i>Глава из повести «На краю света»</i> .....	№ 4
<b>Листова Людмила.</b> «Благослови, душе моя, Господа» <i>Рассказы</i> .....	№ 4
<b>Пакулов Глеб.</b> Из Байкал-моря к Иркутскому острожку.	
<i>Сказ из повествования о протопопе Аввакуме</i> .....	№ 5
<b>Попов Геннадий.</b> Иркутские истории. <i>Повествование</i> .....	№ 1
<b>Пронский Владимир.</b> Вкус терентьевки. <i>Рассказ</i> .....	№ 1
<b>Распутин Валентин.</b> Деньги для Марии. <i>Повесть</i> .....	№ 2
<b>Хромовских Андрей.</b> Горе глиняному горшку <i>Рассказы</i> .....	№ 1

## Поэзия

<b>Аввакумова Мария.</b> Не бойся быть русским сегодня .....	№ 1
<b>Аксаментов Геннадий.</b> Композиция из девяти сюжетов .....	№ 2
<b>Аксаментов Юрий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Анина Светлана.</b> И в улыбке печаль затаится .....	№ 3
<b>Апарченко Ирина.</b> Зачем искать нездешние миры .....	№ 1
<b>Баша Виолетта.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Блехман Григорий.</b> Так всегда — жалеешь слишком поздно .....	№ 3
<b>Вампилов Александр.</b> Прощай-прости .....	№ 3
<b>Гайда Геннадий.</b> Ангелом светлым по жизни ведомый .....	№ 5
<b>Горбунов Анатолий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Горбунов Анатолий.</b> Листопадом истёкшая даль .....	№ 2
<b>Горбунов Анатолий.</b> Огонёк родного дома .....	№ 5
<b>Горчаков Владимир.</b> Весною сорок пятого .....	№ 5
<b>Гребнев Анатолий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Гусенков Владимир.</b> Полынь вчерашней горечи .....	№ 6
<b>Еременко Владимир.</b> Святитель Иннокентий. <i>Драматическая поэма</i> ..	№ 4

<b>Забелло Василий.</b> Пока живу .....	№ 4
<b>Замаратский Георгий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Зиновьев Николай.</b> Печаль вселенская остра .....	№ 2
<b>Змиевский Анатолий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Змиевский Анатолий.</b> Вечерний свет .....	№ 6
<b>Иванов Геннадий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Козлов Василий.</b> Посвящения .....	№ 2
<b>Козлов Василий.</b> Стихи разных лет .....	№ 5
<b>Кольцов Георгий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Корнилов Владимир.</b> Золотые свечи сентября .....	№ 6
<b>Кривошеин Михаил.</b> Душой написанные строчки .....	№ 1
<b>Манданов Тарас.</b> Землица благодарная крепчает .....	№ 1
<b>Мирошниченко Надежда.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Погодаев Сергей.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Рачков Николай.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Реутский Пётр.</b> Умереть не страшно, страшно не родиться... ..	№ 6
<b>Розовский Юрий.</b> Среди ромашек русских и берёз .....	№ 1
<b>Рябиков Михаил.</b> Святая дума о простом народе .....	№ 5
<b>Сидоренко Валентина.</b> Русь великая! Солнце и ветер .....	№ 2
<b>Скиф Владимир.</b> Бескрылый ангел. Стихи. Месяцеслов. Поэма .....	№ 1
<b>Скиф Владимир.</b> В поисках берега .....	№ 2
<b>Скиф Владимир.</b> Да святится в веках твоё имя. Из цикла «Венок Вампилову» .....	№ 3
<b>Скробот Василий.</b> Теряются в прошлом следы. ....	№ 1
<b>Соколов Виктор.</b> Я тороплюсь проститься .....	№ 1
Стихи поэтов России «Услышь, о Боже, голос мой » .....	№ 4
<b>Трофимов Михаил.</b> Сибирью рождённый, я пасынком не был .....	№ 2
<b>Туровец Валерий.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Филиппов Ростислав.</b> В рубрике «Венок Валентину Распутину» .....	№ 2
<b>Филиппов Ростислав.</b> Если я когда-нибудь воскресну .....	№ 5
Чудесная лампада. Церковно-приходская легенда .....	№ 4
<b>Ярцев Вадим.</b> А Русь, будто Феникс из пепла... ..	№ 6

## Драматургия

**Вампилов Александр.** Дом окнами в поле.

Вариант комедии в одном действии .....

№ 3

**Вампилов Александр.** Валентина. Вариант финала .....

№ 3

## Литературная загадка

**Санин Александр (А. Вампилов).** Счастье Кати Козловой (Тихая Заводь)

Пьеса в одном действии .....

№ 3



<b>Семенова Валентина.</b> Запоздалое открытие иркутян. <i>Послесловие к пьесе Александра Санина (А.Вампилова) («Счастье Кати Козловой» («Тихая Заводь»)</i> .....	№ 3
--	-----

## Публицистика

<b>Антипин Андрей.</b> Две реки. Две судьбы. <i>Очерк</i> .....	№ 3
<b>Байборodin Анатолий.</b> «Одинокaя бродит гармонь». <i>Очерк</i> .....	№ 3
<b>Вампилов Александр.</b> Весёлая Танька. ....	№ 3
<b>Гончаров Иван.</b> Русские миссионеры. <i>Очерк из книги «Фрегат «Паллада»</i> .....	№ 4
<b>Зинченко Надежда.</b> Алтарник. <i>Очерк</i> .....	№ 3
<b>Семенова Валентина.</b> Испытание историей .....	№ 5
<b>Смекалов Григорий.</b> В краю, прославленном святителем Иннокентием. <i>Очерк</i> .....	№ 4
<b>Шарунов Александр.</b> Православное миссионерство среди бурят острова Ольхон .....	№ 4
<b>Ягодинцева Нина.</b> О стратегии спасения Союза писателей .....	№ 3

## 80-летие Иркутской области

<b>Левченко Сергей.</b> <i>Губернатор Иркутской области.</i> «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала» .....	№ 5
<b>Стасюлевич Ольга.</b> <i>Министр культуры и архивов Иркутской области.</i> Время открытий .....	№ 5
<b>Баранов Юрий.</b> <i>Председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России.</i> Иркутская литература вчера и сегодня .....	№ 5

## Память

<i>К 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова</i>	
<b>Распутин Валентин.</b> Истины Александра Вампилова .....	№ 3
<b>Смирнов Сергей.</b> «И спросил, где университет » .....	№ 3
Вспоминая Саню. <i>Встреча с одноклассниками Александра Вампилова</i> .....	№ 3

## Православный мир

Акафист святителю Иннокентию .....	№ 4
<i>Святитель Иннокентий Московский</i>	
Указание Пути в Царство Небесное. <i>Из богословского сочинения</i> .....	№ 4
<i>Святитель Иннокентий, просветитель Аляски</i>	
Житие святого апостола Иннокентия Московского .....	№ 4

## Слово пастыря

Он всегда оставался для меня учителем, аввой....:

*Интервью с митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом*

*в год 80-летия со дня рождения писателя В.Г. Распутина* ..... № 2

## Критика

**Анашкин Эдуард.** «Чем ближе ночь – тем родина дороже».

*О поэзии С. Куняева* ..... № 6

**Блехман Григорий.** Как хорошо идти по свету ..... № 1

**Гайда Геннадий.** Поэт Пётр Реутский.

*Глава из книги «Классическая лира»* ..... № 4

**Грязнова Оксана.** Мир писателя Кима Балкова ..... № 3

**Елфимов Аркадий.** Герои на все времена. .... № 3

**Ефимовская Валентина.** «Движенье вечное »: *О стихах В. Забелло* .. № 4

**Корбут Сергей.** Мера земного. *О поэзии А. Змиевского* ..... № 6

**Краснова Татьяна.** Экзамен по слову.

*Об одном рассказе В.М. Шукишина* ..... № 1

**Мирошников Андрей.** Я музыку слушать училась у озера,

сосен и скал ..... № 1

**Михеева Светлана.** Тот самый ангел ..... № 3

**Орлов Максим.** Надвременная связь.

*О книге В. Козлова «Гончарный круг»* ..... № 6

**Семенова Валентина.** Театральная эпопея Виталия Сидорченко.

*О книге «Иркутский академический им. Н.П. Охлопкова:  
страницы истории (1920–1960 гг.)»* ..... № 6

**Соболевская Людмила.** Увидеть бы грядущего юнца,

склоненного и над моей судьбою ..... № 1

Столичный триумф спектакля «Иннокентий». *Рецензии и отклики* ..... № 1

**Тарковский Михаил.** Озёрное чудо ..... № 1

**Тендитник Надежда.** Неразгаданный Вампилов ..... № 3

**Тимофеев Андрей.** В ожидании мудрости ..... № 1

**Третьякова Анна.** Образ Байкала в творчестве современных

поэтов Сибири ..... № 1

**Хайрюзов Валерий.** Время, судьбы и произведения

*Очерки* ..... № 5

**Харченко Вера.** «В театре спрессованны все времена»..... № 3

## К 100-летию двух русских революций

Возвращение России. *Беседа Анатолия Байбородина*

*с Валентином Распутиным* ..... № 2

**Семенова Валентина.** Испытание историей ..... № 5

## Скрижали истории

- Гаврилова Наталья.** Купеческий род Сибиряковых..... № 5  
**Довыденко Лидия.** Мой светлый горячий Донбасс ..... № 6  
**Константинова Татьяна.** Святитель Иннокентий как духовный  
наставник амурской политики ..... № 4  
**Мельник Владимир.** Святитель Иннокентий (Вениаминов) и  
писатель Иван Гончаров ..... № 4  
**Похабов Юрий.** Яков Иванович Похабов, енисейский сын боярский .. № 5  
**Третьякова Людмила.** Наследие графа Амурского ..... № 5

## Живое слово

- Валентин Распутин.** Русь сибирская, сторона байкальская. *Предисловие*  
*к «Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири»* ..... № 2

## Паломники

- Протоиерей Евгений Старцев.  
По стезе святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки.  
*Два крестных хода в Русскую Америку*..... № 4

## Живая история Сибири

- Терновая Ирина.** Магазины Иркутска. 1960–1980-е годы ..... № 1

## Писательский дневник

- Коппел-Ковтун Светлана.** Соль жизни. *Эссе* ..... № 1

## Литературные хроники Сибири

- Анашкин Эдуард.** Правое дело Владимира Крупина ..... № 1  
**Изборцев Игорь.** Моя Сибирь. Моя Россия.  
История одного путешествия..... № 1  
**Максимов Владимир.** Парижские встречи ..... № 1  
**Федорищева Юлия.** Писатели Сибири, объединяйтесь! ..... № 1

## Полемика

- Аброскин Игорь.** «Эпоха Шнура»: время, плодящее дебилов? ..... № 1  
**Кантаржи Любовь.** Мы сохраним тебя, русская речь ..... № 1

## Писатель. Жизнь. Литература.

**Анашкин Эдуард.** День рождения и день памяти.

Популярно о непопулярном. Любовь моя — печаль моя ..... № 2

Болезнь человеческой болью... *Диалог критика Н.С. Тендитник и писателя В.Г. Распутина* ..... № 2

**Боченков Виктор.** Литература может многое..... № 2

**Гурулёв Альберт.** Струны памяти ..... № 2

**Донских Александр.** Родина — духовная земля ..... № 2

**Зыков Владимир.** Валентин Распутин.

Комсомольские годы в Красноярске ..... № 2

**Козлов Василий.** За черникой..... № 2

Между жизнью и смертью. *Из бесед Виктора Кожемяко с Валентином Распутиным* ..... № 2

**Распутин Сергей.** Замысел или умысел? ..... № 2

**Рачков Николай.** Была дарована благодать..... № 2

**Семенова Валентина.** Во славу земли Иркутской ..... № 2

**Терещенко Николай.** Крепка дружба не лестью..... № 2

**Ходий Владимир.** Три дня мы были в перестрелке..... № 2

## Литературоведение

**Иванова Валентина.** Радость-птица. Сквозь скорлупу текста: старуха-птица.

И ещё раз о повести «Последний срок» ..... № 2

Изобразить слово. Художественный мир Валентина Распутина и

Сергея Элюяна ..... № 2

**Харченко Вера.** Христианские мотивы в творчестве В. Распутина ..... № 2

**Ходий Владимир.** Не дать восторжествовать подлости.

Неизвестные страницы публицистического наследия

Валентина Распутина ..... № 2

## Радоница

**Антипин Андрей.** Волошина Елена. «Я замолчал на много лет...»

*К 50-летию со дня рождения поэта В. Ярцева* ..... № 6

**Байборodin Анатолий.** «Землю и небо любили »

*К 75-летию со дня рождения поэта Анатолия Горбунова* ..... № 5

**Демидов Марк.** Ростислав Филиппов и Грэм Грин: встреча в Иркутске № 6

**Ермаков Дмитрий.** Встречи с Беловым.

*К 85-летию со дня рождения В. Белова* ..... № 6

<b>Козлов Василий.</b> «Я лиру посвятил народу своему» <i>Памяти поэта Г. Гайды</i> .....	№ 4
<b>Козлов Василий.</b> Он всегда и во всём был поэтом. <i>К 80-летию со дня рождения Ростислава Филиппова</i> .....	№ 5
<b>Сазонова Татьяна.</b> «На кого мне тебя оставлять?» <i>К 80-летию со дня рождения Ростислава Филиппова</i> .....	№ 6
<b>Скиф Владимир.</b> «Когда мы были молодые» <i>К 70-летию со дня рождения поэта Геннадия Гайды</i> .....	№ 5

## Календарь

<i>К 200-летию Константина Сергеевича Аксакова</i> <b>Иван Андриевский.</b> Русскость по Аксакову .....	№ 3
--	-----

## Лукоморье

<i>К 75-летию со дня рождения выдающего сибирского ученого-фольклориста В.П. Зиновьева</i> <b>Зиновьев Валерий.</b> «Соловей кукушку подговаривал». <i>Сказки, мифы, песни Восточной Сибири</i> .....	№ 5
---	-----

## Вернисаж

<b>Ефимовская Валентина.</b> Света источник. <i>О творчестве художника Филиппа Москвитина</i> .....	№ 4
<b>Краснобаев Иван.</b> Сибирский Левитан. <i>К 90-летию иркутского художника Владимира Тетенькина</i> .....	№ 3
<b>Ларёва Татьяна.</b> Прибайкальские художники прошлого и нынешнего веков .....	№ 5
<b>Огородникова Татьяна.</b> Галерея образов. <i>К 50-летию иркутского художника Дмитрия Лысякова</i> .....	№ 6
<b>Рыбак Марина.</b> Творческая отвага Дмитрия Лысякова .....	№ 6
<b>Сухаревская Любовь.</b> Музыка живописи. <i>К 60-летию художника Юрия Карнаухова</i> .....	№ 5

## Хроника

<i>Иркутские литературные события</i> .....	№ 3
---	-----

## **«Сумочка к ребру»**

<i>Литературные пародии</i> .....	№ 3
«Хлестали поэтические мысли » <i>Литературные пародии</i> .....	№ 5
«Объела я сирень на счастье...» <i>Литературные пародии</i> .....	№ 6

## **Наши лауреаты – 16**

### **У книжной полки**

Новинки — 2016. Валентин Распутин, «Иркутский дворик», «Дети войны», Сергей Жук, Иван Переверзин, Василий Балябин, Андрей Румянцев, Юрий Баранов, «Тракты вокруг Южного Байкала: очерки истории (конец XVII — начало XX в.)», Виталий Комин и Валерий Прищепа, Лидия Сычёва, Владимир Максимов .....	№ 1
--	-----

### **Книжная лавка**

Сибирские книги .....	№ 3, № 5, № 6
-----------------------	---------------

### **Поздравления**

Байбородин Анатолий. Горнему — горнее.

<i>О документальном фильме «Русский апостол Америки»</i> .....	№ 5
--	-----